Олег МОШНИКОВ

ЖИВАЯ И РАЗНАЯ

ББК 83.3(2. Рос=Карел)
УДК 821(470.220

М87 **Мошников, Олег Эдуардович,**
Живая и разная : сборник рассказов /
Олег Мошников. – Петрозаводск : [б. и.] ,
2014 – 252 с.

Издана за счет средств автора

© О. Мошников, 2014

Писательские секреты Олега Мошникова

Вот уже почти двадцать лет я знаком с тем, что делает в русской литературе Олег Мошников, с того самого 1996 когда он, бравый пожарный, офицерская косточка, выступал в скромной роли «начинающего» на первом Всероссийском совещании молодых писателей, открывшем дорогу в литературу многим широко известным сейчас именам. Не заблудился в сумрачном писательском лесу и Олег Эдуардович, ныне солидный подполковник-отставник, прозаик, поэт, эссеист, культуртрегер, широко известный не только в Карелии, но и далеко за ее пределами. Имеющий теперь уже собственных читателей и поклонников, с нетерпением ждущих выхода в свет его баек, стихов и рассказов, о той фантастической, зачастую подспудной и не афишированной жизни простых «дорогих россиян», которая скрыта от невнимательного или эстетского взгляда «шибко умных» наших соотечественников, забывших постулат великой Анны Ахматовой о стихах, которые растут из любого сора «не ведая стыда». Персонажи Мошникова отнюдь не бесплотные ангелы, парящие над родною землей, а обычные ее насельники, чудом сохранившие, несмотря на все катаклизмы XX века, душу народную. Со всеми ее контрастами, изгибами, противоречиями, материалистическими мерзостями и сакральными озарениями. Граждане и патриоты своей страны, не взирая на то, что иногда высказываются о ней и о правящем ею разномастном начальстве «с последней прямотой»,

не взирая на лица. Да и ведут себя большей частию не так, как хотелось бы официозным ревнителям нравственности и дистиллированной воды. Выпивают, грешат, матюкаются, не чужды плотских утех, но именно они и есть та соль земли, о которой толкует Евангелие. Именно они работают, зарабатывают и худо-бедно, но обеспечивают достаток и собственной семьи, и всей страны. Именно они и есть та Русь, которая достойна того, чтобы говорить о ней без придыхания, вранья, истерики, преувеличений, а спокойно, весело, с любовью и надеждой. Именно это и делает Олег Мошников в своей новой книге, которую, я надеюсь, вы уже держите сейчас в руках. Ну, а как старший коллега Олега Мошникова, я, наверное, имею право сказать, что с годами он стал сочинять все лучше и лучше, прекрасно овладев многими навыками и секретами нашего писательского ремесла. О подробностях — умолчу. С одной стороны, это не всем читателям интересно, с другой — секреты они есть секреты, зачем их выдавать?

Евгений Попов
10 марта 2014. Москва

ПЕРЕКАТЫ

КЕЛЬ КАРДЕШИМ

«Кель кардешим е ичь куль ойна!» – надрывался до хрипоты допотопный кассетный магнитофончик. Перед ним на скользком, покрытом рыбьей слизью и чешуйками полу, местами выложенном картоном, танцевал Закир, поджарый, среднего роста мужчина. Черты его лица, плавность движений и внутренняя сосредоточенность на тексте и музыке гремящей на всю подсобку песни выдавали в нем восточного человека. Закир-джан – узбек. Потому и родился он в городе Андижане. Но, как многие его соплеменники, старался заработать на жизнь далеко от родного Узбекистана. Продвигаясь все дальше на Север, оказался Закир в Карелии. И рядом с ним, перед хрипящим магнитофоном оказался – я. Я сидел на стуле и хлопал в ладоши. Хлоп – музыке. Хлоп – танцу. Хлоп – скорому окончанию тяжелого 12-часового рабочего дня. Но больше всего я хлопал самой песне.

В первый раз я услышал ее в городе Капчагай, где в 200 км от Алма-Аты дислоцировалась наша десантная бригада. Песня была записана на пластинку, которую с утра до ночи крутили в расположении мои сослуживцы – узбеки, казахи, киргизы. И я даже танцевал в их гогочущем кругу, неумело пародируя восточный танец. Я запомнил слова этой старой узбекской песни. Вольной. Озорной. Чуждой армейской казарме, дедовщине, несправедливости. Звучащей наперекор всему. Зовущей веселиться и плясать в самые сложные моменты жизни. Вдалеке от

дома... И вот теперь я услышал ее в подсобке рыбного магазина, где мы оказались. Я – чтобы немного подработать перед новогодними праздниками. Но больше – для себя: что могу и писать стихи, и носить рыбу. Закир – для того чтобы прокормить семью. Ему уже за пятьдесят. Из них двадцать он мотается по России. За многие тысячи километров от Андижана. «Кель кардешим...» Музыка остановилась...

– Одевайся, пойдем в «Притон», – Закир уже накинул черную искусственную шубу и шагнул в морозно-облачный проем двери. Я поспешил следом. «Притон» – это «Тритон». Установленный на дворе магазина холодильник. В него мы ходим за мороженой рыбой. Ходим постоянно. Заполняем и разгружаем «Притон» согласно покупательскому спросу. То и дело, пыхтя сигареткой, забежит продавщица: «Ряпушка кончается... Трески маловато... Палтус завезли?» Закир работает грузчиком в этом магазине уже восемь лет. Знает и умеет многое. Но называет окружающие его предметы, продавщиц, начальство по-своему. Благодаря узбекскому акценту его русский бывает более точным по сути, чем по произношению. Закир немногословен. Он молча передает мне пласт мороженого морского окуня. Я тут же прокалываю руку колючим краем. Но ношу, ношу. Беру штабель неподъемной зубатки. Падаю. Больно ушибаю колено и руку. Встаю. Иду. Прогибаюсь под коробом толстой радужной форели. И радуюсь, радуюсь каждой передышке, когда можно тупо посидеть на диване в коридорчике перед помещением дворника. Пустота в голове. Пустота в душе. И ни одной стоящей строчки. Ни одной запоминающейся мысли. Сплошной челночный бег...

Однажды, на заре нового предновогоднего трудового дня, насыпав в лотки льда, разложив рыбу в торговом зале, я приземлился на вожделенный диван и, невольно, за приоткрытой дверью услышал голоса. В дворницкой беседовали двое мужчин. Судя по лопате у входа и не тронутому во дворе снегу – один из них был дворник. Худощавый, нервный мужчина с бледными и тонкими чертами лица. Другого собеседника я не знал. По всей видимости, сидели они еще с вечера. И не с одной бутылкой. А утром продолжили начатый разговор. Громкие и сумбурные речи двух долго пьющих людей прервал вдруг неожиданно трезво прозвучавший монолог:

– Бунин – вот это да! И строка, и мысль! Пушкин и Лермонтов – хороши. Но просты. Им не хватает бунинской глубины, ощущения тайны. Вот послушай...

Но послушать стихи мне так и не удалось. Интеллигентный грузчик не попросит интеллигентного дворника повторить великолепные бунинские строфы. Лишь понимающе потупит глаза. Закир-джан уже надел шубу и шел разгружать машину форели. Нас ждал «Притон». Товар ждали продавцы. Рыбу – покупатели. Выручку – владелец магазина. А я ждал, когда подойдет к концу рабочий день и Закир, отложив нож для чистки рыбы, включит свой магнитофон. И – пропахшее рыбьими кишками, продутое сквозняками помещение наполнит восточная музыка. Наплывут на Закир-джана воспоминания о далекой родине. Вскинутся брови. Изогнутся перед взорами невидимых близких и родных людей руки. Закир танцует, забыв о скользких рыбных лотках и криках «Чистка!». О монотонном неблагодарном труде, после которого хочется только спать. Не думая о завтрашнем дне, рыбе, «Притоне», криках склочных товарок, ушибов и душевной боли – спать... А пока мы хлопаем в ладоши и танцуем, и наши ботинки чавкают в промокшем под ногами картоне: «Кель кардешим е ичь куль ойна!» – «Бай веселится и танцует – и ты веселись и танцуй!»

СЯВИНА МУЗЫКА

Неподалеку от моего дома в старой деревянной двухэтажке жил дурачок. Сявой звали. Безобидный. Большой. Глупый. Как только не потешались над ним ребята! То в сарае дровяном закроют, то на крышу детского сада заманят и лестницу в кусты сбросят, то на плоту дощатом по огромной строительной луже в плаванье пустят и камнями – снарядами реактивными – с ног до головы водой грязной забрызжут. Добродушный увалень дверь с петель снимет, лужу по колено перейдет, улыбнется как-то виновато и домой «маленькой серой тучкой» заковыляет. Но более всего занимала нас тогда Сявина музыка. Подойдет к доброму великану какой-нибудь голенастый мальчуган и пропищит:

– Сява, сыграй музыку.

Тот тут же возьмет в руку камешек поувесистей и – к столбу. Стоял такой столб посередине Сявиного двора. Неизвестно, для чего стоял. Место занимал. Но Сява вокруг него целые концерты устраивал. Ка-а-к вдарит по столбу камнем, ка-а-к вма-

жет со всей своей богатырской силушки, по всем улочкам-переулочкам звон раздается.

– Музыка! – блаженно растягивал пухлые губы в улыбке безотказный дурачок.

Девчата эту музыкальную ненормальность на вооружение взяли. Обзывку придумали: «Ты что? Сява, что ли?». И этими «сявами» тугодумов ватажных величать стали. И тех, кому медведь на ухо наступил, и тех, кто брызгалки здоровенные в штаны запихивает и потом за девчонками визжащими по двору носится.

Веселое было время!.. Неожиданное... Вот так же неожиданно, как снег на голову, к нам дядя из Вологды приехал. Отец в нем души не чаял. Везде водил. Молодой женой и сыном хвалился. И я, стало быть, перед дядей отличиться хотел. Собрались дядя с отцом в очередной раз в магазин идти. А я уж впереди вприпрыжку скачу, путь через соседский двор сокращаю. Вижу, Сява у столба стоит, в небо синее смотрит. Я – к нему. Вот, думаю, удача! Сява как миленький слушаться меня будет, музыкой дядюшку разлюбезного потешит!

– Сява, играй музыку! Играй, кому говорят!

Вот дядя с отцом из-за поворота покажутся. Сява ни гу-гу. Нос к небу задрал. Пальцем в гусей перелетных тычет.

– Ты что, не слышишь? А ну, музыку давай! – рычу я и в нетерпении великом кулачки в бок его необъятный пихаю...

Разве ж мог я предположить, что Сява лоб мой со столбом музыкальным перепутает? Я и подумать-то ни о чем не успел, удивиться по-настоящему, как мигом через себя в песочницу детскую кувыркнулся... Отведя-таки от опухшей переносицы глаза, в мутном радужном сиянии я различил исчезающую на голубом горизонте маленькую серую тучку. Что это... Ой!.. Что это со мной?.. Это дядя вологодский меня с земли поднимает, точку мою пятую от песка и листьев осенних отряхивает:

– Молодец, племяш! На такого борова с кулаками пойти не побоялся! На вот платок, утрись... Такими слезами гордиться можно!

Можно... Можно еще раз в магазин сбегануть... Можно фольгу прохладную шоколадную к шишаку приложить... А как музыку хорошую писать научиться? Спросить разве у дяди? Да не... Я уж как-нибудь сам соображу... Что я, «сява», что ли?

КОСМОНАВТ

«Ух ты, космонавт!» – видение в скафандре не походило ни на кого из загулявших у Бычкова друзей. Слабо сопротивляясь, Николай Николаевич позволил стащить себя за ноги с тлеющего тюфяка... Тук-тук, обивала пороги квартиры кудлатая задымленная голова... Глоток свежего ночного ветра опустил Николая на грязную лестничную площадку. Пожарные деловито и буднично скатывали мокрые рукава. В разбитую подъездную раму заглядывала луна. Шумели соседи. «Алкаш! Пьяница! Ишь чё удумал, водку лакать! Вот Зинка с дачи приедет, она те покажет!» Дзинь-дон, звенели в тяжелой бычковской башке далекие позывные. Поташнивало. «Прокурил, профукал квартиру!» Дзинь!..

Захлопнулись двери... Не смея пройти по залитому серому коридору на разоренную семейную половину, Николай толкнулся вправо... В тещиной комнате было сухо. На фарфоровых кошечках, слониках, полочках и шкатулочках лежала драгоценная недельная пыль. Белела кровать. Подушки. Невесомость тещиных пружин передавалась телу... Кружились планеты. Мерцали звезды. Чумазые, улыбчивые астронавты встречали Николая Николаевича как родного... Все глубже и глубже затягивала Николая то ли загадочная черная дыра, то ли геенна огненная...

НЕБЫЛИЦА

Было это или не было, может, при Царе али в самом начале Советской власти, когда еще в деревнях Карелии калачи да масло старорежимное доедали, не мне судить... Да по рассказам прабабушки моей Парасковьи, что сызмальства в памяти моей засветлели, – лето в тот год выдалось ясным да щедрым. Забелело Онего-озеро чинными парусами. На Яблочного Спаса в Шелтозеро, большую онежскую деревню, народ со всего вепсского берега съехался! На парусных лодках, в нарядных рубахах! На длинных столах угощение выставлено: пироги, грибы, ягоды, рыба всякая, несколько штофов хлебного вина для приличия, а так – самогон, пей не хочу! Правда, пили тогда мало. Только по большим праздникам.

Пьяные глаза – пустые закрома. До утра плясали-гуляли, пора и домой возвращаться. Подняли паруса... В соседней деревне хватились: кажись, одной лодки нету. Евстафей да Матвейка с озера не вернулись. Повернули мужиков обратно. И точно, карбас перевернутый на волнах «пирожком» качается, а подле него, лицом вниз, человек в белой рубахе. Матвей... Бездыханный. А где же Евстафей? Мужики рубахи поскидывали и в воду.

– Нашли! На дне он, любезный! – прокричал, отдышавшись, вынырнувший из-под лодки паренек. – Тут луда, метра три – не боле...

Поднатужились, на поверхность вытянули, в лодку втащили. Стали рассуждать:

– Тот, что на воде был – не жилец. А Евстафей – поди знай. Вепс. Народ цепкий. Надо его бабке Маланье показать. А пока голову рогожей закрыть, чтобы земли не видел...

Сказано – сделано. Маланья, как над рогожей руками повела, скомандовала:

– В ригачу его! Веревку покрепче тащите. Да печи, печи топите!

Ригача – большой амбар для сушки зерна. Топился по-черному. Угарно, дымно.

– Привязывайте его к балке, ногами вверх, – поспевает за деревенскими старуха. – В печь соломы, соломы побольше... Все! Закрывайте вьюшки! Раскручивайте веревку потуже и на двор, дверь на запор, чтобы ни одной щелочки для ветра не было.

Прошло время, слышат мужики, забулькало что-то в ригаче, а там и сам утопший голос подал, да еще какой! Живой! Дышит, соколик! Вбежали мужики в амбар, дым выпустили, товарища, вверх тормашками трепыхающегося, от веревки освободили.

– Жив, Евстафей! Вон как дым-батюшко воду вытолкнул! Вот чудо-то!

Чудо... Когда мне бабушка о случае этом необычайном рассказала, было ей далеко за восемьдесят. Сказывала, что о своем спасении чудесном сам воскресший – живой, здоровый – ей еще в девичестве поведал. И все-то он с самого начала слышал: и как доставали, и как судили-рядили, и как вниз головой подвешивали. Слышал, да только сказать ничего не мог, рукой пошевелить. А как на веревке раскрутили, дыма глотнул – сознание прояснилось, вода отошла, рот разъявился – тут кричи, что есть мочи!

Вот какие чудеса на свете бывают. Сколько есть еще непознанного в природе человеческой. Можно, вишь, и дымом исцелять!

Наука не додумалась, а вепсы – люди ведающие – до революции, до христианства еще о том знали и друг другу чудеса эти передавали. Не одного соплеменника с того света вытолкнули, до ора зычного раскрутили!.. Давно это было. Сгинула с лица земли деревенька – Крюкова Сельга. Упокоилась бабушка. Ушло из жизни живое вепсское слово. Да где-то, видать, и оборвалась веревочка неспешного чудесного повествования о том житии-бытии. О батюшке Дыме и матушке Воде. О Земной силе и Великом знании. И никак не свяжется в узелок быль с небылицею.

НЕЖИТЬ

Полюбил леший наши лесные карельские края. Исстари полюбил. Бывало, забудешься, заработаешься, в семейных заботах закружишься, а он тут как тут – о себе напомнит...

В конце пятидесятых годов пошли мы с дочкой старшенькой на покосы заозерные. Ей тогда семи лет не было. Лето к концу. В лесу ягод и грибов на диво уродилось. Вот дочка и заканючила:

– Мама, ягодок хочу!

– Иди в лес, Настенька, сама пособирай. Мне стожок зачинать надо, за бригадой колхозной поспевать.

– Д-а-а, я в лесу одна ходить боюсь!

– Да что тебя, леший, что ли, заберет? Места людные, за лесом – речка. Деться некуда. Иди, милая, чернички поешь, малинки поищи. Тут неподалеку полянка есть ягодная.

Сама за ручку отвела, брусники нежные кустики показала, черничные взгорки, заросли малинника.

– Будь тут, на полянке. Я, как со стожком справлюсь, тебя кликну.

Вечером собрались колхозники восвояси – дочки на полянке нет. До ночи аукали. Утром я к ведунье, что за деревней жила, пошла. Заплаканная. Баба Анна, женщина понимающая, не раз в делах житейских людям помогала, нечистую силу приструнивала. Глянула на меня бабушка и с порога:

– Ты что, Прасковья, девочке сказала, когда в лес отправляла? Не поминала ли лешего? Поминала... Лучше бы ты свое дитятко на возвращение из лесу благословила. Есть ли у тебя что дочкино с собой?

Я подала куколку тряпичную. Анна клок ниточных волос отстригла, в горящую печку бросила, пошептала что-то по-карельски.

– Ступай на то место, где дочку оставила, найдешь там тропинку и иди по ней, никуда не сворачивая... Потом меня благодарить будешь, когда дочку из леса выручишь.

Я на лодочке через озеро мигом обернулась. Вышла на полянку, глядь, тропинка неприметная меж кореньев и папоротников вьется. Долго ли коротко шла – не помню. Солнце уже садиться собиралось. Вдруг в частом ельничке пятно яркое мелькнуло: лежит доченька у тропинки на мягком мху, калачиком свернувшись. Спит. Я ребеночка к груди прижала: жива-здорова! Дочка глаза протерла:

– Мама! Ты что так долго за мной не шла? Я кричала, плакала... А где старичок?

– Какой старичок?

– А тот, что меня на полянке встретил, успокоил, слезы вытер и к тебе по тропинке повел... Дедушка старый, маленький, борода седая и серый кафтан до самых пят... Он потом меня на плечо посадил, да вскорости я сомлела совсем, заснула. Проснулась, когда дед меня на траву опустил. «Не могу я тебя дальше нести, силы не те... Жди тут. Знать, найдет тебя...твое счастье», – сказал, ладошкой головы моей коснулся, и тут снова глаза мои слипаться стали... А дальше ты меня нашла, мамочка!

Пошли мы с доченькой назад по тропинке. Чу! – сова с ветки сосновой сорвалась, видно, тоже до ночи дремала. Настенька еще крепче ко мне прижалась. Я на коленки присела, заплаканные, запачканные ягодами щечки расцеловала.

– Ягодка ты моя ненаглядная! Мама здесь! Мама никуда не уйдет! Ну, что? Больше не боишься? Пошли домой.

Дома я у деревенских старожилов спрашивала – никто лесного старичка в глаза не видывал. «Приснилось, – смеются, – это твоей Настасье! Устала да перепугалась, видно, что не туда побрела. Со страху чего только не почудится...» А я в первую очередь бабе Анне гостинец отнесла. Сердце материнское не обманешь, еще не раз оно, болезное, мне путь-дорогу верную в чаще дремучей указывало...

Настя выросла, в город учиться уехала. Осталась я с маленькими Васей и Олей, коровой Мартой да мужниной могилой, который почитай сразу после рождения двойняшек помер.

Поздней осенью собралась я на покос за сеном для коровы.

Лодка на берегу. Туда и обратно – до вечера обернусь. Озеро холодное, дрожкое. Береговую траву иней тронул. Зима близко. А не одну ходку, до того как лед неокрепший встанет, сделать надо. Детям строго-настрого наказала из дому не выходить, меня дожидаться. Скрипят уключины, ветерок подгоняет. А сердце не на месте. Скорей, думаю, с сеном управиться надо да домой возвращаться. Загрузила лодку. Обратный путь тяжелее дался, да я уж сил своих не жалела – гребла что есть мочи... Только к берегу пристала – в избу кинулась. А там – пусто. Я по деревне пробежалась: не заходили ли дети. Никто Васяту и Оленьку не видел. И следов никаких: тропинки до озера и проселочной дороги утоптаны. Я мужиков, кого смогла, упросила по лесу пошукать. Может, тут они где, неподалеку. До утра кликали. На следующий день с ружьями в чащу пошли. На взгорках палили, в урочищах звали-кричали: нет нигде ребятишек... Я уж заполночь следующего дня к бабушке Анне постучалась. А та будто ждала:

– Что ты, Прасковья, детям наказывала, когда на покос собиралась?

– Из дому не выходить, а то леший заберет...

– Вот и накликала беду, голуба, не к месту нежить помянула.

Повернулась баба Аня в избе и трижды на иконы в углу красном перекрестилась. Не берут бабушку годы. Только глаза будто глубже стали, ясным мудрым огнем горят.

– Ладно, помогу я тебе, баба ты хорошая, – решилась ведунья. – Хлебнула лиха, новое тебе ни к чему.

Написала Анна на бумажке имена Васи и Оли, свернула записку в трубочку и в чашку с зерном воткнула, и все с пришептываньем да приговором.

– Иди домой, голуба. Утром доброй вести жди...

И точно, утром почтальонша наша Клавдия лошадку запряженную у ворот остановила.

– Выходь, Прасковья! Давно я таких новостей в деревню не приносила. Нашлись твои ребята! В соседней деревне в сельсовете дожидаются.

Пока я с председателем о машине уговаривалась, мне Клава все по пути рассказала:

– Еду я не спеша по дороге вдоль озерного плеса, вдруг слышу – плачет кто-то. Слезла с телеги, на берег вышла, прислушалась, под старой лодкой шевеление какое-то почудилось. Заглянула под днище: мать честная, ребятишки! «Как вы сюда попали? – спрашиваю. – Чьи вы такие будете?» Мальчик и де-

вочка дрожат, хнычут – я их в телегу подняла, тулупом укрыла и обратно в деревню повернула, благо недалеко уехала.

В сельсовете ребятишки отогрелись и обо всем рассказали. Что за мамой Пашей они на покос пешком по берегу отправились, что в лесу заблудились.

– И как они в такой холод в лесу не померзли, ума не приложу, – прощаясь, пожала плечами Клавдия...

О том я уже у детей сама расспросила, да и то пока пирогами их не накормила:

– Что же вы, ребятушки-козлятушки, маму не послушались, из дому вышли?

– Да это все Олька! – отнекивался Вася. – Страшно ей в горенке стало, пошли, говорит, берегом на покосы. Берег неровный. Тропинка все в лес сворачивала, а потом и вовсе потерялась...

Дальше вот что было. Когда ребятишки мои тропу не нашли, заплакали, сели на пригорке. Видят, из-за дерева сухого дедушка седобородый выступил, росточка маленького, шапка на нем меховая, островерхая, серыми беличьими хвостиками отороченная. По всему видно, что с дедом лесным повстречались! Тот их в свою избушку отвел. У печки на лавочку посадил, хлеба дал. Два дня они у маленького старичка жили. Он им все сказки диковинные рассказывал да сетовал, что коровки у него нет, а то бы детушек малых молоком угостил. На третий день будто подменили деда. Пришел из лесу злой, схватил Васю и Оленьку в охапку и на берег озера отнес. «Сами, – говорит, – к людям выбирайтесь! Не пивать вам тепереча молочка!» Сказал и будто под землю провалился.

Я тогда словам ребят про корову значения не придала. Мало ли о чем старик-лесовик печалится. Но через месяц Марта захворала, есть перестала. Легла на соломенную подстилку и не встает. Пробовала лечить – не помогает. Посоветовала соседка снадобий лесных раздобыть. Да кто, кроме бабушки Анны, в них разбирается? Пошла в разгулявшуюся зимнюю метель к ведунье. Баба Анна меня выслушала, взяла из рук моих принесенную бутылку и за печку ушла.

– Баб Нюра, а что это за дед-лесовик у нас объявился? Не слышала ли о том?

Бабушка долго что-то за печкой переливала, процеживала и наконец вышла.

– А ты будто не знаешь? Леший это, которого ты, дуреха, не к месту поминаешь! Он на коровку твою позарился, да, видать, и

осерчал шибко, что детей отпустить пришлось. Ну да с Божьей помощью и Марта твоя на ноги встанет. Три дня ее отваром этим попои... А лешего к худу не поминай. Он добрым людям и помочь может. Только испытания его пройти надо. Сердцем не дрогнуть. Обличий его чудных не испугаться. Он ведь и совой обернуться может, и старичком ласковым. А то и хозяином косолапым из леса вывалится и рявкнет во всю свою звериную пасть! Для острастки... А ежели кто в его лапы попадет – то беда, словом человечьим накликанная! – может и не отпустить... Ты вот бери бутылочку да домой поспешай. Иди, не оглядывайся, что бы вокруг ни происходило.

Идти мне предстояло через всю деревню. Сквозь взвихренный и колкий снег. А метель за спиною то курицей заквохчет, то коровой мыкнет, то застонет тонко, леденяще. Я под ноги смотрю, кулек со снадобьем к груди прижимаю. У самого дома как кто меня за плечи схватил и – шепот знакомый все ближе и ближе:

– Паша! Пашенька...

Да это же муж мой покойный, Алексей! Алеша!.. Обернулась я – нет никого. Только белая заметь – прочь отпрянула и, будто споткнувшись, ухнула в низкую гудящую поземку... Ой, лишенько! Схватилась я за бутыль – пустая! Все знахарское лекарство через лопнувшее донце вытекло. Опять я к бабушке Анне на поклон пошла. Та снадобье уже в свою бутылку налила и мне со словами напутственными протянула:

– Ступай с Богом... Да помни про лешачьи лапы: схватит – не отпустит.

Поправилась моя коровушка! Повеселела!.. Весна пришла. Закурчавилась мягкая луговая трава. Стала я Мартушку в стадо выпускать. За ворота выпровожу, а дальше сами буренки на пастбище текут, островками пестрыми перемыкиваются. Дальше – дело пастуха. А у того свое заговорное слово имеется: ни одна корова в лес не свернет.

В начале лета прихворнула я малость, застудилась, когда белье в озере студеном полоскала. Наказала Васе, хоть и малой еще, скотину на улицу выгнать. Тот хворостину взял и ну Мартой командовать: пошла да пошла! А корова ни в какую: обратно во двор поворачивает. Слышу, умаялся сынок, еще пуще хворостиной помахивает:

– Пошла, кому говорят! Пошла, леший тебя забери!

И где голосу-то взял, командир? Корова со двора побежала, стадо догонять... Вечером не вернулась Марта. Я с постели встала, пастуха

нашла, расспросила. Не видел тот коровы, к другим не примкнула... Где только я Мартушку не искала, по бурелому, болотинам замшелым накликалась. Чуть живая к деревне выбралась. На следующий день соседям поклонилась: помогите, люди добрые! Всем миром в лес вышли. Только окрестных птиц всполошили... На четвертый день от охотника захожего весточка пришла, что следы он коровьи у Гнилого ручья видел. Я с ног сбилась, каждый кусточек у ручья оглядела. Нет нигде кормилицы. Делать нечего, надо опять к бабе Анне за помощью обращаться... Бабушка лампаду перед Николой-чудотворцем засветила и опосля крестного знамения ко мне обернулась.

– Знаю, все знаю, Прасковья. Приглянулась лесовику твоя корова. Трудно будет теперь от лешачьей заговоренной травы-муравы ее отворотить... Да уж помогу тебе, в беде не оставлю. Где, говоришь, следы видели? У Гнилого ручья? Ну дак слушай и запоминай! Пойдешь туда в полночь, одна. Встанешь на взгорке, где сухая рогатая сосна небесный чертог подпирает. И стой, не шелохнись, что бы тебе увидеть и услышать ни довелось. Выстоишь до первых солнечных лучей – будет тебе корова! А нет... И сама не рада будешь, что ко мне за советом пришла.

В тот же вечер я лодочку в устье Гнилого ручья направила, в камышах схоронила. Нашла взгорок, сосну... Вот и полночь. Встала я возле дерева, в черноту лесную вглядываюсь... Вдруг ветер по кронам пробежал, закачались ветви. И будто разом захлопали крылья! Поднялись в небо сотни больших черных птиц! Взбугрилась и ощетинилась земля. И все вокруг заклокотало, заухало, зашипело! Запричитали листы, заголосили травы: «Беги-и-и отсюда, Прасковья! Ух, беги-и!.. Не найдеш-ш-шь коровы! Себя-а-а спасай!». И как я ор этот страшный вынесла?! Откуда силы нашлись? Стою: ни жива, ни мертва. Стою, а в глазах слезы – и через эти слезы я жизнь свою многотрудную оглядываю. Вот я – девочка в белом платочке! Вот – Алешенька – белая замять... Вот – деточки мои через лесную полянку к маме бегут!.. Очнулась я, когда лес темный затих. Небо зарозовело. Гляжу, деревца у взгорка заколыхались: из лесу медведь вышел, ноздрями повел, фыркнул и обратно в чащу повернул. Никак сам лесовик приходил? Да не его сегодня верх взял. Выстояла я все лешачьи испытания!

Дома Вася с Олей мамку заждались... Нелегко мне обратный путь дался: ноги не шли, руки весла не держали. Да сердце само, как перышко легкое, плыло! В тот же день к вечеру корова домой пришла. Сытая. Смирная. Будто кто ее всю неделю в лесу обихаживал: кормил, доил... Сказывают люди, что вокруг су-

хой сосны у Гнилого ручья круг мертвый глинистый образовался. Словно ходил кто по кругу – то ли человек, то ли корова – и выйти из круга не мог заговоренного.

Шло время. Минули восьмидесятые годы. Двойняшки на ноги встали. Выучились. И вслед за сестрой в город подались. В деревне-то не жизнь. Худо стало в деревне. Худо. Беспутно. Работы нет. Сорокалетняя «молодежь», какая в городе без надобности, пенсии стариковские пропивает. Парни, что лешаки, ружья да ножи охотничьи не для дела старательного в ход пускать стали. Боязно старикам: пьяные пожары все ближе и ближе к домам подбираются. Ни избы, ни бани не щадят. Хоть в лес беги! Там не страшно... Лесовик люд хмельной от леса отвадил. Вместо целебного таежного духа – дым сивушный, угарный по дворам колобродит... А у кого в деревне защиты просить? Ведунья-то наша, «вечная» бабушка Анна, уже лет десять как в земле покоится. Тяжело умирала баба Нюра, потому как секретов своих никому не доверила. А кому доверять-то? Эвон как нежить из людей на свет белый повылазила! Замерла жизнь на деревне... Как за светом утренним я в город к дочке Настеньке подалась! Устроилась ладно. Своя комнатка. Дети рядом – оно и спокойнее. Глядя на них, на внучат подрастающих, не нарадуюсь! Ни к чему теперь лешего поминать... Хотя нет-нет да лоб перекрещу, затеплю лампадку, чтобы слово лихое навеки сердце мое отпустило.

ПЕРЕКАТЫ

«Все перекаты да перекаты... Послать бы их по адресу! На это место уж нету карты – идем вперед по абрису...» Спотыкаясь об узлы и чемоданы, преодолевая буруны и пороги жужжащей в походном плеере песни, продвигался я к своему купейному, вернее, к спальному вагону. Ну нет, говорят, у них ни плацкарты, ни купе! Одно СВ осталось, еще каким-то чудом не занятое... Я своим камуфляжем армейским пропотевшим чую – надо брать! Никто, конечно, денег переплаченных не вернет. Да жизнь командировочная буфетная поперек горла встала. Я билет – цап! И – на перрон. По пути к месту временной дислокации странности всякие замечаю. Перед дверью моего купе какие-то амбалы перекаченные толкутся, шепчутся, на мои майорские погоны глаза таращат. А

мне-то что? Пусть любуются. Я баулы свои под сидушки распихал. Сало, колбаску, селедочку на столике разложил...

И тут в купе мужчинка чернявенький заходит. Костюмчик джинсовый, ухоженный. В руке – чемоданчик. Я руки о штаны вытер – знакомиться, значит, собираюсь. Тот руку жмет и лопочет что-то на ломаном русском или плохом испанском... И манеры – какие-то балетные... Вот так сосед! Испанец... Слава КПСС, я, еще будучи курсантом военного училища, вопросы: «Ваше воинское звание?», «В каком соединении служите?», «Как фамилия командира батальона?» – на пяти враждебных европейских языках – затвердил до мозолей. И – к месту ли, не к месту всю эту абракадабру иностранцу вывалил. А испанец ничего попался – понятливый: кивает, улыбается, «Си-си» говорит. У амбалов в дверях лица квадратные в ромбы повытягивались, когда я бутылку водки из вещмешка дорожного вытащил. А Филя (вообще-то он Филиппом представился) пирожные и коньяк из чемоданчика достал. Но – от водки не отказался. Пальчиками хрустнул, мизинчик, эдак противненько в сторону отставил и – одну, вторую, третью рюмочки – глоточками маленькими продегустировал. Эстет. Прозрачный, тонкий. Весь какой-то из себя субтильный, уставился на меня – глаз не сводит... Э-э, думаю, отставить! Купе двухместное. У порога качки мускулами хрустят. Поди знай, что у парня на уме. А ну навалятся? Ориентация неправильная границ государственных не имеет... Решил я Филю на вшивость проверить. На ближайшей станции ненавязчиво пальцем в окно тыкаю: «О, женщины! Донны, мать ети, Маши! Красавицы!» По платформе шныряли стайки торгующих картошкой и яблоками старушек. «О! – блажит испанец. – Руссо! Любовь! Маша!» И телефон сотовый – в брюликах и золотых цепочках – из штанов вытягивает. На кнопки драгоценные давит. Фу, от сердца отлегло, вроде наш парень! Только навороченный до чертиков. Старается. На аппарате заморском «Свадебный марш» Мендельсона наигрывает.

– Ты, товарищ, со своего сокровища ввек не дозвонишься! На мой, отечественный! – сам ему номер набрал. Дозвонился...

Обмяк Филя. Заворковал. Я тактично в коридор ретировался. До туалетной комнаты. «Носик попудрить». Тут меня «квадраты» в квадрат взяли.

– Ты как сюда попал? Ты знаешь, с кем едешь? Это наследный принц Испании Филипп-Хуан-Антонио и пр. пр. высочайшая подноготная. С ним рядом муха не сядет, а ты – при-

землился! Смотри, служба, того... Закусывать не забывай. Не посрами державу.

– Не вопрос! Сделаем!

Битюги меня под ручку в туалет и обратно в купе проводили. К другу Филиппу. Принц на подушки откинулся. Глаза – как у мартовского кота. Пирамидку из телефонов и пирожных на столе строит. Не подвела, стало быть, зазнобушка. Утешила. Ну, тут и по рюмашке не грех! Приговорили мы водку, потом коньяк заморский. Вспомнили антифашистское сопротивление. Общих знакомых: Сервантеса, Гарсиа Лорку, Хулио, как его бишь, Иглесиаса. Чем больше пили – тем лучше понимали друг друга. Святую инквизицию пожурили. А когда до испанских завоевателей дошли, Филя загрустил.

– Я есть плохой испанец. Наследный принц. Мои предки – конкистадоры. Индейцев – пиф. Ацтеков – паф... – вот-вот слезу пустит.

– Пиф-паф, говоришь?.. Ну, с кем не бывает? А я, брат, русский офицер! С командировки домой еду... Э-х! Ежели по-свойски, начистоту, знаешь, в чем сила нашей Красной Армии? В особой организации организма, всякой заразой европейской не измученной! Вот, смотри! – и носок защитный с ноги стягиваю. – Чувствуешь запах? А!!! Потому-то в казармах дух стоит непобедимый! Что носки... Портянки вдоль коек – знаменами реют!.. А песни наши? Так за душу возьмут – не выкарабкаешься! На, послушай...

Сунул Филиппу плеер с песнями Визбора, Кукина, Городницкого. Прибалдел принц, заслушался. Ушел в дальние походы Филипп Хуан Антонио. На остаток мутный в рюмках не реагирует. «Ну, давай, Филиппушка, на посошок! Поспать надо. А то ребята твои с ног валятся, охраняючи...».

Звякнули рюмочки... банки и прочая громоздящаяся на столе посуда. Обнялись мы с Филиппушкой крепко – на почве любви к женщинам и великому русскому языку. Перед тем как спать завалиться, включил я плеер на полную катушку. Раздрал наушники. Втиснул кнопку Филиппу в ухо, другую – в свое запихал. Чтобы с песней и другом в пути не расставаться... Так и уснули. Под стук вагонных колес. Храп охраны. И дрожащий в двух тонких проводках, сближающий судьбы, народы звук неутолимой песенной романтики: «Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой, месяц кончается март, скоро нам ехать домой...»

АКУЛИНА

Давно уже, внучек, хотела об этом поговорить, да все случая не было. Письма – не то. Другое дело при встрече... Когда ты еще в гости в Феодосию соберешься?.. Я хоть и бывший учитель, пенсионерка, и много времени на воспоминания имею, а вот так, как ты, написать не смогу. Таланта нет. А хочу я, милок, чтобы ты о бабушке нашей, Акулине, людям рассказал. Память о ней не выстыла с прожитыми годами. Нет-нет да набегут на глаза слезы, покажется из далекодалека наша карельская деревня, всколыхнет сердце нерастраченная дочерняя любовь. Во время войны и первые послевоенные годы бабушка Акулина заменила мне и мать, и отца, и всю потерявшуюся в сороковом лихолетье родню.

Долгими вечерами, вот как я тебе сейчас, рассказывала мне баба Лина о своем довоенном житье-бытье. В 20-е годы жила она, мужнина жена, в деревне Карпова Гора близ Олонца. Хозяйство, трое детей, дом-пятистенок – все под приглядом. Чуть свет – на огороде, потом – в поле наравне с мужиками работает. И все-то у нее спорится, дети накормлены, сено заготовлено, молоко створожено. Корову-кормилицу Акулина, можно сказать, на руках носила. Что и говорить, в росте и силе с ней вряд ли кто мог в деревне сравниться. Вот хотя бы такой случай. Сосед Мирон – зажиточный мужик – бывало, ходил в Петроград за товаром на большой парусной лодке. Однажды, причалив к пристани, Мирон ради забавы спустил на берег две длинные доски и предложил разномастным шабашничкам сойти по шатким сходням с двумя мешками соли, а нет, так хотя бы и пшена. Мужики засомневались. Акулина же подогнула ферязь, пятипудовые мешки приняла на закорки и не спеша, прогибая стонущие сходни, снесла их на пристань. Домой возвращалась она всегда с гостинцем – посуленным ящиком печенья или печатными пряниками. И в тот раз, натерпевшись конфуза и деревенского зубоскальства, хозяин торгового судна взмолился: «Акулина, не позорь мужиков! Бери коробку печенья и иди с Богом... После тебя карелы не то что куражу, охоты лодку мою разгружать не имеют»...

Вот какая женщина была, крепкая да удачливая. Лес, как дом родной, знала-понимала. Не раз с мужем, дедушкой моим, на медведя ходила. Дед берлогу искал, хозяина лесного со сна зимнего поднимал, Акулина косолапому из ружья в ухо стреляла...

Дедушку еще до войны вместе с кулаком Мироном и другими середняками куда-то на Волго-Балт энкавэдешники свезли. Да там он и сгинул, сердешный. Акулина после беды нежданной рук не опустила – ребят растила, на корову, на огород сил не жалела. Дочку, маму мою, замуж выдала. Сначала я, потом сестричка, а затем и братик на свет народились. Бабушка на внуков не нарадовалась... И вдруг война.

Затолкало военное лихо на тесный проселок много разного люда: беженцы, солдаты, милиция. Все кричат, торопятся, мол, немец близко, уходим быстрее! Машины гудят, лошади ржут, дети ревут. Бабушка с мамой пожитки какие ни есть собрали, что на себе не смогли унести, на коровушку нагрузили и до Ладоги с нами, ребятишками, на руках колонной общей потянулись. Засветло к барже вышли. Солдатик на карауле стоит, беженцев на сходни пропускает, скотину обратно заворачивает. Не до живности нынче, самим бы разместиться. Подоила в последний раз бабушка Буренушку, нас молоком парным напоила и – отправила коровку, куда глаза ее печальные глядят. Мир не без добрых людей, может, кто приласкает, не обидит кормилицу. С тюками и котомками на баржу погрузились и вскоре отчалили. На Свирь, сказывали, пошли. Ночь в трюме тесном, темном прошла: кто спал, кто шум забортной волны слушал...

Утром немец баржи плывущие бомбить начал. Одно, второе судно пламенем занялись. Пальба, огонь, крики. Наша баржа рядом с берегом на отмель села. В толчее и неразберихе баба Лина успела нас с сестрой Катей в охапку сгрести и к поселку выбраться. Братик маленький на руках у мамы оставался. Звала мамку бабушка Акулина, из стороны в сторону как наседка с цыплятами под крылышками металась. Но тщетно. То ли маму люди с другой баржи подобрали, то ли в толпе на станции затерялась. О худом и подумать страшно... Бомбежка закончилась. Часть беженцев подсадили в поезд к эвакуированным. Так мы с бабушкой отправились дальше, в Архангельск. По пути опять началась бомбежка. Немецкие самолеты так страшно и стремительно пикировали на вагоны, так близко ложились бомбы, что казалось, мгновение – и поезд перевернется. Сестричка, которой шел в ту пору четвертый год, что есть силы обхватила бабушку за шею: «Мама, мамочка, я ничего не вижу, ничего не вижу!» Бабушка с трудом отняла от себя внучкины руки. Пыталась обнять, успокоить, но сестра билась и билась у нее в руках, пока не слегла в беспамятстве. Состав громыхал дальше и даль-

ше по дрожащим дымным рельсам, проскакивая редкие полустанки и темные тревожные чащи. Катя будто и не чувствовала ничего. День пролежала без движения с широко открытыми глазами, да все шептала, шептала что-то... Ночью мне почудилось, что привстала сестренка, поцеловала замороженную бабушку в щеку, легла и затихла. Утром бабушка заголосила, прижимая к груди бездыханную внучку... Похоронили Катю солдаты во время короткой остановки, а где это место – бог весть.

В Архангельской области, куда нас распределили, бабе Лине туго пришлось. Годы все же немалые, седьмой десяток за плечами. Но природная сила выручала. С утра до ночи трудилась Акулина в колхозе. Меня на ноги поднимала. Я-то, пятилетняя кроха, от тягот и недоедания совсем слегла, обезножила. Баба Лина где постирает, где со скотиной поможет управиться, где и амбар подправит – кружку молока и ковригу хлеба зарабатывала. С полгода меня, недвижимую, обхаживала. До весны в тесной горенке заново ходить учила. Летом я уже бабушке по хозяйству помогала, воду носила, за огородом следила. Жили мы душа в душу и после того как домой в Карпову Гору вернулись, в разоренный дом. Было это, дай бог памяти, в сорок четвертом. Бабушка по дворам походила, кое-какие вещи свои и мебель вернула. Только курица одна чужая оказалась, ее Акулине просто так на развод дали. Соседи скотину свою сохранили, «выковыренными», как называли нас с бабушкой архангельские старухи, не были, с голоду не пухли. Когда немцы баржи утюжить начали, мост через реку Свирь тоже бомбою разворотило: до Лодейного Поля ни «железкой», ни попуткой не добраться. Кто не успел на ту сторону уйти, обратно в деревню вернулись. Финны, что край наш оккупировали, карелов не трогали. Хозяйство держать разрешили. Лишь бы ослушания какого не было. А за помощь партизанам – смертью грозили. Вот так деревня и сохранилась. Дом опустевший, холодный, да стены родные – в делах многотрудных подспорье. Одно огорчало: вестей от мамы и братика мы так и не дождались. Куда только бабушка ни обращалась, все без толку. Как сквозь землю канули. Дождалась Акулина сына, с фронта вернувшегося. Меня на обучение в Тулокскую школу определила. Радовалась бабушка, что оценки у меня хорошие, что учительницей стать хочу... Все бы ничего, да невзгоды военные, нужда и лишения, выпавшие на долю бабушки Лины, на здоровье могучем сказались. Бабушка заболела и вскорости скончалась в своем карельском доме, на руках у сына.

Далеко занесла меня судьба – аж в солнечную Феодосию. Было и на моем веку всякого: и плохого, и хорошего. Но когда бабушка Акулина жила, это время, несмотря на войну, на разруху и голод, несмотря ни на что, сохранилось во мне чувством любви и счастья, тем светом, что и по сей день сильнее любой нахлынувшей печали... С годами все реже и реже удается приезжать домой в Олонию. К родне дядиной в Тулоксу заглянуть... В Карповой Горе уже и не живет никто. Домишки осели, крыши завалились. Но у меня стежка одна – мимо деревни, поляны, лесного чепурыжника – на деревенское кладбище. Могилке бабушки Акулины, как матушке родимой, поклониться. Спасибо тебе, баба Лина! Спасибо за чуткое сердце, за материнскую заботу, за мудрую добрую силу любви...

БРАНДМАЙОР

Звук набатного колокола разорвал ночную тишину губернского городка. Живший при помещении городского пожарного обоза брандмейстер Губернский Секретарь Александр Васильевич Смирнов отдернул цветастую оконную занавеску: черный дым и вспышки пламени вырывались со стороны Круглой площади, главной площади города Петрозаводска. Собрался Александр Васильевич быстро, по-военному, оправил мундир уже в обозе. Выезжая из ворот на повозке, приспособленной под перевозку паровой трубы, в сердцах отчитал пожарного служителя Фролова за то, что тот чуть не своротил оглоблю, зацепившись за ворота конюшни.

– Быстрее, быстрее! – поторапливал брандмейстер багровый ход. – Кажись, слободка Закаменская полыхает!..

Но на деле все обстояло еще хуже. Горело левое крыло вице-губернаторских покоев – белого двухэтажного каменного здания. Огонь уже намеревался перекинуться на ближайшее двухэтажное деревянное строение – бывший дом управляющего Петровского оружейного завода Карла Гаскойна – где ныне располагалось управление Александровского завода... Расставив пожарных, приказав подавать воду на крышу дома вице-губернатора и защиту дома Гаскойна, Александр Васильевич с горечью подумал о своих не возымевших действия прошениях в Городскую Думу: на изношенность пожарных труб, отсутствие спусков

к реке Лососинке. Как закачивать бочки? Как подавать воду на высокую крышу, если напора труб хватит только до окон второго этажа? Как оградить город от пожара, когда в команде четыре служителя и три ездовых хода?.. Прибыли солдаты. Надо бы их расставить кругом во избежание нежелательных действий обывателей. А как без обывателей? Вот рабочие Александровского завода бочки с водой подвезли. Как их баграми и ведрами не вооружить? От такой помощи грех отказываться. А тут еще полицмейстер куда-то запропастился. Вот его бы зычный голос сейчас пригодился! Как он давеча меня по плечу хлопал, голосом громыхал, поздравлял, что губернатор бумаги о назначении его, Губернского Секретаря Александра Смирнова, на должность брандмайора в Петербург отправил. Недели не прошло...

– А ну, стой, стой! – брандмейстер кинулся к напиравшей на шеренгу солдат толпе. – Служба, держи зевак! Не подпускай близко! Если головня какая жахнет, мало не покажется!

На крышах двух зданий переливался огонь. Дымились обломки. Летали искры. Из черных окон заводоуправления и каменного дома вырывались и разлетались над площадью, как огненные птицы, казенные бумаги. Повсюду слышались крики, команды. Метались испуганные тени... А где же Семен? Тут-то и заметил Александр Васильевич отсутствие топорника Семена Копылова, проявлявшего на пожарах чудеса отваги.

– Фролов, послушай, Фролов! – тормошил он стоящего на линии огня трубника. – Где топорник? Где Копылов?

– Да он давно, ваше благородие, в двери нырнул! Говорит, люди там, люди остались!

Вот горячая голова! – офицер вылил на каску и мундир два ведра воды, задержал дыхание и кинулся в задымленный дверной проем... Через несколько долгих томительных минут со стоном рухнула тяжелая прогоревшая крыша...

Пожарный караул Первой пожарной части по охране города Петрозаводска встречал сам директор Краеведческого музея Матвей Леонтьевич Златогорский – среднего роста человек с растрепанными волосами. Всегда интеллигентный, приветливый, на фоне сизых клубов дыма, выбивающихся из окон второго этажа дома Карла Гаскойна, он выглядел удрученно и растерянно. Начальник пожарного караула Олег Огнев, отдав необходимые команды первому и второму отделению по направлению рукавных линий и установке автоцистерн на водоисточ-

ники, перед тем как включиться в аппарат на сжатом воздухе, подошел к директору музея:

– Что случилось, Матвей Леонтьевич? Горим?

– Да горим, горим, Олег, – расстроенно махнул рукой Златогорский, – не думал, что на пожаре с тобой встретиться придется. Уж лучше бы я снова экскурсию для ваших коллег провел...

– От пожара никто не застрахован, – продолжил Огнев. – А когда последний раз горело здание, не припомните?

– Как же, как же, вопрос по адресу, – оживился директор, – как-никак историей Петрозаводска не один десяток лет занимаюсь. В последний раз дом Карла Гаскойна горел в ночь с 28-29 сентября 1897 года по старому стилю. Горел основательно. Зато в годы советской власти – ни разу. Наверное, потому что в этом доме была провозглашена первая Карельская Коммуна. Во время Великой Отечественной войны много домов было взорвано, а этот уцелел. Да-с...

– И сейчас пропасть не дадим, – уверенно сказал начкар. – Это не деревянная филармония, которая три дня догорала. Дом – исторической ценности. Видите, сразу со всех сторон прихватили. В каждое окно – по рукаву. А был ли кто в доме до пожара?

– Да все вроде вышли, – обвел взглядом толпу зевак и сотрудников директор музея. – Вот только Семена Михайловича, архивариуса нашего, не вижу. Он все больше в подвале с республиканским архивом работал.

– Сейчас проверим, – Огнев окликнул пробегавшего мимо пожарного. – Петров, вы разведку подвала проводили?

– Да, товарищ капитан. Все в порядке. Людей не обнаружено.

– Ладно, сейчас сам проверю, – включившись в дыхательный аппарат, Олег шагнул в пугающую черноту двери...

Лестница в подвал отыскалась сразу. Луч фонаря побежал по деревянным ступенькам и стенам узких тесных помещений, тупиков, подсобок. Густо задымленные кабинетики и архивные склады были пусты. Огонь не перескочил через бревенчатые перекрытия первого этажа. Историческим документам ничто не угрожало. Но люди... В задымленном помещении человек может находиться всего несколько минут. Капитан прошел в самый дальний угол подвала. Вроде никого. Все двери открыты. Спрятаться негде...

Вдруг спазм перехватил Огневу горло. Сжатый воздух перестал поступать в шлем-маску пожарного. Не помог и страховочный клапан. Что-то случилось с аппаратом. Нужно было

срочно выбираться на воздух. Начкар повернул в узкий коридор, прошел несколько шагов, покачнулся и стал медленно оседать вдоль стены на пол. В глазах поплыли цветные круги. Судорожным движением Олег сорвал слепую, душащую, запотевшую маску... За несколько секунд в усыпающем сознании капитана промелькнули образы оставшихся снаружи огнеборцев, годы учебы в пожарном училище, заплаканное лицо жены, удивленные, не желающие понимать происшедшее глаза сына и пульсировали слова из песни Владимира Высоцкого: «Капитан, никогда ты не будешь майором». И иногда в песню врывался колокольный звон. Мерный. Тревожный. Звуки набата гулко отдавались в ушах: бом-бом... Очнулся Огнев оттого – будто кто-то его за плечо тормошит. Поднял голову – стоит перед ним чудной человек с усами, в медной каске. В ремнях и сапогах – точь-в-точь царский брандмейстер. Лицо копотью покрыто, зато улыбка белозубая. Показывает рукой – подымайся, пошли. Поднялся Огнев, за пожарным пошел, покачиваясь. Усач в одной из комнат толкнул под потолком какую-то незаметную дверь. Затем подсадил Олега и в проем выпихнул...

Откашлявшись, глотнув свежего воздуха, начкар открыл глаза. Подбежал Петров:

– Что с вами, товарищ капитан?

– Да ничего. Дымом надышался малость, – ответил Огнев. – Помоги-ка подняться. А где пожарный, что из коридора меня выводил?

– Какой пожарный? Вы один в слуховое окно вывалились. Мы, было, уже беспокоиться начали. Звено газодымозащитной службы за вами послали. Никого в доме нет. Первое отделение крышу на всякий случай проливает...

Олег Огнев оглянулся на дом Карла Гаскойна. Отстояли. Дыма не видно. Перед кольцом зевак директор музея что-то выговаривал бледному узкоплечему старичку в черном берете... Второе отделение скатывало мокрые рукава. По распоряжению старшего офицера передали локализацию пожара. Потерь и травмированных нет.

БАБА УЛЯ НА БОЛОТЕ

— Давно ли я тут окопался? Да почитай с 60-го года, как по наряду в Беломорск попал. Я в «Строймеханизации» трактористом-экскаваторщиком работал. Поначалу, как и ты – в командировки ездил. А потом и насовсем остался, – седой крепкий мужчина в станционном буфете, ожидающий поезда на Петрозаводск, задумчиво посмотрел на меня и продолжил. – Не жалею. Народ тут хороший, поморский. Да и море студеное Белое по нраву пришлось...

Ты-то, мил человек, где останавливался? В гостинице? А в 60-е годы тут у вокзала своя «гостиница» была, народная. Потому как люди, знающие о ней, приезжим рассказывали, а молва в народе дороже казенных удобств ценится. Стояла тут неподалеку избушка – одна комнатушка. Жила там бабушка одинокая. Ульяна Кузьминична. До войны Бог детишек не дал, а в 42-м мужа разлюбезного на фронте убило. Так и осталась вдовой. Дом, что от свекра перешел, в порядке содержала. Свекор начальником станции работал. Дом поставил ладный, да не на том месте. Со временем его болото старое в себя втянуло. Уходил домишко в тягучую карельскую землю венец за венцом. А с ним и Уля свой век доживала. Сродственников на наследство бабкино не находилось. Так и звали ее в народе – баба Уля на болоте... Послевоенное, тяжелое время перемогла. Работала Ульяна на рыбзаводе. Хорошо работала. Да еще и людям добрым пособляла. Не раз приезжим переночевать у себя позволяла. А как на пенсию вышла, «дом на болоте» для постояльцев – родным домом стал. Кому на вокзале подскажут, кого в поезде упредят. Идут касатики к «бабе Уле на болоте»... Да и сама Ульяна Кузьминична расписание железнодорожное знала, ко времени из дому выходила. Бывало, сидит на лавочке чинно, в платочке. Щечки – яблочки печеные. Глаза – васильки – мудрые, чистые. Приезжего за версту видит: «Заходи, мил человек, не побрезгуй». Да разве ж можно мимо пройди! А дом, хоть и неказистый с виду, внутри – чистота! Всегда самовар с дороги. Печка с лежанкой. Кровать широкая с блестящими металлическими набалдашниками на спинках. А сама баба Уля – на лавочке. Иной раз и на полу постелет, когда народу полна горница, она же и кухня, и почивальня... Денег за постой не брала. Но приезжие в долгу не оставались. Тут уж – что за душой есть. Кто

хлебом, кто одежонкой пособит – и слава Богу. А нет – так ночуй... Вот и мне на станции однажды дорогу к Улиным «хоромам» указали. Зимою дело было. Снегу намело! Избушку по самую макушку занесло. Когда я до нее заполночь добрался, продрог до костей. Вьюга все злее. В доме ни огонечка: где дверь, где окно – не разобрать. Вдруг вижу, мужик в накинутом поверх тулупе на двор вышел, дверь обозначил. Я – в сени. Толкнул еще одну дверь – темно, хоть глаз выколи. Чиркнул спичку: народу – упасть негде! И на полу, и на лавках. Я потихоньку к печке пробрался – теплющая! Смотрю, на лежанке под самым потолком место есть. Я туда скорей забрался, только валенки скинул – сомлел разом. Надо думать, с дороги – да в тепло... Утром проснулся от голосов негромких. В комнате светло. Окна расснежены.

У печки бабушка сухонькая невысокая на лавочке сидит, волосы пепельные гребешком прибирает да мужика, на полу на тулупе расстеленном сидящего, расспрашивает:

– Ты чего, Григорий, на пол лег? Я ж тебе на печи постелила, – а сама васильковым взглядом светится да лукаво на лежанку поглядывает.

– Да куда мне еще приткнуться было? Только до ветра отошел, вернулся – парень какой-то кудлатый на моем месте храпит! Да ты сама его и спроси, вон он глаза протирает...

– Проснулся, молодец? – повернулась ко мне бабушка. – Как звать-то тебя? Паша... Ну, садись за стол, Павел, самовар поспел. Другие гости уже давно разошлись...

Так я с Ульяной Кузьминичной познакомился. В командировках всегда у нее останавливался да с приговоркой: «Не пора ли тебе, Ульяна Кузьминична, новый дом ставить да женихов славить!» – «Да будет тебе, Паша... Мне иного жениха и иного счастья, что было судьбой уготовано, не надо, – отвечала обычно Кузьминична. – На счастье моем дом держится и держаться будет, сколь веку хватит...»

Я, как в городе обосновался, работать стал на тракторе, помогал Кузьминичне по хозяйству чем мог. То двор от снега почищу, то дров привезу куба три. А постояльцы поколют. Потом и с семьей заходил, чаевничал. Бабушка Уля на праздник ржаные калитки пекла с картошкой да толокном.

– Я, Пашенька, на год мукой разжилась. В каждое воскресенье пироги затеваю. Ты заглядывай почаще... Бери колобок – румяный бочок! Вот и сынка твоего, лапсю-папсю, довелось попотчевать!

Сын сидит – за обе щеки калитки уплетает – горячие да масляные!.. От духа того сладкого народу полный дом набивалось. Кто с поезда, кто по-соседски. Сидели весело и мирно. Уважительно сидели...

Так и жила баба Уля, гостей привечала. Только однажды из дому не вышла, на лавочку не присела. Хватились – лежит бабушка Ульяна Кузьминична на своей широкой кровати – маленькая, тихая, бессловесная. Жила тихо и тихо померла... Хоронили бабу Улю всем железнодорожным районом. Как мать она многим была, как мать родимая... На дом кособокий, подгнивший – никто не позарился. Несколько лет, как памятник бабе Уле, на болоте стоял. Пока крыша не завалилась. Я потом остов бревенчатый трактором в болотину спихнул. Пусть там покоится...

Что говоришь? Нет таких людей на земле? Ах, не видал, чтобы себе – ничего, а все – для других? Не повезло тебе, парень, к слову, не повезло... Не вековечны нынешние злые времена. Хватит вдосталь шумной мимолетной жизни рвачам и хапугам. Зарастет о них память! И мы, кто середки держались – ни рыба, ни мясо, – что зла сторонились, но и к добру не притянулись, исчезнем так же непритязательно, как и жили. Остаются такие человеки, как наша бабушка Уля! Она здесь – в сердце! Да что там в сердце, не вечно человеческое сердце – в душе! В слове! Потому что нет сил в себе держать такое... Словно ангела на земле встретил. Некрещеный я и в церкви ни разу не был, а вот знаешь, под старость думаешь о Боге – иной раз так засосет под ложечкой, что и побежал бы креститься. А вспомню бабу Улю – и как от всех грехов прощение получил. Умереть не страшно! Вот такой она была человек.

НА РЕКЕ

Детство – чудесная сказка, на ковре-самолете, на санках, на фанерке несущаяся с ледяной горки. Внизу – папа меня за воротник ловит. Река Лососинка из проталин кипучих вырывается. Поймает ли? Метра три до реки осталось. Вон какую скорость моя тарелка летающая набрала. Да на этот раз фанерка коварная сама из-под пальтишка выскочила. Затормозил я, кубарем на обочину снежную скатился.

Дом наш на реке. Ну, почти на реке, только с горки спуститься, через березовую рощу. Летом на реке – благодать! Хочешь, камешки в воду бросай, хочешь, удочку самодельную туда же – все равно не клюет. Правда, родители одному на речку ходить не разрешали. Ты мальчик городской, к природе не приученный. Ну, как на камне поскользнешься? Дальше Березовки – ни ногой! Но я все равно ходил. Я воду любил. Меня за это ребята во дворе Рыбачком называли. Вода, она такая – холодная и бурная – да очень интересная. От каждого камня подводного, островка, ивового кустика приключениями веет!

Зимой – картина другая. Зимой – лед. Его, в первую очередь, опробовать надо. Перед сверстниками – восьмилетками да десятилетками – смелостью хвастануть... Только что это меня тогда на лед потянуло? Ведь никого рядом и за километр не было. Поздний вечер. Ребята по домам разбежались. На речной горушке – я один, туда-сюда хожу, катаюсь. К самой реке на фанерке скатился. Попробовал лед – крепкий. Сделал шаг, другой. Вот уж берег другой близко. Одна узенькая полоска незамерзшей воды осталась. Вот я ее сейчас перепрыгну!.. Как же, перепрыгнул... С головой в воду ледяную окунулся. Лед у берега самый тонкий. Вынырнул. Кричать бесполезно. Кругом ни души. Кое-как за куст прибрежный ухватился. Шуба и валенки тяжеленными стали! Еле-еле я себя на берег вытащил. Как Мюнхгаузен – за косичку. Поначалу в жар бросило, потом – в холод. Я как-то сразу по батарее родненькой тепленькой соскучился...

По дороге домой через березовую оснеженную рощу вся моя бравада и смелость звенели в горячей от всего пережитого голове, как ледяные колокольчики. Маме с папой я, конечно, ни в чем не признался. Что такой мокрый? На горке в Березовке катался... На горке... Знали бы родители, что сын их на волосок, на ивовую веточку от гибели находился. Чтоб я еще на лед неокрепший ступил...

Теперь-то, спустя годы, я понимаю, чем это могло закончиться. Если бы течением под лед утянуло, хлебнул бы воды побольше – и все. Все, как в папиной шутливой поговорке: ты смотри, сынок, ежели утонешь – домой не приходи! Вот так. Вот такая детство пора – сказочная. Как говорится, добрым молодцам урок...

«Колхида»

Случилось это с моей знакомой, Натальей Степановной, в недолгие, но цепкие андроповские времена. Поставили на проходной Онежского тракторного завода «Колхиду», штуковину такую, как стопор в метро. Но она, видишь, не только по чему ни попадя рычагами лупит, а еще и время по пластмассовым пропускам с дырочками отбивает. Когда пришел, когда ушел... Не забалуешь.

Поутру серым людским потоком повлекло Наталью Степановну от автобусной остановки к заводским воротам, понесло по руслу неспешных мыслей о детях, о пьянице муже, о больной свекрови... Остановилась перед «Колхидой». А пропуска нет. Был ведь! В руках держала... Посторонилась Степановна, назад отступила... Что-то инородное вторглось в привычный размеренный ритм рабочего утра. Все окружающие люди, вохровцы, работяги показались вдруг такими четкими, чуждыми, злыми, что сердце захолонуло от жгучей удушливой жалости к самой себе.

Так, так... В тревожную зыбкую дыру воспоминаний вплыл синий почтовый ящик. Раньше, раньше... Женщина впереди шла. Письма несла... Ящик... Письма... И – о ужас! – Наташина рука сама, непроизвольно, повторяя чужое движение, бросила в жадный почтовый зев заводской пропуск! Вот раззява!

– Люди! Как быть-то? Люди! Мастер осерчает... Прогул ведь... Не бывало такого!.. Люди!?..

Как наяву представилось Наталье строгое общественное собрание. Виноватые взгляды подруг, соседей. Выговор. Лишение премиальных. Пропущенная очередь на квартиру. Положенные на стол профкома алая повязка и значок «Отличника народной дружины»... Что-то набухло и оборвалось в замершей груди. Сердце зашлось мелкой болезненной дрожью. В глазах потемнело. Не заметила, как очередь засуетилась. На почту позвонили. Корвалолу накапали...

Утряслось все. Сладилось. Пропуск Степановне вернули. Через «Колхиду» под руки провели. В цех сопроводили... А на душе кошки скребут... Будто сожрала утробно чавкнувшая бездушная машина не только хитро продырявленный пропуск, но и всю Наташину сознательную жизнь.

Сельский час

Жил Леня Пчелкин в деревне на берегу красивейшего карельского озера. С самого рожденья жил. При Советской власти, перестройке... Худобедно, а хлеб маслом намазывал. Пчелкин в колхозе скотником работал. В деревне Леня и жену себе сыскал. Родителей на деревенском погосте похоронил.

И тут пошла у Леонида затяжная черная полоса. В ельцинскую неразбериху колхоз за ненадобностью закрыли. Осиротевшие фермы сами же колхознички по домам растаскали. От безысходности и безделья народ на селе запил. Выход в худосочные морковно-картофельные поля, каким-то чудом уцелевшие, прозвали «сельским часом» в честь передачи, что в старые добрые времена по телевизору показывали. Час работают, неделю пьют. Не принес изменения в Ленину жизнь и нынешний рыночный беспредел. Только супруга от горьких мужниных запоев в город подалась. К сестре. Там детей на ноги поставить можно. Загоревал Леня пуще прежнего. Затосковал. Старался полосу черную черной работой отбелить. У фермера местного в хороший сезон деньгу большую зарабатывал. Держался. Да осенью, пропившись до копейки, по домам, по бабкам сердобольным ходил, кто родителей его помнил. Плотничал. Печи правил. Не все свое работное умение в вине утопил. Пытался хозяйство домашнее вести. Но пьянство и хозяйство, известное дело, как кошка с собакой, под одной крышей не уживаются. А животных Пчелкин любил с детства.

В одно удачное лето завел Леня кролей. Клетки сколотил добротные. Пока сорняков на заросшем родительском огороде хватало, пока вдоль улицы лопухи дырявые стелились – корма пушистой гвардии было вдоволь. А уж плодились, родимые, со скоростью невиданной! Пришлось Лене новые домики для живности домашней соорудить. В клетках тепло. На дворе листву и ту смело. Ртов много, а травы не хватает. На «сельский час» одна надежда. Собрался Пчелкин до фермерского хозяйства идти. Шел вдоль притихшего озера, подернутого рыжиной белесого ржаного поля. Ишь что придумал богатей! Поля под парами держит, чтоб в землицу скудную рожь осыпалась. Весной земля жирнее будет. А поле-то какое! Золото сусальное! Волнами ходит, с еловым лесом, отороченным желтой березой и алой осиной, перели-

вается. Вдохнул Леонид полной грудью свежий осенний воздух: что ни говори, а краше нашего края на всем белом свете нет!

Фермер Пчелкина приветил. Полную тележку прицепную сельхозпродукции, слегка только подгнившей, нагрузил. Даже сам на тракторе помог «коллеге» овощи до дому довезти. Знал, что отработает свое Леонид. Да и зимой пособит чего, не откажется. Насыпал Леня кроликам еды, сколько в клетки влезло. А остаток, что ж... с приятелем подоспевшим у магазина сельповского оптом сдали... за ящик водки.

Очухался передовой кролиководк к вечеру седьмого дня. К клеткам кроличьим вышел. Шебаршатся черти. В сетку носами мокрыми тычутся. Живучие! Хватило, стало быть, пропитания. А создания божьи пол унавоженный до гвоздей сгрызли, через дыры сапоги Ленины грязные видать. Совестно стало хозяину, муторно, что животина бессловесная от его слабости человеческой муки принимает. Махнул рукой на личное обогащение, на зиму сытную, уговорил приятеля опохмелившегося добить оставшуюся в хозяйстве живность. Кормить все одно нечем. А сам – на кухню, очи синие слезой водочной заливать. На следующий день еще хуже стало: ни водка, ни мясо диетическое впрок не идут. От тоски той Леня кота рыжего завел. Зиму прожили они вместе душа в душу. Пчелкин фермеру баню строил. Частенько молоко парное, хлеб печеный, горячий еще, домой приносил. Да в марте, как овощи кроличьи отработал и деньги за трудодни получил, запил надолго. Стоило только до магазина дойти...

Через неделю, а то и больше, собутыльника узнавать начал, по сторонам оглядываться.

– Мать честная, где это я?

– Как где? В доме колхозника, в общежитии для приезжих, куда тебя с матами и сумкой вина братва командировочная затащила.

– Когда?

– Да щас и не упомнишь...

– Так у меня же кот дома заперт!

Да еще как заперт: ни форточки открытой, ни щелочки, ни погрызть чего. Мыши и те убежали. Все опасался. Дом-то у дороги, нет-нет да и подкатит кто на машине. Дорогу до фермерского хозяйства спрашивают. Как бы не утянули чего... Леня по лужам, по талому снежному месиву домой ринулся. Только дверь открыл – кот пулей из сенцев вылетел и на дорогу. Прямо под колеса проезжавшего грузовика.

Закопав кота на оттаявшем лесном взгорке, Леня послал приятеля за бутылкой. Не годится так насухо, по-скорому, что ли, помянуть по-людски надо. Разлили стаканы. Молча, не закусывая, выпили. Посидели минуту в звенящей безысходной тишине. Леонид вытянул-таки в струнку из тягостной душевной пустоты полувздох, полустон:

– Вот та-а-ак... Покончил жизнь самоубийством. Не выдержал пьяного паскудства, жизни моей грошовой, пропащей... Это не кролик безмозглый. Это – друг! А предавать друга... Эх! Давай наливай по второй. Помянем кота. Хороший был. Рыжий. Как осеннее поле...

КОМАНДИРОВКА

В начале 90-х, на волне всего нового и халявного, отправили меня, как старшего команды, в добровольно-принудительном порядке в служебную командировку в Финляндию – за гуманитарной помощью. На инструктаже строго настрого наказали «на русском не болтать, дабы не осложнять гуманитарную поставку необходимого пожарной охране груза проявлениями финского национализма».

В Йоэнсуу, получив добро на вывоз импортного застиранного барахла, встали мы на страже двух ярко раскрашенных рефрижераторов, куда организующая сторона все собранное добро впихнула. Стоим час. Два. Вечер уже. Народ прибывает любопытствующий. Командированным, по особому случаю, новые «пятнашки» выдали – без знаков различий. Ну, военные и военные... Так нет! – каждый прохожий желает пощупать, в глаза заглядывает: «Кто да откуда?» Как объяснить финским гражданам, не зная языка, даже самого скромного английского, что мы не местные, что за трусами и майками вашими приехали? Ребята хохочут. Мне, как старшему команды, с ними объясняться надо. Стою я на виду, как хрен в стакане, и спрятаться негде. Обыватели уже пуговицы на камуфляжной куртке откручивать начали от чрезмерного усердия узнать что-нибудь интересненькое. Тут я не выдержал и выпалил финнам свои языковые познания:

– Парле ву франсе?

Зеваки от неожиданности рты пооткрывали. А я в наступление пошел, в самую толпу.

– Кеске се? – говорю. – Алегер ком алегер!

После допроса плененного французского легионера (спасибо военному училищу!) экскурсию как ветром сдуло. Поди знай, чего французские военные в Суоми делают... А там и мы домой заторопились.

В Петрозаводске бойцы «гуманитарку», никем не востребованную, под ветошь приспособили – цистерны драить.

НА ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИЧЬЕ

Любил я в юности книжки читать про деревню. Интересовался крестьянским житием-бытием, красотами сельскими. Особенно нравилась одна – «Даурия»! Про жизнь и борьбу крестьян-охотников с кулаками-мироедами и диким забайкальским зверем. Непроходимые леса, ущелья, порожистые реки... На распределении в военном училище, не задумываясь, попросился туда – в Даурию!

Поезд остановился посреди темноты, выгрузил на ощупь последних оробевших пассажиров и заторопился в обратный путь... Непроглядный мрак чуть рассеивал слабый умирающий огонек. У маленькой будки в конце железнодорожного тупика стояла пожилая женщина с керосиновым фонарем.

– Мадам, мы не заблудились? Это – Забайкалье?

– Оно и есть... Вы, поди, военные?

Из-за линии невидимого горизонта стрельнул одиночным, ударил дуплетом в кромешную небесную черноту столп нервного прыгающего света. Вскоре под звук рокочущего мотора появился крытый военный грузовик.

Наутро, осмотрев одноэтажную блочную казарму, я вышел во двор, вернее, в неоглядную, вздыбленную однообразными холмами, голую местность. Нигде – ни деревца, ни кустика. К голенищам сапог ластились редкие колкие былинки...

– Здесь, – ответствовал, встретивший меня у входа, дежурный офицер, – Даурская держава – сопка слева, сопка справа...

Спереди, сзади... За многие и многие километры – одни черные безжизненные сопки... Да воинская часть.

Нахлебавшись романтики, пристроился я поближе к тыловому обеспечению. По весне – сухую картошку в котлы засыпать, по осени – мокрую – в складах продовольственных хоронить. За

этим делом и в колхоз подшефный наведался. На бортовом ЗИЛе. Страда страдой, а о защитниках Родины забывать нельзя! Взмыленный, запаханный бригадир повел меня в поле, в хранилище, где перегнивали местные корнеплоды: свекла, морковка, лук.

– Помочь, конечно, можем, – вздохнул сельчанин. – А грузить? Люди работные в полях... Разве что бабочки эти, «ночные», жопы свои от коек оторвать сподобятся. Прилетели на мою седую голову! Их же кормить надо, поить... Эх! Пошли, служивый, в общежитие, передовиц блудливых к совести призывать!

Надо заметить, что в середине 80-х годов посылали представительниц древнейшей профессии «на картошку» гораздо дальше 101 километра, отрывая ярых передовиц от Тверской-Ямской, от соблазнов столичных – на праведное трудовое перевоспитание.

Полутемное вытянутое барачное помещение встретило нас дружным храпом и благоухающим на растянутой веревочной паутине стираным дамским бельем.

– Вот стервы! – выругался бригадир. – Разлеглись... Из пушки не разбудишь! А ну, подъем, перевоспитуемые! Трудодень за середину перевалил! Кончай дрыхать! А то ведь доложу куда следует!

– Тише ты, кудлатый! Чего всполошился? – с койки посередине барака, сопя и почесываясь, поднялась громадная сахарная глыба, не обремененная поясками, бретельками и прочими атрибутами девичьей гордости. – Чего, работа есть, что ли?

– А как же не быть! Машина с утра дожидается... Поспевай, звеньевая! Да прикройся – не след нам на твои натюрморты сисястые любоваться!

Женщина, не дослушав, решительно направилась к бригадиру. Уперев руки в пышные ослепительные формы, нависла над низеньким всклокоченным мужичком.

– Ты что, мундюк свекольный, офонарел?! Я, закоренелая москвичка, гнилхоз твой на себе поднимать буду? Ты, может, мою квалификацию с какой другой перепутал?

– Да я что, – оторопел от такого напора бригадир, – это вот товарищ лейтенант поспешает – из военного городка. Ехать ему треба!

– Военный? – перевела на меня тяжелый испытующий взгляд звеньевая. – Ну ладно, растолкаю девок. Ждите... Да не здесь! Во дворе стойте, лупоглазые.

– Во дела, товарищ лейтенант, – всю дорогу егозил на сиденье водитель-ефрейтор. – Из самой Москвы девки? Во дела!

Полный кузов картохи навалили! Ну, а когда еще колхозу помощь понадобится, мы с большим удовольствием... С такой бригадой с голоду не помрем!»

И точно, с того самого дня потянулись бойцы к бивачному борделю. За телом насущным. За пирожками домашними. Чуть машина комендантская фарами по небу полоснет – в разные стороны от барака тени полуголые разлетались. Сопки грудастые портянками расправленными обдували. Так год за годом крутила нас военно-полевая любовь. Крутила. Пока начальство колхозное управу на утехи бесстыдные искало. Пока хозяйство коллективное, а за ним и государство советское – не развалилось...

РАЦИОНАЛИЗАТОР

«В Греции все есть, – думал житель Туапсе Микола Ражий. – А рабочему человеку все равно, на кого жилы рвать: на заезжего олигарха, скупившего задарма родной туапсинский завод электросушилок, калымить или на греческого рабовладетеля – то бишь работодателя – батрачить». Работы Микола не боялся. Она от него бегала. Любил хохол сметливость свою на производстве применить. На времени и нагрузке физической сэкономить. Да вот зерно рационализаторское все не туда падало. То подшипник разорвет, то ремень перетрется. То начальника цеха током трахнет. А как-то, ради общей пользы, он за электрокар сел. Так работяги от Ражия по всему цеху, как куры от лиса, ноги уносили. Вот и переводили Миколу с участка на участок как «передавика» производства. Грамоту за рацпредложение вручат, и гуляй... Грамоты Николай с собой прихватил. Правда, в Греции они, наверное, ни к чему. Тут лучше рекомендации брата жены, грека по национальности, ничего не придумаешь.

Подрядился Микола у одного жителя Солоников полы циклевать. Дали объем, площадь. Каморку под крышей, чтоб при деле да пригляде хозяйском проживал и харчевался. Включил Ражий циклевальный аппарат в гостиной. Тот затрясся, как оглашенный, и давай паркет грызть! Махиной этой, оказывается, взад-вперед водить надо, чтоб ровненько поверхность пола обрабатывать. Выключил Коля циклевальную музыку и – сел пе-

рекурить. Грек в центральном офисе кондиционерами торгует. Так мать его, старуха вредная, когда звуки дребезжащие прекратились, в залу дымную ввалилась.

– Работать надо, курить – нельзя!

Делать нечего, опять принялся тяжесть нечеловеческую ворочать. Через полчаса притомился. Взмок. До колик печеночных с агрегатом бесчувственным натанцевался. А дело не продвигается. Только середина комнаты проплешиной девственной высвечиваться стала. Сел Николай на стружку, голову буйную повесил. Так и деньги, обещанные за каждый день работы, не в радость будут... Но не нашлась еще такая забота, чтоб хохол ее в положение горизонтальное не перевел! Покрутил он мозгами, покрутил механизм циклевальный. Нож брусочный из щели урчащей вытащил. Машина полы не дерет, ревет себе на здоровье. Микола лежит на стружке душистой, курит. Старуха со своей половины слышит: работает русский! Хороший работник, редкий. Под вечер помещение проветрил, прикрыл полы не циклеванные древесным золотым руном, середину выгодно очистил и – к хозяину за расчетом. Тот на мать поглядывает, улыбается, работу хвалит. Денег за трудодень отвалил, не пожадничал... Так три дня Ражий залу греческую папиросками вонючими обкуривал. Задарма столовался. Вздумала бабка в комнате ремонтируемой прибраться, стружку подмести... За вечную черноту, окурками склизкими заляпанную, гнали Миколу в шею – в темную южную ночь.

Спасибо родственники дальние греческие приютили. Но хлеб да соль отрабатывать надо. Подрулил Ражий к соседу, седому носатому греку. Познакомился, не надо ли чем пособить справился. Надо, говорит. Клетки кроличьи прохудились. Пруток есть, сварщика – нет. А Микола как раз на заводе нужную сварочную квалификацию заимел. Ударили по рукам. Об оплате договорились. Не разводя канители, через день-другой включает хохол сварку. Приноравливается к клетке. Бах! Электричество вырубило! Он рубильником пощелкал, только первую арматуру слегка на каркас наживил. Опять напряжение скакнуло. Защита автоматическая установку сварочную энергоемкую обезвреживает. Работе капут. Другой бы сдался. Но не наш рационализатор! С полчаса в щите электрическом поковырялся, аппарат строптивый напрямую к кабелю вводному подсоединил. Пошел ток! Дым! Искры! Удовольствие!

Разошелся, хохол, разохотился. Смотрит, за спиной что-то неладное творится стало. Чада с домочадцами по комнатам бегают, ахают-охают, руками машут. Наконец вежливо так плечо затрясли. Обернулся. Грек, хозяин, губами шлепает:

– Никос, дорогой! Почему все горит?! Свет горит! Телевизор горит! А счетчик в другую сторону крутится?

Пришлось Ражему товарищу недогадливому очки запотевшие протереть, схему неожиданно свалившегося богатства обрисовать... Больше законопослушный греческий гражданин с «кулибиным» связываться не захотел. Неприятностей побоялся. Но приятелю своему, куриному фермеру, с наилучшей стороны зарекомендовал. Посодействовал. Да и работа почти по профилю – клетки чистить.

Приноровился Микола на новом месте кур выращивать. Бригаду сколотил интернациональную по пролетарскому принципу: голодранцы, гоп до кучи! Деньжат поднакопили. Авто напрокат взяли. Пошло дело... И тут хохол не растерялся. Товарищей надоумил. По окончании рабочего дня, когда фермер цыплят новорожденных подсчитывал, ребята трех-четырех пеструшек в машину арендованную загружали. На ужин. И так все складно шло. Да недоразумение одно утреннее все нормы стахановские накрыло медным тазом. Дорвались ребята до работы, клетки намыли, кур обиходили. А тут хозяин заявляет, мол, хорош, праздник сегодня христианский, по домам, значит, идите, а я с вами как за полный рабочий день расчет произведу. Уф! Еле успели в суматохе курей в багажник упаковать. Домой так домой... А тут один дебил запыхавшийся, учитель из Саратова, откуда-то с улицы прибегает и прямиком к машине! Одежда там у него, видите ли, сменная находится. Ну, опоздал ты на работу, не торопись, отдышись, на друзей обомлевших внимание обрати! Так нет, на глазах хозяина праздничного, улыбающегося багажник распахивает!.. А еще говорят, что курица – не птица, летать не умеет. Еще как умеет!.. Бока бригаде Ражия намяли изрядно. В полицию заявлять не стали – и за то спасибо... Подался Микола на родину, на завод электросушилок. Там рационализаторам руки не выкручивают!

ФОТОРОБОТ

Подполковник милиции вышел на пенсию. Вовремя уволился: милиционером – не полицаем. Отдохнул, поправился, округлился где надо. Курить бросил. В лес за грибочками, на рыбалку походил. По городу послонялся. На работу в отдел забежал:

– Как дела?

– Подшиваются...

Ага. И дальше пошел – чего бывшим сослуживцам с расспросами надоедать? Проснулся как-то поутру – хорошо! Мысль одна занимательная привиделась: не написать ли ему книгу? О боевых буднях. Рейдах. Засадах. Для пущего вдохновения фотографии – портретные и официальные – на столе разложил. Целый иконостас. Курсант милицейской школы – худоба и жажда знаний в наличии. Лейтенант – наивность юношеская в глазах просматривается. Хорошо! Старший лейтенант – уверенность подернутых металлическим блеском с выкатом белков. Служака! Капитан... А это что такое? Наглый взгляд, самодовольный прищур, улыбочка хамская. Я ли это? А ну, дальше, дальше посмотрим... Мундир погрузнел – майор погрустнел. Как говорится, все позади, живот – впереди. Следующее фото взял – не лучше. Подполковник. Усталость, седина, морщинки.... Не-е-е-е буду я мемуары писать! Ну их к ляду. Забросил милиционер ручку и блокнот в тумбочку. И – пошел в магазин... за кефиром.

ДЕТАЛЬКА

Сват у меня, ребятки, золото! И сердце, и руки золотые... А судьбы такой, необыкновенной, как у Ивана Ивановича, еще поискать надо! В войну мальцом на фронт сбежал. Да куда десятилетнему мальчишке воевать! Притулился Ваня к воинским эшелонам, что на Архангельск ходили. Сыном железнодорожного состава числился. Там, в солдатском житие-бытие, открылся у Ванюши дар – машины и другую военную технику ремонтировать. Тем и жив был. Вернулся в родную Сергилахту, а там никого. Все, мама,

пятеро братьев и сестер от голода и болезней померли. Приютили подростка на МТС. Машинно-тракторную станцию тогда белорусы поддерживали. Много после войны в Карелию народа братского понаехало. В бараке-общежитии веселых и трудолюбивых бульбашей окреп Ваня, школу поселковую закончил. Потом в городе на тракториста выучился. Да он и без документа полагающегося специалистом был – высший класс! Жених завидный. Вскорости зазнобушку свою разъединственную встретил. Правление колхоза молодоженам полдома выделило. Детишки пошли. А там и мы с Иваном Ивановичем сватами стали! Я в Сергилахте дом купил, чтоб поближе к сродственникам держаться.

В то дождливое лето Иваныч шестьдесят пятый годок перемогнул. Сразу после юбилея мне по почте бумага пришла: на станцию ехать надо. Прислала сестра с Украины машину «Запорожец», получить необходимо. В то время любо-дорого было по железной дороге грузы разные отправлять на платформе. Ваня, как «мерседес» мой распакованный увидал, сразу понял, что нормальный человек на нем кататься не станет. Оказывается, за ненадобностью, по случаю безвременной кончины мужа, сестра в «Запорожце» курей держала. А после вообще решила это железное беспокойство мне передать. А мне куда деваться? Пособи, сватушка, чем можешь. В долгу не останусь. Покрутился Ваня вокруг машины, поколдовал и через пару дней выкатывает – как новенькую!

– Гляди, – говорит, – какую я из твоего корыта конфетку сделал! Правда, тормозов нет. Детальки одной важной не хватает, человеку знакомому одолжил...

Была у Ивана удивительная черта: детальку, как он ласково необходимую для ремонта запчасть величал, на временное пользование выдавать. Тридцать лет проработал Иван Иванович на рейсовом автобусе, толк в отечественных механизмах знал. Починить? Пожалуйста! У меня и деталька нужная имеется. Только с возвратом... Что и говорить, в моторах Ваня был асом! Бывало, позвонит кто-нибудь из знакомых шоферов в сельсовет, попросит дядю Ваню к телефону, мол, что-то у меня в машине сломалось. Иван симптомы технической неисправности вызнает, а то и попросит авто к телефонному аппарату поближе подогнать. Мотор чихающий через трубку послушает и – точный диагноз поставит: смени, мол, такую-то и такую-то детальку. Ни разу не ошибся!

Поставил на ноги сват моего «скакуна», хоть в город езжай. Я тут же упросил соседа подбросить меня до центральной дороги, туда, где рейсовый автобус останавливается. Мне в районный центр по делам ехать надо было. И Ваню уговорил прокатиться. Мало ли что дорогой случиться может. Машина не объезженная, с норовом. Долго ли коротко собирались, поехали. Едем сторожко. Дорога грунтовая, лесовозами разбитая. По сторонам глазеть некогда. Впереди горка. Подъем, стало быть. Сосед на третьей скорости до середины горушки проскочил и дальше прет, как ни в чем не бывало. Мы с Иваном в голос:

– Переключайся давай, заглохнем!

– Не боись, проскочим!

– Переключайся, – кричим, – олух! На второй не поднимешься.

На самой верхотуре наконец рычаг переключения тронул. Трах-тарабах! Коробку заклинило! Тормозить нечем. Поехали обратно. Сосед чуть шею не выкрутил, с горы выруливая, колеи держался. Да разве ее на такой скорости нащупаешь? На ближайшей кочке машина подпрыгнула, перевернулась и – в заросшую ивами впадинку влетела. Там и повисла. Вверху – небо. Внизу душа, чуть живая, за ветки цепляется. Сидим на головах, пошевелиться боимся.

Тут по дороге проселочной лесовоз едет. Водила колеса наши, вертящиеся в воздухе, увидел. Удивился. Притормозил.

– Что это, мужики, вы тут делаете?

– Сними ты нас, – взмолились, – мил человек, с верхушек этих окаянных!

– А я, – отвечает, – вертолет что ли, машину с дерева снимать?

Но уговорили. Кинул доску. Переползли мы поочередно на землю твердую. «Запорожца» тросом стащили. Слава Богу, все живы-здоровы! Только сапоги мои карельские, коты, шитые из мягкой свиной кожи, куда-то запропали. Пришлось мне дальше в одних носках добираться. Ну да ничего! Мы с Иванычем не из таких передряг выкарабкивались! Вот «Запорожцу» не повезло. На до-о-олгий прикол поставлен...

– Ты, – подытожил дорожное приключение Ваня, – за руль без моего призора не садись. Подожди, пока я механизм сорокасильный до ума доведу. Я тебе детальку верную поставлю – побежит шибче прежнего!.. Вот только не подвезли еще детальку. На прошлой неделе обещались, да что-то не едут...

Не сяду, не сяду, дорогой мой человек, никогда не сяду... На следующую злополучную ночь сватья в двери колотит: умер Иван Иванович. Во сне. Сердце... За похоронными хлопотами пролетело три дня. Три дня ветер гонял по небу темные дождевые тучи... Будто само небо оплакивало хорошего человека... Проводили мы Ивана Ивановича в последний путь, почитай, всей деревней. Возвращаемся с кладбища, подходим к дому и видим: висит на дверной ручке, примотанная проволокой, драгоценная Ванина деталька.

«Зима! Крестьянин, торжествуя...»

О здоровье своем скажу так – не жалуюсь. Не злоупотребляю, организм разными глупостями не балую. Здоровый образ жизни блюду: ежедневные прогулки, правильное питание и другие житейские радости. Раз в неделю на лесной родничок приезжаю. Вон он – на краю микрорайона – в ельничке сквозь мхи да камни чистые пробивается. Добрые люди его облагородили: трубу вывели, сруб соорудили и для красы царевну-лягушку каменную на хозяйстве оставили. Так вот приехал я по воду. Народу – никого. «Жигуленка» припарковал, канистры вытянул и – прямиком к роднику. Пешком по тропинке метров сто, не больше. Погода не очень. Серое небо. Дорога не лучше – жижа, а по краям грязный затоптанный снег. Вдруг впереди пятно яркое мелькнуло. Из-за елок показалась дама, молодящаяся такая, в оранжевом комбинезоне, на голове несуразная шляпка и вот в таких, в пол-лица очках. Вдоль колодца прогуливается. Голову вверх задерет, очки поправит и опять шлеп-шлеп по грязи розовыми дутышами. Картина! Будто и вправду кто царевну-лягушку поцеловал, а та девушкой обернулась...

Подхожу я, стало быть, к колодезной трубе, только под струйку канистру приладил, как женщина эта кругликом таким шустрым ко мне подкатывается и под кепку заглядывает. Только глаза у нее, очками увеличенные, все куда-то в сторону, как у куклы-неваляшки, заваливаются.

– Прекрасная, – говорит, – погода!

Да уж, прекрасная: круглый год солнца не видим, а в декабре – снега.

– Ух, как птички расчирикались! Мне почему-то хочется...

И чего опять на небе потеряла? Засмотрелась, носом воздух втянула, будто принюхивается к чему – того и гляди лопнет – и с шумом выдохнула:

– Весны хочется!

Ну, думаю, попал. Женщина странная. По всему видать – поэтесса. И манера разговаривать такая бестолковая, на полуслове останавливается. Я с одной такой в прошлом году нос к носу столкнулся, она у овощного ларька книжку свою продавала. Про любовь. Купил, куда денешься. И теперь как-то отвязаться надо...

– А я вот за водой приехал.

И пытаюсь к канистре прорваться.

– А у вас хороший одеколон.

Пресекает мою попытку женщина и ножку вперед выставляет.

– Да я вообще не одеколонюсь! Так, утром слегка водичкой на щеки плеснул... Это я дезодорантом в машине провонял.

– Какая свежесть! – женщина еще ближе ко мне прильнула. – А я хожу тут одна. Вдруг вижу – вы. «Крестьянин... торжествуя, на дровнях обновляет путь! Его лошадка снег почуя...» И-их! – головой игриво так тряхнула и на меня прищурилась. – А не махнуть ли нам на тройке да с бубенцами!

И взглядом своим раскосым мне в область живота уперлась. Я оглядел себя, спортивки подтянул. Чего ей от меня надо?

– Хи-хи, какой вы смешной! У вас вода из канистры переливается!

Она еще и издевается... Я канистру закрыл, другую подставил. Стою, топчусь.

– Ну что вы так разволновались? Такой опытный мужчина! У меня одна просьба, вы мне не дадите... – и опять глаза куда-то в сторону ушли, верхушки елей оглядывать. – Ну, вы, наверное, мне не дадите...

– Чего? – хриплю я неожиданно севшим голосом.

– На вашем «железном коне» прокатиться! Знаете, я в автошколу записалась. Теорию сдала, на дорогу не глядя. А как за руль села – мандраж. Водитель-то я никакусенький! Автомобиля своего нет... А мне так с места тронуться надо!

Ну, думаю, трогаться тебе никуда не надо, ты уже тронутая.

– Нет, – говорю, – женщина, ничего я вам трогать не дам! Тем более – постороннему человеку. Резина у меня лысая, еще в кусты унесет...

– А мы тихонечко тронемся и все, – продолжает настырная особа.

И рукой мне так ласково к груди – замочек на молнии теребит. Я аж от неловкости такой вспотел – с полными-то канистрами! – ни в одну, ни в другую сторону не пройти. Дамочка тропинку своими формами яркими загородила! Хорошо, лыжники от стоянки к роднику повернули: папа, мама и дочка. Вроде только под лыжи растопыренные нырнул, а уж в своем автомобиле сижу, ключом зажигания в замок попадаю. Оглянулся на тропинку. А моя собеседница уже семейство удивляет, головой вертит, рассказывает им что-то и руками машет, будто палками невидимыми от грязного декабрьского снега отталкивается. Э-э, да она и на лыжах кататься не умеет и, как есть – без снаряжения, в лес идти намеревается! Вот она какая – натура пылкая, поэтическая... Часа два, «торжествуя», по лыжне раскисшей погуляет, еще час в карауле у родника постоит – на целую книжку стихотворную впечатлений хватит. Про весенний лес, столбовую дорогу, коней в яблоках и пылкую земную любовь...

КОНЕК-ГОРБУНОК

Служил Леонтий Кириллович Запорожец на Новой Земле, на секретном аэродроме. Сам-то он с Азова. Оттуда и призывался. В учебку под Ленинградом попал. А там – куда Родина пошлет. Послала далеко... Но ничего. Вскорости пообтерся Леонтий в армейской среде, мерзлоте вечной. Даже на сверхсрочную остался, при КТП автомобильного парка состоять. Под его приглядом «Уралы»-перевозчики личный состав к самолетам доставляли. Все хорошо... Да понатыкала Советская власть на Новой Земле разных вредных установок, радиостанций, локаторов хитрых. Того и гляди как лампочка засветишься. Вот уже и лысина появилась. Болячки всякие. Сослуживцы подтрунивают: ««Перевозчик» – не машина, Запорожец – не мужчина, если хочешь быть отцом – заливай яйцо свинцом!». Решил Леонтий с армией завязать. Дембель сыграл, как положено, с музыкой. Летчики старшину Запорожца на Большую землю под звуки полкового оркестра проводили. По пути домой в Вологде тормознулся. В гости к сослуживцу заехал. Там и судьбу свою встретил, Леноч-

ку. Свадьбу сыграли в Азове. Все у Леонтия в порядке оказалось. Сына народили. Мишенькой назвали. Устроился Леонтий в автоколонну водителем. Леночка – в детский садик. Раз в год к родственникам вологодским выбирались.

Как-то по осени на Вологодчину прикатили. За неделю всех родичей обгостили, никого не забыли, общением не обделили. А тут тесть после баенки деревенской пристал как лист к лысине:

– Бери, зятек, моего «Запорожца»! Завтра же доверенность у нотариуса заверим и кати с ветерком! Мне уже по многости лет не сподручно Горбунка этого объезжать...

Леонтий согласился. Больше, чтоб отца жениного не обидеть. Ну, в добрый путь! Темнеет осенью рано. Мишенька утомился, забрался с ногами на заднее сиденье и быстро уснул. Сидящая рядом с мужем Леночка заботливо прикрыла сына теплой отцовской курткой. Дорога – во тьму. Небо – звездно. Таинственно. Жутко даже. Кометы струйками за воротник темно-лилового леса стекают. По спине мурашки бегают. Редкие деревеньки-совы окнами на тарахтелку припоздавшую таращатся. Эх, кабы городишко какой, ларек освещенный? Ни души! Так, упакованные в тревожные мысли и тесную малолитражку, тряслись Запорожцы по лесной незнакомой дороге. Слева курносой серебристой громадой проплыл памятник военному самолету... Подхватили и понесли Запорожца воспоминания о Новой Земле. О видении необычайном.

– Слышишь, Ленчик, ты в инопланетян веришь? Нет... Я тебе о том не рассказывал. Случая не было. Достали, понимаешь, наши ВВС на Новой Земле неопознанные летающие объекты. Пресловутые НЛО. Туда-сюда шастают. Приборы точные с ума сводят. Как-то поутру, вот в такую же осеннюю темень, построил бойцов командир части. Как и положено – развод. Плац замер. А НЛО тут как тут. Над папиной папахой рогами огненными колышется. Бойцы рты разинули, в небо пальцами тычут: «НЛО! НЛО!». Папа на невидаль этакую оглянулся да как рявкнет на весь плац: «Хреньло это, а не НЛО! Равняйсь! Смирно! Нале-во! На работы шагом марш!» Мирные они были НЛО, не воинственные. По первому году службы – в диковинку. А после... Так... Дурь радиоактивная.

Леонтий убедительно замолчал. Леночка тоже молчала, испуганно вглядываясь в окружающую темноту. Раззевавшись, растерев докрасна усталые веки, Леонтий свернул к обочине и остановился.

– Лен, может, вздремнем маленько? Через два часа рассветет. Что зазря зрение напрягать?

– Да не, страшно тут, Леня. Давай лучше в Тихвине отдохнем...

Машина с рычанием и треском рванулась с места. Мимо едва осязаемого леса. Мимо таблички заброшенного пионерлагеря. В неверном свете фар вдоль березовой аллейки двигались гипсовые скульптуры: девочка с голубем на ладони, мальчик с футбольным мячом, и еще, и еще с голубем... Страх божий! Вроде проехали черные заколоченные корпуса. Вроде страсти музейные миновали. Глядь, опять впереди силуэты звонкие белеют: у дороги, размахивая жестяным барабаном, стоял мальчик в легкой пионерской форме. Другой ребятенок с блестящим новеньким горном стоял чуть поодаль, возле мокрого малинового куста. Что-то толкнуло Леонтия Кирилловича остановиться.

– Вас подвезти, хлопцы?

Несмотря на поздний час, рубашки и шортики, одетые явно не по погоде, ребята выглядели уверенно и по-советски строго.

– Наконец-то, Леонтий Кириллович! Здравствуйте! Не удивляйтесь, мы все о вас знаем. И что живете в Азове. И что на Новой Земле служили... Пойдемте с нами, мы вам все по дороге объясним!

Из леса исходило какое-то белое пульсирующее свечение, доносились тонкие свистящие звуки. Слышит Запорожец, что жена коленками и зубами застучала. Ну и дела! Ребята-то не простые, одеты чудно и говорят вежливо. Закурить не просят...

– Нет, не пойду я с вами. Мне еще до Азова «Запорожец» гнать!

– Да все у Вас с машиной в порядке будет! Вы нас больше интересуете. Ваши уникальные способности. Через час обратно вернем, честное пионерское!

Голосок такой чистый, детский, проникновенный. Руки сами собой к ручке дверной потянулись. Да дрожь жениной коленки подсознанию передалась.

– Ни...ни пойду! Извините... Вот подремонтируемся в Тихвине и дальше махнем.

– Да забудьте Вы о своем драндулете! Порхать будет, как ласточка! Оставайтесь, Леонтий Кириллович!

– Не останусь, не просите! – и на газ давит.

– Вы только не...! Ни... кому...не...!

Недослышал Запорожец великой мальчишечьей тайны, рванул с места так, что уши автомобильчика по ветру затрепыхались! А в какой-то момент показалось Леонтию, что он автомобилем не правит вовсе, а тот, оторвавшись от земли, парит над миром по велению его, Леонтия, летучей мысли...

– Лё-ё-ёня-а!

Неимоверным усилием воли посадил Леонтий Кириллович свой горбатый самолетик на темнеющую внизу трассу.

– Лёня, Лёня-а-а-а-а, – тормошила Леночка мужа. – Проснись! Ехать пора.

Леонтий с трудом открыл глаза. За стеклами автомобиля занималось утро. «Запорожец» стоял на обочине в том самом месте, где заморенный тезка остановил его три часа назад.

Дорога до Азова показалась Леонтию Кирилловичу одним дивным мгновенным сном. В пути что-то ели, что-то пили, заправлялись бензином... Правда, после того как домой приехали, не мог вспомнить Запорожец ни одной придорожной заправки. И как водится по законам сна, Леночка к мужу с вопросами о ночном происшествии не приставала. Может, и не было ничего вовсе? Мало ли что сослепу померещится. Не было и не было. Только странность одна у машины оказалась: полгода проездил Леонтий на «Запорожце» – и ни капли бензина или масла какого на него не израсходовал! После трех тысяч километров под капот не заглядывал. О чем механикам и шоферам в гараже похвастался. Те – в хохот.

– Ты, Запорожец, почаще тёзку своего самогоном вологодским заправляй, он у тя и по воде скакать будет!

Леонтий Кириллович плечами пожал и поехал жену с сыном из садика забирать. Привез Запорожец Леночку и Мишу домой. Одним махом с тяжелыми хозяйственными сумками на четвертый этаж взлетел. За город торопился. Тещу на дачу везти. Перекусил малость... И что его с бутербродом недожёванным к окну потянуло, до сих пор неясно. Отдернул шторку... Машины, тёзки, Горбунка безотказного, на месте обычной стоянки не наблюдалось! Не было его и в соседнем дворе... За время поисков, беготни бестолковой не встретил Леонтий на своем пути ни машины, ни сведущего человека... Леночка плачет. Мишенька папочке машинку свою пластмассовую протягивает: «Ня, возьми, катяйся!» Да разве утешишь батю. Пропал «Запорожец». Как в воду канул... В милиции сержант только рукой махнул.

– Забирайте свою заяву! Людей не смешите. Кому ваш дедовский примус нужен? Ни зада, ни рожек... Вон в округе НЛО появилось, вот это да! Маленькое, горбатое, шарахнет по крышам огнями бортовыми – и обратно в облака! Авиацию подключили... Тут не до вашей развалюхи... А то, – сержант доверительно понизил голос, – мою берите! «Москвич-412»! Машина – зверь! На хороших оборотах да по прямой трассе вообще не останавливается! Не то слово – сказка!

МЕЧТА АРТИЛЛЕРИСТА

Я – артиллерист. Пусть сейчас и не у дел. В смысле – в МЧС служу, связь с общественностью и средствами массовой информации налаживаю. Не полигоны болванками шпигую. Это в военно-политическом училище – по артиллерийскому профилю – внимание и гуманитарным дисциплинам уделялось, и боевой работе. До сих пор до звона в ушах: ««Буря», стой! Цель 77, снаряд осколочно-фугасный, взрыватель «0», заряд уменьшенный, веер 002, первому: огонь!»... А на полигон танки въезжают. После наших стрельб цели недобитые утюжить. Мы танкистов при встрече заводим:

– Мазута! Банки консервные!

А они:

– Посторонись, «шнурки», а не то мы пушечки ваши подавим!

И то сказать – сила! Это не за шнурок орудийный дергать. Мечта! Мечта у меня есть лазоревая – на танке прокатиться... Чтобы к мечте поближе быть, я даже трактор освоить расстарался. В деревне. Дядюшка мини-чудом обзавелся, со сборной кабиной. С такой техникой сподручнее скотине корма заготавливать. Огород вспахать. Привезти, увезти чего. Меня как-то раз за руль посадил. Тоже ведь история...

Поехали мы с дядюшкой на ферму за коровьим навозом. Лето. Кабина снята. По самые дверцы. Туда долетели с ветерком. Обратно по грунтовке тащимся. Прицеп тяжелый, груженый. Дорога слаломная, как у нас в Карелии говорят – «пьяный финн проехал». Дядька невозмутим, на меня поглядывает да прищуривается озорно:

– Не дрейфь, племянник, я с любой сельской техникой на «ты». И с большой, и с малой. После окончания десятилетки годик поработал в родном совхозе трактористом. Профессия нравилась, даже гордился, что стал механизатором. Тем более что из всех громкоговорителей, с экранов телевизоров неслось по стране: догоним и перегоним, автоматизация, механизация, спутники, роботы, научно-технический прогресс. А еще Никита Сергеевич пообещал, что уже нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме и все за нас будут делать машины. Вот под аккомпанемент этих лозунгов я и загремел в армию. А куда трактористу? Только в танковые войска. Прямиком в твою мазутную мечту. В 65-м забрали, в 68-м выпустили.

Задумался дядюшка. Едем, по сторонам смотрим, тарахтим. Бывшие совхозные поля позаросли разнотравьем. Шмели гудят натруженно. Кузнечики стрекочут. А запах от зеленей июльских – пьянящий, сладкий!

– Демобилизовался я весной. Приехал в районный центр, а до дому решил пройтись пешком, напрямик через совхозные поля. Иду по просёлку и вдруг обомлел, оторопел, испугался, вспотел даже: идет по полю трактор, а в кабине никого нет. Вот оно, думаю, автоматизация в действии! Вона куда за три года прогресс продвинулся, до нашего совхоза дотарахтел! Неужели я теперь никому не нужен буду, ежели вместо меня робот трактором управляет?.. А трактор между тем дошел до края поля, аккуратно развернулся и двинулся в обратный путь новую полосу нарезать. И до того мне обидно стало, что тут же и поклялся навсегда сменить профессию. Однако любопытство над обидой верх взяло. Надо же посмотреть, как это чудо техники устроено! Двинулся наперерез роботизированному трактору. Догнал, заглянул в кабину... Малец, лет восьми, сидит за рулем, с трудом дотягивается до рычагов и педалей, но машиной управляет не хуже взрослого. Увидал меня, остановился.

– Ты почему один?

– Не, не один я, с папкой...

– А где же батя?

– Да вон, дяденька, в тех кустах папаня мой дрыхнет, видать, лишку с утра принял, а план делать надо, председатель убьет!

Слава богу, не подвела Родина, всё на своих местах оказалось! А профессию я все-таки сменил. Мелиоратором стал.

Не, племяш, это специализация по другую сторону от твоего замполитовского образования стоит. Она к земле и лесу ближе, а не к болтологии. Опять же к технике приучает. Ты-то на танке только в мечтах ездишь. А я траками в лесу все тропки-болота прорельефил. Да и, к слову сказать, ежели восьмилетний пацан с трактором управиться может, то ты и подавно! Главное начать...

Тут-то мне дядя руля и дал.

– На, Олега, тренируйся на танкиста-тракториста!

Сел я на дядино место. Еду тихонько, по сторонам не глазею. А тут внедорожник лихой нас у брода через ручей подрезает. Я по тормозам. Прицеп – на попа. И вся вязкая пахучая лавина к нам в кабину сошла! С головой накрыла... Хорошо хоть ручей рядом – до вечера мы в нем с дядюшкой полоскались, коня красного железного купали. Дядя не расстроился, что навоз по воде утек. Смеется:

– Богатыми будем, если в дерьме вымазались! Примета такая.

И я успокоился. Мух от кабины отогнал и до деревни без приключений на тракторе доехал. Так что кое-какие навыки вождения я уже имею. Но хотелось бы – на танке...

Я как-то в одном интервью, когда вопрошали меня о защите лесов от огня, о танке пожарном вспомнил, что у нас в шестой армии на вооружении был. Вот, вещаю, неплохо было бы его в МЧС использовать: и тушит, и заградительную полосу в молодняке продавливает. Не танк, а трансформер. И понесло меня, понесло... Училище приплел, полигон, бронированные громады, что военные дороги на гусеницы наматывали... А пресса за мечту мою уцепилась: такого присочинила! Танк тот пожарный, поди, давно на металлолом сдали. А журналисты меня его командиром назначили. Мол, у меня и до этого подобные подвиги были. До того заврались, что по всему выходит – танк Т-34, на Первомайском проспекте установленный, я на постамент каменный загнал! Как же загнал... Оккупантам на устрашение... Когда памятник этот открывали, я тогда ни в воинском уставе, ни в азбуке толком не разбирался. Да слово не воробей... Прочитал начальник заметку о Т-34 и меня в кабинет вызывает.

– Раз ты, Помошников, такая героическая личность, то я тебя к поисковой организации «Присяга» присягну, то есть пристегну. Они танк «КВ» – Климент Ворошилов – со дна Онежского озера у Соломенского пролива достать хотят. Вот ты как специалист и сотрудник МЧС очень даже пригодишься.

А я и рад! «Присягой» приятель мой командует. Мы вместе с ним в Приладожье служили. Он в связи ПВО, а я в ракетном дивизионе.

Прибыл я к Соломенской переправе. Так и есть, дружок мой по берегу вышагивает, руками машет, что-то спасателям из Карельской поисково-спасательной службы объясняет. Встретились, обнялись. Корешок молодость вспомнил, тюлюлюкает довольный:

– Когда связист мотал катушку, артиллерист вкушал ватрушку!

Шутка такая армейская. Хотя в солдатском варианте там не ватрушка, а подружка фигурировала. Но это уже сообразно обстановке... По плечам друг друга похлопали – много ли пыли накопилось. Ничего, еще служаки!

– Что за проблема у вас с танком?

– Да вот, сейчас приедут телевизионные деятели искусств, а мы «КВ» на дне нащупать не можем. Третий раз водолазы про-

лив обшаривают. Если б место было определенное... В 41-м через пролив танки на плотах переправляли – один перевернулся. Где – бакен ставить некогда было... Нашли вот коловорот, шарабан рыбацкий, даже авоську с цельными поллитровками – еще советского времени. А танка – нет...

Сели мы на травку очередной водолазной вылазки дожидаться.

– А помнишь, – говорит приятель, – как мы с тобой первый раз в пограничной зоне за грибами ходили?

Как же забудешь такое... По осени потянул меня этот отличник ПВО в лес.

– Поехали, Олег, к погранцам, в Сортавальский район. В погранзоне народу никого. Начальник заставы – мой земляк. Я там все взгорки знаю. Грибов – хоть косой коси!

Поехали, дело хорошее. Вроде и недалеко от дороги свернули. Один гриб, другой... Очнулись. Место дремучее, солнца за еловыми шатрами не видно. Куда выходить? – спрашиваю. А друг плечами пожимает: мол, я сам здесь впервой... Тоже мне следопыт, «взгорки-пригорки»! Достали компас, телефонов сотовых тогда еще не было, а стрелка как шальная крутится. Пошли по наитию, вслед-вслед за местным косолапым лешим. Часов пять проплутали. Куртки наизнанку вывернули, даже сапогами поменялись. А леший все водит и водит. К вечеру вышли на лесной кордон. Стоит избушка. Да чудная какая-то, не по-русски срубленная. Чистая, опрятная. Даже изгородь покрашена. Заходим в дом. Ба! Евроремонт! Все прибрано, оргтехника сияет, телевизор японский лялякает. Только печка большая, настоящая посередине комнаты, да и та с камином. Из сияющего санузла выходит хозяин в меховой безрукавке, теплых войлочных бурках и что-то не по-нашему лепечет. Мать честная, финн! Стали выяснять, куда мы попали. А финн и продолжает на ломанном русском:

– Вы попали на финскую территорию. Возвращайтесь обратно.

Мы струхнули не на шутку.

– Выручай, батя! Куда идти не знаем...

– Пойдемте, покажу, – и выводит нас через километра полтора на старую узкоколейку. – Вот так вдоль рельсов пять километров, потом три километра ползком, чтобы посты не засекли, и через просеку до озера. На другом берегу Россия.

– Спасибо, батя, вовек доброты твоей не забудем!

Наползались мы в ту ночь вдосталь. Светать стало, когда к озеру вывалились. А на том берегу деревня. Мы – к своим. Спрашиваем у первого попавшегося паренька, где здесь застава.

– А пограничники в тридцати километрах отсюда стоят, – и показывает нам направление, откуда мы только что приползли.

– А разве там не Финляндия? – удивляемся мы.

– Не, до нее далеко... А вы случайно не у Пекки ли были? У лесника-финна, что на кордоне живет?

– У него...

– Да он так частенько туристов разыгрывает, – повеселился парень. – Скучно ему одному в доме, пошутить не с кем.

Хороши шуточки! Добрались мы до заставы, где неподалеку машину оставили. Там тоже над нами поизгалялись. Но обещали с шутником познакомить. Недели через две начальник заставы лично нас на кордон отвез. Мировой оказался мужик Пекка, когда мы с ним поллитровочку усугубили. На следующее утро он нам и грибные, и рыбные места показал. Хозяин!

Вынырнули водолазы. Достали припасенные обеды. Тут и пресса подоспела. Расспрашивать стала: что да как. Снаряжение водолазное щупать. За разговорами и не заметили, как вечер наступил. Не достали мы в тот день танка. Видно, глубоко реликвия в ил закопалась. Решили поиски на следующее лето перенести. Корреспонденты загрустили – утопла сенсация. Но я их быстро успокоил. Есть, говорю, сенсация, да еще какая! Новость – международного уровня. Соседи наши, финны, учудили – бумагу в мэрию Петрозаводска прислали. Они, мол, все свои послевоенные обязательства выполнили, а мы танк из центра города так и не убрали. Он как стоял со стволом, на Суоми направленным, так и продолжает стоять, создавая прямую угрозу их независимости. В мэрии опус финский прочитали, затылки почесали и ответили дипломатично, без обид. Так вот, вскоре, как начнется реконструкция Первомайского проспекта, решено планово перенести Т-34 за черту города. Поставить на постамент и развернуть башню на Архангельск, в сторону Америки. Вот такой у нас, у русских, юмор. Не чета финскому. Это я опять Пекку вспомнил. Но это уже детали... Журналисты, прослушав мое заявление, еще больше губы надули, свернули аппаратуру и убрались восвояси. Новость без картинки – не новость... А я все успокоиться не могу: как же, начальник мне это поручение пристегнет обязательно. Товарища армейского за рукав тереблю:

– Ты только подумай! Танк на новое место дислокации доставить! Погрузят танк на платформу, а я на броне, как в 44-м наши деды-победители! Мощь! Высота! Через весь город! На боевом танке поеду!!

Сказал – и будто представил себе ликующий Первомайский проспект, развернутые флаги, военный духовой оркестр. Бум! Бум! Прокатится команда: «По машинам!» Тронется тяжелая платформа – и поплывет над дорогой, над замерзшим от восхищения городом моя лазоревая мечта! На танке прокатиться...

МОНЕТКА

– Наталья Ивановна, а как называется это ущелье?

– Баксанское.

– Наталья Ивановна, а почему вы с водителем горячие источники не принимаете?

– Не принимаем, потому что воду из этого источника не пьют – в ней купаются. А купаемся мы, карачаевцы, только два раза в год: 9 мая и 7 ноября.

– ???

– Обычай такой горский.

– Наталья Ивановна, а зачем в воду монетки кидают? На память?

– Нет, не на память! В этой переполненной минералами воде двухвалентного железа не хватает – вот и бросают, чтобы окислялись. Ты лучше монетку в карман положи, еще пригодится... Всё, дамы, по коням! А мужчинам вообще вредно долго в йодобромной купели находиться! Не теряем достоинство и полотенца! Экскурсия на Эльбрус – по машинам!

У подножья Эльбруса уже скопилось несколько экскурсионных автобусов. Горный фуникулер при ближайшем рассмотрении все меньше и меньше походил на заставку мультика «Веселая карусель». Сомнительные, переполненные людьми вагончики с треском и скрежетом исчезали в зыбкой заоблачной вышине. Суровые канатчики-горцы деловито и буднично распихивали по карманам вырученные за подъем деньги...

– Ну, что стесняемся? – подбадривала молчаливую очередь Наталья Ивановна. – Мальчиков моих брюнетистых испугались? Не бойтесь, дальше горы не уедете... Горцы – народ мирный, но вспыльчивый... Так что проходим, проходим вперед, не задерживаем движение! Эй вы там, пропустите экскурсию! У нас женщины и ветераны труда... Платим за посадку – и вперед с песней!.. Что? Кому деньги платим? 150 рублей – на освободительную

борьбу чеченского народа, 200 – на памятник Саддаму Хусейну. Да шучу я, шучу! Ну до чего же народ у нас наивный! Какой лапшой ни корми – все добавки просят! Вот давеча обронила, будто канатчики наши у курортников фотоаппараты отбирают и в пропасть сбрасывают. Мол, лицензию на фотографирование Эльбруса – гордости Кавказа – покупать надо. Так экскурсанты мои после этого и по сторонам глядеть боялись. Как дети, право! Но на всякий случай пользуйтесь услугами опытного экскурсовода. У меня-то разрешение на съемку имеется... Быстро в вагончик!

– Наталья Ивановна, а как мы все в эту люльку влезем?

– Влезете, влезете... Только обратно в нее попадите... А то тут три девушки до утра в небе болтались... Перед самым закрытием в последний вагончик заскочили, а фуникулер у нас вовремя отключается... Когда со светом перебоев нет... Так что на горе не задерживаемся! Хотя шашлык и хичины в кафе попробуйте обязательно. Все местного приготовления. Свои кулинарные секреты имеются... Я, – улыбнулась довольно Наталья Ивановна, – как-то по весне экскурсию в Нальчикский зоосад повела. Как раз на Курбан-байрам, весенний мусульманский праздник. На сие празднество горцы самозабвенно режут домашний скот, с последующей раздачей и окроплением кровью всех неимущих. Так вот в тот день и мои везунчики на это представление попали. Идем мы с отдыхающими по зоосаду и видим такую картину: в огороженной вольере четверо джигитов ловко и празднично разделывают тушу... пятнистого оленя. Пятый жрец священного мяса мангал раздувает, шашлыки накалывает, жиром брызжет...

Люлька наша, покачиваясь, плыла над живописной пропастью.

– Так что все у нас на Кавказе натуральное, так сказать, без отрыва от природы! А природа, милые мои, еще те сюрпризы преподносит... Еду я как-то с автобусной экскурсией на Чегет. Отдохнув в весеннем Нальчике, внутренне согласившись, что «лучше гор могут быть только горы», экскурсанты удобно, с претензией на долгий глубокий сон, устроились в мягких откидных креслах... Как вдруг за два километра от знаменитой долины нарзана, на середине пути вдоль Баксанского ущелья и моей речи о замыслах гитлеровского командования в зимней кампании 43 года, наш «Икарус» въехал в стремительную слепую полосу снежного бурана... Когда, наелозившись вдоволь в тяжелом мартовском снегу, мои измученные аргонавты сняли сухопутный корабль с края многометровой пропасти и уселись

на вожделенные места, я как ни в чем не бывало продолжила свой исторический экскурс: «Итак, планы врага на заснеженные горные дороги провалились»... В глубине салона раздался нервный несмелый смешок. «Гм...кхе...грр», – то тут, то там рассыпались его колкие искры. Через минуту машину затрясло. Через две – смех перерос в раскатистую хохочущую лавину, которая и докатила наш старенький автобус до подножья непредсказуемой, своенравной горы Чегет... Ну, вам повезло больше! Как говорил мой знакомый сапер: летать – не ползать! Так что слушаем мои команды: раньше времени люльку не покидаем. Эльбрус, в отличие от меня, шуток не любит. Тот еще норов! Приехали. Выходим. Голову ниже, ниже!.. Что, парень, зазевался? О-о, шишак-то какой! Кто же это на высоте 3500 метров с фуникулером бодается? Будет тебе память об Эльбрусе! Монетку-то сохранил? Вот и приложи к макушке, авось полегчает...

ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

Да какая там повесть... Недоразумение... Не было в Паше Кашкине ничего героического. Недотягивало его нищенское полуголодное существование до советского пафоса, стремления во что бы то ни стало дойти, доползти, выжить! Быть похожим на Алексея Мересьева из хорошей, прочитанной давно, в детстве еще, книжки. Не было у Кашкина должного твердого характера и ясной цели. А впрочем, не было вокруг и все понимающего народного строя, взрастившего на всем готовом, бесплатном, бездумном беспомощного маленького человека. Все хорошее – книги, школа, беззаботные годы заушной учебы в городском ПТУ, кипучая комсомольская жизнь завода шарикоподшипников – осталось в той далекой советской стране. А люди... Не все перестроились, не все напали на золотую жилу дикого челночного капитализма.

После бесстыжей приватизации и банкротства родного предприятия, да еще ухода жены, Пашка запил. Толкнул по дешевке холодильник. Вынес на рынок носимые вещи, не потерявшие товарного вида стол и стулья. Сдав пустующую жилплощадь торговцам-азербайджанцам, стал завсегдатаем местных забегаловок и ларьков. Роясь в мусорных бачках, сдавая картон и бутылки,

всегда находил деньги на водку. Постепенно научившись обходиться без работы, угла и закуски, Паша продал квартиру. Так, опускаясь по общественной лестнице со стопкой любимых книг и авоськой пустых бутылок, оказался Кашкин в большом и теплом подвале одной из многоэтажек на окраине города.

Выручив как-то на пункте-приеме пивных жестянок сотню рублей, на радостях купил Кашкин три флакончика корвалола. Усугубив содержимое вонючих пузырьков, Паша уснул, чудом не свалившись вниз с высоких подвальных облаков, окутавших паром трубы централизованного отопления. Три дня носило Пашу по винным морям и водочным океанам, качало и штормило, выворачивало наизнанку и поднимало к лазоревым небесам чудесное сновидение. За время кашкинского полета подвал мало-мальски привели в порядок, почистили, проветрили и – заколотили. Зима на дворе стояла лютая. Не хватало еще коммуникации заморозить... Проснулся Паша в темноте. Отдышался. По стеночке, а где и ползком, к выходу подался. Толкнул дверь. Заперто. Он в окно – заколочено. Со всех сторон жэушники Кашкина обложили. Завыл Пашка, загромыхал в дверь! Прислушался. Тишина. Пошел по трубам стучать. До хрипоты тьму подвальную аукал. Никто на Пашкину беду не откликался. С неделю Паша по подвалу ползал, банки консервные чистил, конденсат с труб водопроводных слизывал. Как-то в куче окаменевшего мусора раскопал Кашкин ржавую банку. В протекшей с улицы через щель сизой полоске света разглядел: болгарские консервы... «Глобус»! В 80-х годах в очереди выстаивал, чтобы сынишку, ягодку, клюковку ненаглядную, фруктом диковинным угостить. Как весело сынок на купленном с большой батиной получки металлофоне обучался! Он ведь у Паши композитором хотел стать с детства. В музыкальное училище поступил. Да уж окончил, поди... Кашкин с силой ударил жалобно пискнувшей банкой по трубе. Труба отозвалась. Бабушка с пятого этажа по батарее заколотила. Пашка – удар. В ответ – два удара. Наконец надоело бабусе с фулюганом посредством батареи переговоры вести. Позвонила она в ЖЭУ... Мастер-сантехник квартиры обошел. Определил, что звук посторонний из подвала исходит. Дверь гвоздями забитую сковырнул... Пашка, как чумной, на мастера ошарашенного вывалился. Пошатался. Глотнул снега. Размазал слезы. К свету белому, уже смеркающемуся, пригляделся. И бегом, на ходу подтягивая штаны, к ларьку остановочному понесся!

У ларька Пашу приятель, бомж, обитавший в подвале соседней пятиэтажки, встретил. Давно не видел. Батон из дырявого пакета достал и три флакончика одеколона.

– Я, – говорит приятель, – тебя по-царски угощу – коктейлем «Александр III». В честь своего дня рождения!

И точно, булькнул в литровую банку все три одеколона: один «Саша» и два «Тройного»... Тут за ларьком в сугробе их и нашли. Замерзших. Милиция приехала. Товарищей, в 30-градусный мороз в снегу до черноты южной загоревших, в кузов грузовой «Газели», как две мороженые бараньи туши, загрузили и в морг свезли...

Оттаял Кашкин от «теплого» одеколона. Огляделся. Помещение полутемное. Явно не подвальное. Холодное. И он, голый, на узкой и шаткой койке, не согреться, не прикрыться. А больто, боль-то какая! Паша, схватившись за живот, сполз на пол.

– Люди, люди, – просипел Кашкин, натыкаясь на такие же узкие, скользящие в стороны койки, – люди, помогите...

Но люди молчали. Старички и старушки, одетые в строгие наряды, осуждающе отстранялись, откатывались от Пашки, сложив на груди бледные холодные руки. Пищали колесики. Тихо, как на фигурном катании, сталкивались и разъезжались неуловимые каталки. Не ответил другу и давешний безмятежно голый приятель, тупо улыбающийся чему-то во сне... Живот крутило! Пашка бросился к светлой дверной щелке, соединяющей жуткое и скользкое помещение с длинным коридором. Что есть силы Кашкин забарабанил в запертую на засов дверь. Послышались шаги... Удивлению вышедшего на шум заспанного санитара не было границ! Перед распахнутыми дверьми морга в зыбком квадрате света стоял скрюченный, дурно пахнущий мужичок. Ко всему привычный санитар и тот от духа Пашкиного отшатнулся. В обмывочную теплую отправил. Мыло, кальсоны и рубашку чистые выделил. Живой значит.

Так, со всеми вытекающими последствиями, Павел Кашкин был выписан из городского морга, со справкой, в инфекционную больницу. Так в одночасье Пашка и документ – справку, подтверждающую его личность, заимел, и жительство временное. Хорошо в палате: светло, сытно! А ведь какой я молодец, подумал про себя Паша. В подвале выжил. В снегу не замерз. На том свете побывал и – обратно вернулся. Откуда эта благодать? Почему это происходит с ним, а не с кем-то другим? Чем он отличается от прочих людей?.. Лежа в больнице, Павел ясно

осознал, почувствовал всем своим стосковавшимся по цельности и силе существом, что он никогда и не переставал быть – настоящим человеком!

ПРОБЛЕМЫ ДЕМОГРАФИИ

– Демографическая проблема! Малая рождаемость! В мою молодость, – продолжала моя соседка по купе, – ни президенты, ни генсеки бабам в подол не заглядывали, ан народу рождалось тьма!.. Вот Варька Кузёмина. Кривовата, неуклюжа, головой слабенькая. А каждый день у воинской части крутилась. В баню на помывку солдатиков провожала. Возле бани на скамеечку сядет, для видимости книжку раскроет. Очки огромадные, умные. Глядишь, кто и прогуляться предложит, в форточку свистнет. Таким макаром шестерых сыновей родила, один другого краше. И чернявые, и белобрысые – разные. Правда, всех в дом малютки отдавала. Но под своей фамилией! Недавно все Кузёмины на похороны мамки бедовой съехались. Хорошие ребята. При деле. Кто и семейный. Знать, пополнение будет. Не оскудеет фамилия...

Мимолетная вагонная встреча. А вот не забывается, не заталкивается в долгий писательский ящик. И думается почему-то не о президенте, не о мамке-«кукушке», а – о своем, сокровенном. О судьбе, о жизни. Об Отце и Сыне.

ОФИЦЕРЫ И ДЕЗЕРТИРЫ

Куда только не заносила меня судьба. С самого детства. Три детских садика поменял. Все яблони, гаражи, дворы соседские обследовал. Однажды даже в общественный туалет провалился. Насилу отмыли. Правда, школу закончил одну. Не запачкался, не отличился. Потому и вспомнить о ней нечего.

В армии побывал. Аж в четырех видах войск: связи, спецназе, артиллерии и стройбате. О своей «гордости» – службе в Капчагайской десантной бригаде – вспоминать не люблю. Нахлебался я этой небесной романтики вдоволь. Да и попал я в казахста-

нский город Капчагай благодаря своему слабому здоровью и невезению. Сначала из Арзамасской учебки в Горьковский госпиталь угодил – с дизентерией. А там – завод шампанских вин за забором... Вот и сигали ребята нашего инфекционного отделения туда и обратно с полными ведрами и чайниками за шипучим пойлом... В первый и последний раз шампанское ведрами пил. До сих пор газами в нос шибает... На третьей межпалатной оргии нас и вычислили. И как есть – с дизентерией – в части долечиваться отправили. А там разбираться не стали. Из учебки прямиком – в дальние казахские степи... Наш брат солдат везде себе применение найдет. Пошел и я в спецназе по политической линии. Боевые листки, стенные газеты выпускал. Старослужащим дембельские альбомы раскрашивал. Крутился, в общем. Замполит мое радение заметил – в политическое военное училище поступать посоветовал. На выездной комиссии – в Отаре – сдал я необходимые экзамены и передислоцировался в Свердловск. В военно-политическое училище по артиллерийскому профилю. Бац-бац и – мимо... Мимо, потому что после получения офицерских погон угодил в королевские военно-строительные войска. Но об этом разговор особый... Сначала – о моем пребывании в пожарно-чердачных войсках.

В начале 1990-х попал я под сокращение оскудевших за годы перестройки Вооруженных сил. И прямиком в систему МВД нырнул. Вернее, шагнул... в огонь. Без малого пятнадцать лет в Петрозаводске пожарным инспектором работал. Закрытыми глазами скажу, где какая улица, школа или больница расположены. Где какой пожар произошел... Судьбы, трагедии, благодарные слезы – все через сердце свое пропускал. За то и благодарен профессии огненной...

Так вот, в бытность пребывания пожарки под крылом МВД случались в нашей пожарной инспекции казусы разные. Например, милицейские рейды. Раз в неделю по линии МВД пожарных офицеров к патрульно-постовой службе пристегивали. Улицы патрулировать. Все как положено: рации, дубинки, квартирные разборки... Когда бы только вечером. А то ведь милиции нашей только давай – везде посты устроит. Так я среди бела дня на крыше девятиэтажного дома по Октябрьскому проспекту очутился. В этом районе квартирный вор объявился, через форточки в помещения жилые проникал. Вот и решено было на крыши высотных домов сотрудников поставить. О по-

дозрительных звуках или личностях по рации сигнализировать. Карлсон на крыше – мир на земле. Распределял офицеров по домам местный участковый:

– Без толку на связь не выходите. Я сам вас вызову. Сидите, курите да вниз поглядывайте. – И на меня глазами зыркнул. – Капитан, а ты почему в форме? Сказано же было в гражданке приходить!

– Да я же на дежурстве, по пожарам, пожарный инспектор я. В случае чего машину пришлют...

– В случае чего, – прервал мое объяснение участковый, – на крышу начальник твой заступит, дом от воров охранять. А ты даже по малой нужде с наблюдательного пункта без моего разрешения сойти не моги. Гляди у меня! Дом этот особый. У меня там на 9-м этаже теща живет... Что б не протекло!

Сказал и в свой участковый пункт потопал. С жалобами разбираться...

На крыше ветрено, холодно. Хорошо хоть дождя нет. Хожу, о провода антенные спотыкаюсь. Как бы самому, на радость расхитителям тещиной собственности, вниз не навернуться... Хмурое августовское небо на город тучей сизой навалилось. Форточки не звякают. Карлсоны не летают... Вдруг сигнал по рации. Участковый на связь вышел:

– Спускайся вниз, – сквозь треск, – дело есть... Да не дрейфь. Ничего с твоей девятиэтажкой за полчаса не сделается... Обстановку сменишь. Разомнешься...

И пошли мы с лейтенантом по заявлению одной бабуси в соседнюю пятиэтажку. Серебро у нее фамильное украли. И упорно на медиков «скорой помощи» в кляузах своих указывает. Мол, некому больше. А на затылке у нее во время введения внутримышечных инъекций глаз нету...

– Надоела эта бабка, – сетует милиционер, – который раз ее заявления отрабатываю. Хрусталь, серебро... Больная на голову старуха! Сам увидишь...

Пришли. Оторванный звонок. Дверь обита обшарпанным дерматином. Вместо замка – дырка. Обстановка в квартире знакомая: шкаф, стол и полосатый матрас поверх панцирной железной кровати. Всемирная история: позднее среднехрущевье. На табуретке возле заваленного бумагами и справками стола сидит тихая старушка. Внимательно сквозь толстые роговые очки на нас смотрит. Через пять минут после вежливого вопроса лейтенанта и бессвязного ответа то и дело поджимаю-

щей губы бабуси украденное «серебро» – гнутые и скрученные алюминиевые ложки – нашлось под матрасом.

– Гражданка, – пошел в атаку участковый, – ну сколько можно серьезных людей от дела отвлекать, ложки и вилки перепрятывать. Ведь сами их сюда положили!

– Ой, не помню, милай, – заканючила бабушка. – Народу ходит тут тыща, все тащат...

В квартиру нетерпеливо постучали. Лейтенант, предварительно расстегнув кобуру, скользнул к двери:

– Кто там?

– «Скорая»!

В комнату вошли нервный доктор и настороженная медсестра. Оглядев всех присутствующих, доктор остановил свой колющий, как шприцевая игла, взгляд на старушке:

– Ну что у вас опять, Спиридонова? Мне по смене передали утром: к вам уже «неотложка» приезжала...

– Ой, голова, ой, спина болит, милай. Наверняка давление... Мне бы какую таблетку али укольчик прописать. Помоги, касатик!

Осмотрев бабушку, доктор стал торопливо перебирать медикаменты в своем чемоданчике.

– Это не больная, это наказание какое-то, – обращаясь к милиционеру, проворчал эскулап. – На прошлой неделе два раза по этому адресу ездили. Ничего не нашли...

– А чего искали? Не серебро ли? – хохмил участковый.

– Кабы серебро, – нашел ампулку насупленный медик. – Тут явный хомо маразмус, к диагносту не ходи. Температура нормальная, давление, как у девочки... С полгода бригады «скорой», как на работу, сюда по вызову приезжают...

– А может, скучно старушке, вот она и вызывает всех по очереди. Скоро и до пожарных доберется, – подмигнул мне развеселившийся лейтенант.

– Вот на всякий пожарный мы ей витаминчик и вколем, – подытожил сказанное доктор, вытягивая на тусклый ламповый свет брызжущий витаминами здоровенный шприц. – А ну, Спиридонова, поворачивайся. Лечиться будем...

Мы с участковым культурно отвернулись. Через несколько долгих, томительных секунд гулкую комнатную тишину разрядил подозрительный сдавленный всхлип. Памятуя о фамильном серебре, мы моментально среагировали на звук... Рыдал, вернее еле сдерживал смех, забив рот белым накрахмаленным колпаком, врач «скорой помощи». Вертела головой ничего не понима-

ющая бабуся... А гораздо ниже головы, под спущенными панталонами, во всю полосу ослепительной белой кожи красовалась старательно выведенная зеленкой надпись: «Бабка врет!»...

– А ты чего лыбишься, дежурный инспектор? – окатил меня невозмутимо-водянистым взглядом участковый, когда мы вышли из бабкиного подъезда. – Тебе еще до восьми вечера на крыше сидеть, пока люди домой с работы не придут. Пожары ночью расследовать будешь. А сейчас за домом следи, Карлсон, чтобы какой Малыш в форточку не залез...

Недолго я после того случая по крышам ходил. Не то чтоб форточники в городе перевелись. Нет. Просто пожарных, по каким-то соображениям, в МЧС передали. А там и я хвостом вильнул – в отставку вышел. Вот за письменным столом сижу, прошлое вспоминаю. Да записываю кое-что. Может, кому интересно будет. О людях. О службе. Один стройбат чего стоит...

После окончания училища и распределения в Ленинградский военный округ в Штабе на Дворцовой площади, с ходу рассмотрев мои документы, порекомендовали мне должность замполита военно-строительной роты в городе Петрозаводске. И я, балбес, позарился на предложение – родной город, свое жилье... По прибытии в часть и доклада командиру огляделся. Одноэтажные бараки: клуб, штаб, три казармы. Стены каркасные. Окна низкие. Крыши до самых форточек нахлобучены. Только медпункт, столовая и склады ничего – кирпичные. Солдат в части много, а офицеров не хватает.

Распределили меня на должность заместителя командира второй роты. Личный состав: с бору по сосенке, со степи по саксаулу. Грузины, узбеки, казахи, азербайджанцы, литовцы, сибиряки, одесситы. Каждый призыв – открытие новых языков и народностей СССР. При казарме – канцелярия. С койкой. Дежурить и быть ответственным по части приходилось день через два. Как самого молодого, назначили меня комсомольским секретарем части. Взносы собирать. Комсомольские собрания и политзанятия проводить. Клуб солдатский курировать. Приходилось и на стройки выезжать. Наша часть строила долго, бодро и размашисто сразу несколько объектов в Петрозаводске и других городах Северо-Запада. Заводы, котельные, жилые дома. С дрыном и матюгами выгонял я из подвалов и теплых бытовок сонных строителей коммунизма под пригляд чертыхавшегося прораба. Раствор стынет. Техника простаивает. Но основной моей задачей был клуб.

Замполит части обозначил для меня три момента: приведение в надлежащий вид зрительного зала, организация духового оркестра и дисциплина во вверенных подразделениях... Для покраски зала и сколачивания наглядной агитации командир роты выделил мне двух уральских самородков. Художников. Через неделю я их в санчасть сдал: надышались ночью ацетоновой краски и, как мартовские коты, друг друга расцарапали. А помещение я все-таки обновил. Узбекам дембельский аккорд подгадал. А настенную живопись я одному петрозаводскому портретисту заказал. Он мне клубную залу рабочими и колхозницами расписал – залюбуешься! Настала очередь оркестра. Инструментов духовых полная подсобка. Есть руководитель – прапорщик, интеллигентно и много выпивающий. Исполнителей – нет. Вот и бросил я кличь по ротам: кто на зурне, кто на дударе, кто на бубне играет? Набралось человек десять, от стройки и нарядов по этому случаю освобожденных. Из ленинградского управления музыканта прислали. В музыкальном взводе служил. Прапорщик его на тромбон определил. Тот старается, а звука нет. Оказывается, что дудеть он не умеет. Потому как играет исключительно на гитаре. А в духовом оркестре дудеть надо. Но не отказываться же от хорошего музыканта? Так и играл солдатик до дембеля на тромбоне. Щеки надувал. Для вида. Зато не фальшивил... На всех торжественных построениях – оркестр перед строем, я за оркестром, а командование части за мной, как расстрельная команда. То прапорщика в сторону качнет, то звук на середине государственного гимна затеряется – за все по фуражке получал.

Завершилось мое клубное воеводство на праздновании 71-й годовщины Советской Армии и Военно-Морского Флота. Пригласило начальство артистов из филармонии. В том числе знаменитого пианиста – преподавателя Петрозаводской консерватории. Замполит части лично указал, что подкрасить, что подремонтировать надо. Я с ног сбился. Раздал музыкантам ведра, щетки. Солдат из роты привлек, чтобы сцену в наглядный вид привести. За час до концерта замполит части по залу с платочком прошелся. Нигде ни пылинки. Полы покрашены. Шторы отутюжены. Занавес красными звездами расшит. На пианино взглянуть больно: блестит, как новенькое! И вот – концерт! Начальство на переднем ряду расселось. Узбеки с азербайджанцами при виде клубного великолепия присмирели. По-своему не лопочут. По сторонам оглядываются. Раскрыва-

ется занавес. Я, согласно сценарию, номера объявляю. Третьим по счету – за русским танцем и мастером разговорного жанра – на сцену маэстро из консерватории выплясывает. Ручками, ножками туда-сюда при ходьбе вертит. Взлетел на стульчик. Челочку кокетливо назад отбросил. Открывает крышку пианино... Ну, кто же знал, что казах Калбасенов не только гипсовый бюст Владимира Ильича Ленина, установленный на сцене, но и облупившиеся клавиши пианино белой эмалированной краской покрасит. Ни одного просвета. Намертво...

После такого конфуза и сорванного представления меня навсегда в ротную канцелярию заключили. Неуставные взаимоотношения пресекать. Заниматься дисциплиной и самодисциплиной, как указало мне начальство, надо без отрыва от казармы!.. Теперь со строек и расположения роты я отлучался только в служебные командировки. Для поимки дезертиров. Кои в бегах были регулярно, на разные дальности и временные промежутки.

Как-то по зиме приезжаю со стройки. Солдат из машин выгрузил. Пересчитал. Командир части вызывает.

– Так, лейтенант, – с ходу огорошил меня командир, – берешь двух сержантов со своей роты и – в Москву. Там на гауптвахте, в Алешкинских казармах, наш солдат, рядовой Карпунин, содержится. Милиция на Казанском вокзале задержала. Съездишь и привезешь. Выписывай командировку... Да смотри, не упусти! Он молодой, зря не побежит, тут разобраться надо...

В штабе выдали деньги и документы. Залетев в казарму, вызвал в канцелярию двух надежных сержантов:

– Демочкин, Давлетмурзаев, собирайтесь. Вот командировочные. Через три часа выезжаем в Москву за Карпуниным. На вокзале встретимся. Я – за билетами.

От части до вокзала одна остановка. Через воинскую кассу снимаю бронь. Забегаю домой – с родителями попрощаться. И вот мы уже в вагоне...

В Москве договорились: забираем Карпунина, гражданскую одежду с него стягиваем, чтобы бежать не в чем было. Ну, оставим, конечно, пару вещей для прикрытия. Не звери же... Как решили, так и сделали. В Алешкинских казармах перед выводом Николая Карпунина на чистый морозный воздух срезали мы у него на куртке и брюках все неположенные пуговицы, располосовали бритвой штанины, на манер пальмовых листьев, которые держались исключительно руками задержанного, и

таким карнавалом на Ленинградский вокзал прошествовали. Купили купе. Во избежание нежелательного общения с гражданскими лицами. Плотно поужинали. Дезертира голодного накормили. Упаковали Николая на верхнюю полку, предварительно связав по рукам и ногам. И – завалились спать... Около часа ночи просыпаюсь от того, что кто-то меня в бок толкает. Давлетмурзаев!

– Что случилось, сержант?

– Убижаль, товарищ лейтенант! Веревка перегрыз, ремень развязал и убижаль!

Их-ты! Я спрыгиваю на пол и, как есть, в одних трусах, выскакиваю в коридор. Вижу – сидит наш беглец в тамбуре перед туалетом. Наверное, остановки ждет. На нем гражданский наряд, который сержант Демочкин в Москве прикупил. Куртка, брюки, шапка меховая. Накормили, нарядили на свою голову! Я ринулся за Карпуниным по коридору. А он шмыгнул в следующий тамбур и заперся там на ключ. Откуда этот наглец ключ вагонный взял? Наверняка у проводницы в купе порылся. Дверь не поддается! Давлетмурзаев, пыхающий за моей спиной, пытался кулаком стекло выбить. Да куда там... Зазевавшийся в купе Демочкин побежал за проводницей. Пока та оглядывала нашу бесштанную команду, пока дверь в тамбур открывала – Карпунин распахнул наружную вагонную дверь и на полном ходу прыгнул в свистящую снежную ночь...

Командир части стоял в очереди за женскими зимними сапогами, которые нет-нет да завозили по линии военторга в наш армейский магазинчик.

– Ну что? Привез Карпунина?

– Никак нет, товарищ подполковник! Сбежал. Возле Акуловки с поезда спрыгнул...

Сапог просвистел рядом с моим ухом. Толпа, набившаяся в магазин, отпрянула назад. Крут был командир. Крут и горяч до крайности... Не прошло и полгода, как с погона его двухпросветного полковничья звезда слетела. За самодурство.

А дело вот как было. Грузины, большой партией прибывшие в Петрозаводск и державшие в те годы за шиворот любого ротного авторитета, наотрез отказывались дневалить и убирать казарменные помещения. После очередного ослушания построил командир часть в спортивном городке, для... показательного повешенья. Веревки с петлями уже на перекладинах болтались.

Табуреточка рядом. Все чин чином. Вывел командир из строя одного наиболее рьяного отказника и приказал его к перекладинам тащить, в последний раз подтянуться.

– Ну, джигит, выбирай – петля или тряпка?

– Я нэ тряпка!.. Лучше вешай!

Гордый. Наивный. Веревки-то подрезаны были, да и петлю солдату на подбородке затянули.

– Кто еще полы в казарме мыть не хочет? Шаг вперед.

Никто не шелохнулся. Но когда командир табуретку из-под джигита выбил, строй ахнул. А джигит малохольный, не дожидаясь окончания представления, в обморок бухнулся. Тут всех солдат по казармам разогнали – порядок наводить. Упрямца в санчасть отнесли. А наутро – на стройку в другой город откомандировали... После в части никто против слова командира не роптал. Но начальство – наверху – подобного самоуправства одобрить не могло. Смахнул полковник с погона одну звезду, но стиль руководства своего не поменял.

В очередной раз самодур на моей спине женскими сапогами отыгрался. Загнал меня в штаб, велел выдать тринадцатую зарплату и под Новый год за свой счет на поиски дезертира упущенного отправляться. Да еще с теми же сержантами. Чтобы Демочкин с Давлетмурзаевым в две ряшки лейтенантские оклады объедали.

Выяснив конечный пункт командировки – глухое кержакское село в Нижне-Ингашском районе Красноярского края, поплелись мы втроем на вокзал. Взяли билет до Ленинграда, а оттуда – на Свердловск. Везде ориентировку на Карпунина оставляли. Вдруг объявится. От Свердловска до Красноярска доехали без приключений. Перед самым вокзалом Давлетмурзаев решил первым из вагона выйти. По платформе прошвырнуться. Когда мы с Демочкиным вышли на станции Красноярск, Давлетмурзаева на ней уже не было. Только через полчаса от вокзала в нашу сторону быстро засеменила квадратная широкоплечая фигура, при приближении оказавшаяся запыхавшимся сержантом.

– Убижаль, гад! Опять убижаль...

Оказывается, Карпунин ехал с нами на одном поезде, даже в соседнем вагоне. А увидев на перроне Давлетмурзаева, бросился через вокзал в соседний жилой квартал. В пункте милиции нам выделили «уазик», но организованная погоня застряла в заснеженных привокзальных дворах... Ночью мы сели на поезд до Нижне-Ингашска.

Маленький сибирский городок встретил нас бодрящим тридцатиградусным морозом и нетопленным Домом колхозника, где нам предложили три койко-места. Перед тем как ухнуть на свою койку, я проверил книгу постояльцев гостиницы: нет ли там знакомой фамилии.

Со мной уже был подобный случай. Приехал я тогда в один уральский поселок, в полусотне километров от которого стояла деревня, откуда дезертировавший солдат в армию призывался. Устраиваюсь в гостиницу. Заполняю бумаги. Вдруг рядом знакомый голос раздается. Я глаз скосил – мой дезертир! Спрашивает у администратора ключ. Я недолго думая – в милицию. Те солдатика повязали и до ближайшего райцентра довезли. Там через военную комендатуру – этапом – в Петрозаводск. Хорошо я тогда съездил. С толком. И условия проживания были не в пример лучше. Ведь тогда лето было. А сейчас зима...

Поднялся я в комнату – не теплее коридора. Иней на стенах. Дежурная по Дому колхозника посоветовала надеть шерстяные вещи, хорошенечко разогреться и – под перину. Чтобы согреться в окутанных нашим дыханием комнатах, мы с сержантами, не снимая шинелей, пробежались по коридору. Тепло стало. Жить можно. Но прежде чем нырнуть с головой в сбитый сердобольной дежурной сибирский пух, я навестил местное управление милиции и военкомат. Уговорились наутро, не будя сержантов, на военном «газоне», в объединенном составе – я, прапорщик, дежуривший по военкомату, и местный участковый Кондратьев – неожиданно навестить карпунинское село.

– К вечеру доедем, – подбодрил меня участковый, – для Сибири это не расстояние...

В шесть утра мы уже были в пути...

Кержакское село высыпалось редкими огоньками из-за снежного лесистого взгорка.

– Давай сразу к нему домой, – взял руководство операцией по поимке дезертира милиционер. – Что сейчас, лейтенант, согласно распорядку дня? А? Просмотр программы «Время»! Пошли... У Семеновны, матери твоего дезертира, еще двое ребятишек. Да хахаль какой-то прижился. Она женщина с норовом. Да и соврет – недорого возьмет. Так что бдительности не терять...

Но дома Карпунина не оказалось. Отворила нам дверь сухонькая чернявая женщина в накинутом на плечи сером пуховом платке. Будто ворона, глазами темными, настороженными туда-сюда водит.

– Семеновна, – круто начал Кондратьев, – а где сын твой Колька сейчас, случайно не знаешь?

– Как не знать, к бабушке в Иркутск уехал. Сегодня утром и уехал, – ответила женщина и в знак подтверждения своих слов отступила в расположенную сразу от дверей кухню. За столом сидел всклокоченный материн хахаль в оборванной на левом плече майке. Ели кашу двое сопливых ребятишек.

– Уехал, говоришь... Ну ладно, – милиционер увлек всю нашу сыскную команду на улицу.

– Врет баба! Сына выгораживает, – подытожил наши догадки участковый. – Здесь он – в деревне. Носом чую! Пойдем к девахе его. Хаживал, говорят, к ней Коленька до армии. Женихался...

Но и девица где-то гуляла.

– Один в Иркутск уехал, другая по морозу шастает, – рассудил Кондратьев. – Все! Здесь будем ждать! Глуши мотор, гаси фары!...

Через час ожидания видим – идет девушка одна. В дом заходит. Мы – следом.

– Где Николай?!

Та от неожиданности все и рассказала. У подружки с Колей встречалась. Теперь он домой пошел...

На наш долгий непрерывный стук в дверь карпунинского дома ответил хрипловатый женский голос:

– Кто там?

– Участковый!

– Сейчас открою...

После приглушенного шороха за дверью все затихло.

– Открывай, мать твою! – гаркнул милиционер, ухнув кулаком в заиндевелое дверное полотно. – А то дверь вынесем!

Наконец дверь открылась, и мы вошли в натопленную кухню.

– Что не открывали? – поинтересовался Кондратьев.

– Ой, да мы спать уже легли, – отмахнулась от вопроса женщина. – В полусон что стук, что собака лает – все одинаково...

За столом, в той же самой застывшей позе и оборванной майке, сидел всклокоченный материн хахаль. Продолжали есть кашу двое сопливых ребятишек.

– Спать, говорите, легли, – хмыкнул в усы участковый. – А ну, ребята, пойдем посмотрим, кто еще тут спать хочет.

Начали мы комнаты осматривать. Чердак. Подпол. У Кондратьева глаз наметан. Шкаф проверил. Кладовку взглядом колючим прощупал. За трюмо в углу комнаты заглянул:

– А ну, вылазь, стригунок! Да не вздумай рыпаться! Хуже будет!

Но Карпунин выпрыгнул из-за трюмо, как черт из табакерки, боднув милиционера стриженой головой в грудь. Кондратьев от неожиданности чуть на пол не грохнулся. На полу оказались – одним клубком – я, прапорщик и налетевший на нас Карпунин. На Кондратьева с двух сторон надвигались Семеновна и ее кудлатый мужик. Когти наготове, клювы раскрыты.

– Ша! – скомандовал участковый, щелкнув затвором, вынутого из кармана тулупа пистолета Макарова. – Еще шаг и стреляю!

Хозяева дома замерли на месте. Наконец и нам с прапорщиком удалось скрутить Николая. Посадив дезертира на табуретку, Кондратьев спокойно спросил:

– Ну, давай поговорим как мужик с мужиком. Чего ты, дурень, из армии утек?

После короткого и откровенного разговора выяснилось – из-за девушки. Мол, дружок написал, что загуляла зазноба. Вот и рванул сгоряча. Не мог места себе найти, пока с девушкой не повидался. Показалось дружку, верна солдату подруга.

– Я с вами поеду, – произнес Николай, – но дайте с невестой проститься...

Участковый согласился. Но всю дорогу до Катиного дома руку в кармане тулупа держал, на всякий случай...

Наутро военный «газон», забрав по пути заспанных сержантов, довез нас до железнодорожной станции Нижне-Ингашска.

– Ну, давай пять, – протянул мне руку участковый Кондратьев, – теперь только довези в целости и сохранности. А то бегунец твой на мамкиных пирожках отъелся, еще дальше из вагона прыгнуть может: в Иркутск или на Камчатку.

– Теперь не убежит, – улыбнулся я, – обещаю.

Сели мы в проходящий скорый Иркутск – Челябинск. В одну плацкарту. От мира гражданского простыней занавесились. Во избежание лишних разговоров проводницу предупредили – военного преступника везем. А самого Николая – под коленями и лодыжками – к ножке стола привязали, и руки, скрученные ремнем, чтоб все время на виду были. Поочередно дежурили. Но все равно спали в полглаза. На соседнем боковом месте парень длинноволосый ехал. Все к нам заглядывал. Разговорчивый. Я говорю:

– Если тебе поговорить не с кем, составь компанию нашему дезертиру. А то нам с ним общаться нельзя, по уставу. И еще – спать ему не давай. А то он, выспавшись, враз от пут своих освободится. И тогда его никакой конвой не остановит!

Проникнувшись оказанным ему доверием, парень до самого Челябинска Карпунина историями забавлял. И периодически, когда голова солдата непроизвольно склонялась над столом, бил ему в лоб недоеденной куриной ножкой или чайным подстаканником.

– Не спать, дезертирская морда!

Не знаю уж, от какой муки мечтал избавиться больше всего Карпунин – тугих веревок или болтливого паренька, – да только с великой радостью повалился на лавку в камере задержанных при пункте милиции на челябинском вокзале. Дальше до Петрозаводска в поезде Челябинск – Мурманск ехал Карпунин в специальном арестантском вагоне с караулом. А мы подле – в соседней плацкарте – на всякий случай...

В родной предновогодней части встретили нас как героев, редкий случай, что в столь короткие сроки беглеца сыскать и доставить смогли. Командир части благосклонно разрешил мне новогоднюю ночь в кругу семьи провести. Для замполита – непозволительная роскошь... А Николай Карпунин через два месяца уже дома был. С белым билетом. Месяц в дурдоме прокосил и – восвояси! И с части одну палку за побег сняли. Сумасшедшие не в счет. Сумасшедшим в стройбате не место. Там только дебилы и олигофрены служат. Если посмотреть медицинские карты прибывших осенью новобранцев... Да еще с судимостями половина. Да еще со Средней Азии. С нар и из пыльных степей.

В славные советские времена кого только не присылали в нашу военно-строительную часть. В специалистов лопаты и мастерка превращались и греки, и венгры, и буряты, и казахские немцы с чеченцами. Но не сразу командирское слово до новобранцев доходило...

Таджики, прибывшие в «королевские» войска в национальных халатах и расписных тюбетейках, оказались единственными обитателями казармы имени Дружбы народов, не понимавшими ни одного обращенного к ним слова и не имевшими ни малейшего представления о современных городских условиях. Поэтому, как раз на такой случай, в курс молодого бойца входили учебно-показательные занятия «Как садиться на унитаз», макет которого был установлен в каптерке у старшины Билазова. Испытуемые на нужном месте таджики принимали самые экзотические позы, чаще всего, чтобы не упасть, хватаясь руками за трубу сливного бочка. Но и это не спасало их от конфуза...

Правда, к чести солдат из Средней Азии, держались они дружно. Дезертирства среди них не было. Поножовщина и рукоприкладство – да. Бывало, что из петли солдатиков вынимал. Не бутафорской, как на перекладине спортгородка под плакатом «Выше, дальше, быстрее», где командир грузина стращал. А из настоящей, безвременной... Всякого пришлось хлебнуть в стройбате – и плохого, и хорошего. Бывало, на грани срыва, непомерной усталости от стройки, личной неустроенности, непролазного казарменного быта, в гуще очередной межнациональной разборки выхватываешь моменты, которые запоминаются, остаются отдушиной или червоточиной в моем командировочном стройбатовском офицерстве...

Выходные и праздники – дни замполитов. За бетонным забором, когда вся часть в сборе, ответственные по ротам замполиты пытаются удержать от неуставных взаимоотношений. Стараются отвлечь личный состав от самовольных отлучек спортивными праздниками, задушевными беседами и индийским фильмом в отремонтированном клубе. Но все равно всех занять не удается. В один такой «ответственный» день я наблюдал ссору между солдатами соседней роты. Высокий и жилистый азербайджанец задирал широкого и спокойного бурята. После словесной перепалки, под ободрительные крики земляков, солдаты наскочили друг на друга петухами. Я поспешил вмешаться:

– А ну, прекратить драку! Разойдись!

Растолкав солдат, шагнул в кулачный круг. Вдруг бурят, отпрянув от своего обидчика, завизжал, закружился на одной ноге, прижимая ладони к плоскому, как лопата, лицу.

– Ай! Ты что! Ты что глаз бьешь – морда мало?!

И вместо того чтобы разойтись, толпа покатилась от смеха. Дружный хохот примирил две враждующие стороны до самого отбоя...

Ответственные офицеры, как правило, пересчитав по койкам «отбитый» личный состав, собирались в одной из ротных канцелярий и... немножко выпивали. Находиться на территории части – через день на ремень – без снятия напряжения никакая психика не выдержит. И называлось данное мероприятие – «спайка коллектива».

В нашей второй военно-строительной роте раз в месяц, для спайки коллектива, принято было посещать доступные в 80-х годах городские питейные заведения... в форме. Как-то раз, зимой ЗИЛ с «утепленными» дугами под брезентовым верхом остано-

вился у кафе «Белые ноги» («ноги» – потому что неоновая «ч» в названии кафе никогда не горела). Из заиндевевшего кузова на яркий витринный свет вывалились загулявшие командиры. При входе предложили раздеться... На что замкомроты, молодой, неопытный лейтенант Солодченко ответил категорическим отказом. Важный. Что ты – суворовское училище закончил. Потребовалось вмешательство администрации кафе, командира роты, чтоб стянуть с узких мальчишеских плеч огромный армейский бушлат... Под бушлатом оказалась одна драная мариманская тельняшка вперехлест с широкими помочами непомерных ватных штанов, расстаться с которыми упрямец так и не решился. В таком вот экзотическом виде он и прошествовал в обеденную залу, где все уже было готово к нормальному мужскому общению.

Разговоры о битых носах, ночных самоволках, невыполнении дневной нормы на стройке, жалобах прораба, неподчинении приказам командиров еженедельно происходили в канцелярии роты совместно со «спайкой коллектива» и «красной субботой». На «красную субботу», где присутствовало все руководство роты – три офицера и четыре прапорщика, вызывались наиболее «отличившиеся» в неприятии армейской дисциплины солдаты – лентяи и залетчики. На лобном месте – стоящей посередине комнаты табуретке – они получали свою долю увесистого командирского негодования и назидательной ненормативной лексики. После чего повинную голову ласково оглаживала ручная машинка для стрижки волос, которой мастерски владел прапорщик Артемьев... Как-то в одну из «красных суббот» в притихшей казарме не оказалось ни одного нарушителя дисциплины. То ли в самоходе, то ли на гауптвахте оказались. В общем, не было в тот день для командиров объекта воспитания. А «спайка коллектива» произошла в усиленном трехлитровом варианте. В образовавшейся неразберихе и дымной канцелярской тесноте на лобном месте оказался прапорщик Бабошко, покорно склонив греческий шнобель на усеянную значками «Отличник погранзаставы» и десантными «парашютиками» впалую грудь. Над ним, деловито и слегка покачиваясь, склонился прапорщик Артемьев. Занесенную над Бабошкиной головой блестящую щелкающую машинку отвел в сторону командир роты Осовский, вовремя вернувшийся из столовой. Положив на стол бачок с зелеными квашеными помидорами, крепко ухватившись за его чугунные бока, командир несколько раз тряхнул лысоватой головой и произнес:

– Слушай мою команду! Всем по домам... Я на роте останусь до утра... Больше... Больше в канцелярии пить запрещаю!

– А меньше? – икнул в своем углу прапорщик Билазов.

– А меньше – дома, – оторвал взгляд от бачка и исподлобья оглядел обкуренную канцелярию Осовский. После такого взгляда никому в роте оставаться не захотелось. Да и продолжать веселье на стороне тоже.

Проводить до дома Артемьева и Бабошко, заключивших друг друга в крепкие братские объятья, вызвались мы с прапорщиком Мустафаевым. Тот был старшиной нашей роты. Услужливый. Верткий. Но при его каптерном царствовании в расположении ничего из ротного имущества не задерживалось. То ли призыв был воровской, то ли старшина ушлый. Во время его дежурства разложенные с вечера по тумбочкам щетки, мыло, зубные пасты ночью оказывались в таксопарке. В обмен на ящик водки. Или телевизор ротный на катере на другую сторону озера уплывал. Солдат повинных находили, а организаторов и скупщиков – нет. Мог Мустафаев начальству пыль в глаза пустить. Вернее, вовремя от пыли избавиться. Чуть какая проверка, Мустафаев солдат своих, в каптерке прикормленных, через забор соседней строительной части перекидывал. А обратно пиломатериалы принимал, гвозди, лак, краску. Часть за забором московского подчинения, с их складов не убудет. Комиссия на порог, а у Мустафаева стены новой пролаченной вагонкой оббиты, полы поверх слоя пыли и грязи яркой краской покрашены. Не казарма, а картинка!..

Вспомнилось вдруг, как мы с Мустафаевым, тогда он еще командиром взвода был, ездили на поиски дезертира в казахстанский город Аркалык. Дезертир, русский парень, живший в Казахстане, вырвавшись из Средней Азии в Карелию, пошел чудить – из самоходов и женских общежитий не вылезал. И, наконец, совсем казарму имени Дружбы народов покинул. Вот и отправились мы с Мустафаевым дезертира в Тургайской степи искать.

В поезде Ленинград – Алма-Ата Мустафаев решил свою национальную торговую сметку применить. Прохиндей! Знал бы, что учудит, ни за что бы с ним в командировку не поехал. Купил у студентки-проводницы бутылку водки. В 1990-м водка только по талонам была. Тут же завернул бутылку в полотенце, чтобы отпечатки пальцев не стереть, и достает из-за пазухи мои протоколы и бланки объяснений. Я, как военный дознаватель, имел их в достаточном количестве. Все опросы к уголовным делам

подшивались. А Мустафаев их на стол проводнице выложил.

– Сейчас протокол составлять будем или потом?

Девушка – в слезы. Проводники по вагонам забегали. Позор-то какой!.. «Или потом» обернулось здоровенным бригадиром поезда, явившимся через пять минут после начала следствия по бутылке с пачкой денежных купюр в кармане рубашки. О чем судили-рядили бригадир и Мустафаев, закрывшись в купе проводника, мне не ведомо. Но через полчаса вышли довольные, и денег в кармане бригадира заметно поубавилось. Больше я прапорщика одного из купе не выпускал. В туалет – и то под приглядом.

По прибытии в Аркалык я – по родственникам и явкам. А Мустафаев – на базар. Вскоре стал я замечать, что прапорщик с какими-то подозрительными личностями общается. Деньги и пакеты из рук в руки передают. Тут не информацией о пребывании дезертира – тут «травкой» пахнет! Скучая по старшинской каптерке, стал Мустафаев продукт конопляных полей на рынке покупать и перепродавать. Того и гляди за прилавок встанет. Задал я ему перца и решил подобру-поздорову в Петрозаводск отправить. Все равно следов беглеца в степи не наблюдалось.

Сам тоже стал домой собираться. Но напоследок решил родителей другого своего солдата – Ергазы Карашаулова – навестить. Он тоже из Аркалыка призывался. Аул его от города в 20 километрах располагался. Нежданно-негаданно привез я весточку от сына отцу и матери. Вся родня аульская в юрту набилась. Прием был ханский – командир Ергазы в гости пожаловал! Правда, за низеньким столом одни батыры. Женщины в сторонке. От жирного бешбармака и теплой водки меня быстро разморило. Мужики пузатые на двор пошли. Гирю подымать, силушкой меряться. А я голову хмельную от подушек, вкруг стола разбросанных, поднять не могу. Задремал даже. Проснулся от громкого лопотания. В юрте женщин полно. Хозяйка что-то старушкам сморщенным рассказывает и в меня пальцем тычет. Те головой качают и удивленно охают. Я опять в сон погрузился... Потом я у матери Ергазы спросил, о чем это она гостям рассказывала-хвасталась.

– А как же, – покачала та головой, – ты же из Ленинграда приехал?

– Ну да, поезд Ленинград – Алма-Ата.

– Значит – внук Ленина!

О как! Хороший народ казахи. Гостеприимный. Будет чему на очередной «спайке коллектива» подивиться...

По осени было решено мероприятие по спайке коллектива перенести в пойму реки Лососинки. Развели костер. Прихватили из столовой остывший ужин, бачок, кружки. И, отдав должное простой солдатской пище, пустили по кругу одну, вторую, третью бутылку «Пшеничной»... Ребятишки, рыбачившие неподалеку, натаскали хворосту, сучьев. Полыхнуло. Побежали, обгоняя друг друга, по сухому древу жадные огненные язычки... Господа офицеры и прапорщики, за исключением оставшегося в роте по причине внезапно возникшей трезвости Бабошко, разгоряченные жаркими бесконечными спорами о «любимой» работе, пошли купаться... Не оставив своих суворовских замашек, замкомроты Солодченко бухнулся в бурную порожистую реку, не раздеваясь. Потом все грелись... На ветках и кольях парилась лейтенантская форма, сапоги, фуражка. Дымились носки. Сам добрый молодец сладко спал на теплой зольной земле...

Садилось солнце. Догорал костер... Проснувшись от дикого осеннего холода, лейтенант не обнаружил на берегу ни одной живой души. Не было и одежды. В кучке золы и пепла нашлись сапожные гвозди, несколько пуговиц, звездочка и погнутая кокарда... Пришлось зазевавшемуся костровому по темени домой добираться. Босяком. В трусах и майке... На службу вышел через день. Новую форму справил. Звездочки приколол. Кокарду вставил. Ходит букой. Ни с кем не разговаривает. На мировую пить отказался...

Так Солодченко и Бабошко от «спаек коллектива» отстранились. А там и часть нашу сократили... Бабошко на пенсию вышел. Солодченко на Украину уехал. Осовский в Калининград – на дальнее пограничье, погранзаставой хозяйствовать. Мустафаев ларек на Антоновском рынке открыл. А я – в пожарную охрану Петрозаводска. Опыт военного дознавателя пригодился. Те же объяснения и протоколы. Война с окурками, дуростью, наплевательским отношением к себе и близким. Только вместо дезертиров – прожигатели жизни, чердаков, матрасов. И профессия другая, огненная, тоже нужная, благородная. Офицерская. Но более человечная, что ли...

Нет-нет да и загляну в караулку Первой пожарной части за какой-либо надобностью. Провести детишек в депо на экскурсию. Справиться о машине, выделенной на празднование Дня города. Взять интервью о пожаре, где отличилось дежурившее сегодня звено... Позади смена караулов, боевые занятия... В часы чуткого

послеобеденного отдыха в «курилке» стучит домино, дымно и весело от дружеских шуток, метких колких словечек бывалых «тушил»... Нет в тесной прокуренной комнатке ощущения тягостной усталости и кичливой спеси, что отличает иных полицейских чинов и вышколенных военных. Пьют чай – садись, пей чай. Ставят «рыбу» – забирайся под стол. С наскока не возьмешь спортивного забора – элемента пожарной эстафеты – даже будучи доминошным «козлом»... Единение, ощущение значимости своих сил и поступков приходит в битве с настоящим неуправляемым огнем, когда от твоей решимости, быстроты и смелости зависят судьбы людей, товарищей, шагнувших в неведомое через порог задымленного подвала или пылающего чердака... Ополоснувшись после жаркого боя у вскрытых гидрантов, сбив пламя и выпустив дым, ребята шутят: «Кончай перекур!»... Впереди новые бессонные сутки. Зачеты на мужество. Крещение огнем... Сердце занимается светом, когда в караулке к тебе, равному, принятому в брандмейстерское братство после совместных выездов и огненных ночей, обращаются ясные, знакомые лица, лица пожарных...

Сейчас, на полувековом рубеже, я спрашиваю себя: что мне дороже всего на свете, что я боюсь потерять, что я должен сохранить во что бы то ни стало? Тепло и доброту рано ушедших из жизни родителей? Любовь сына? Единение сердца и души, упоение в близости любимой женщины? Так спрашиваю я себя. И все больше уверяюсь в том, что все это чудесным образом, неразрывно соединено в человеческой памяти. Я дорожу каждым данным мне мгновением детства, отрочества, юности. Службой в армии. Командировками в стройбате. Работой в пожарной охране. Пока я жив, все это со мной, в моей душе, вероятно, это все вместе и есть я.

Я, помнящий и любящий, живущий здесь и сейчас, пишущий эти строки, из темной глубины колодца кем-то неведомым звонко поднимаемый в ярко манящее неведомое завтра, не зная, дам ли я напиться суровому путнику или же, пропахший затхлой тиной, я буду брошен в черный провал, и тело мое, как пустое жестяное ведро, гулко и беспомощно запросит пощады, любовь, и юмор, и боль, и лиричность прожитых лет я доверяю белому бумажному листу, пущенному корабликом по реке, в которую я вошел однажды.

ХВОСТЫ

Корабль!.. Пока не столкнешься нос к носу с этой громадиной, понятие о боевом корабле имеешь куцее, серенькое. Какая-нибудь пехота, доведись ей выйти на судне в открытое море, в одних переборках ногу сломит. Человеческие отношения опять же... Все как на ладони. Ну не любит командир, капитан первого ранга Брюзжин, моториста Симку Рубинчика! Не любит – и баста! Ему и дела нет, что Симка папашу в глаза не видел, тот только фамилией успел сыночка наградить и слинял на историческую родину.

На флот Семен пошел – по великому желанию. Мечту свою белопарусную в море соленом ополоснуть. А не насолить капитану, как тот себе вообразил. Два года любовался Семен на просторы Северного Ледовитого океана с палубы нашей плавучей ремонтной базы. Изредка, отшвартовавшись от сходней в каком-нибудь северном порту, попадал в руки «летучего голландца» – пешего военного патруля. За пуговицу незастегнутую, за неотдание чести и прочие неуставные промахи. Знал Семен о базах Северного флота все – в пределах местной гауптвахты. У завсегдатаев оного заведения о достопримечательностях и красотах, окружающих колючий комендантский забор, справлялся. За любопытство то невинное после отсидки ходил Рубинчик в наряды с завидной регулярностью. А то и в душевых – судовом карцере – сны молодецкие досматривал. Под неусыпным взором капитана Брюзжина. И от взора того все тоскливее и тоскливее становилось у Симки на душе. Все чаще и чаще мерещился ему на море-океане трепещущий белый парус. Пытался Семен из ямы позорной себя за гюйс вытащить. По боевой и политической подготовке хвосты подтянуть. Да несчастья за Рубинчиком косяком ходят: то масло в машинном отделении разольет, то карты на политзанятиях рассыплет. А замполит вообще на Симкину – а-ля Феликс Дзержинский! –породистость как бык на красную тряпку реагировал. С такой «везухой» не то что отпуска – дембеля не увидишь...

Тут приказ – не в бровь, а в глаз. Брюзжин крысам войну объявил. Даже в Ноевом ковчеге каждой твари только по паре было. А на вверенном капитану корабле этих хвостатых тварей развелось несметное количество. В трюмном помещении личного состава умудрялись крысы в штанины матросикам забираться. От таких нервозных ощущений не то что «яблочко» –

канкан мюзик-холлный спляшешь! Надоело капитану от крыс корабельных ущемление терпеть. Нарушения санитарные погонами прикрывать. Перевел он личный состав на осадное положение. Хошь капканы ставь, хошь кортик офицерский в ход пускай, но чтоб бежали грызуны по морю от боевого корабля яки посуху! Самому ловкому крысолову отпуск посулил. Для отчетности повелел предъявить соискателю пятьдесят крысиных хвостов. И счетоводом при этом медбрата поставил. Само Брюзжин для таких впечатлений слабоват был. А уж брезглив – до потери сознания.

Отпуск! Симка о таком фарте и думать не смел. Благословясь, пошел крошить крыс направо и налево. Во всех корабельных помещениях и загашниках капканы и силки расставил. На трубах петельки соорудил. И теперь по утрам жирные корабельные чучундры, как елочные игрушки, под потолками раскачивались. Хвостами за беспечность собственную расплачивались. А изобретатель все новые и новые «испанские сапожки» придумывает. Ребята в гальюн без доски ходить побаивались, место отхожее вперед прощупывали – вдруг на кол какой сядешь аль мышеловкой хозяйство драгоценное прищемишь... Но, всем известно, крысы – умные твари, особливо корабельные. Ко всему приспособятся. Учуяли, откуда их хвостатому народцу угроза исходит, и все Семеновы хитрости обходить стали. Добыл Семен-заготовитель пушного зверя – ровно в половину положенной нормы. А дальше – ни в какую! Хоть самому хвост отращивай... Благо был у Симки на суше один знакомый свинарь. А в свинарнике этого добра – от корыт не оттащишь! Собрал морячок недостающие хвосты и – в кубрик. Добычей хвастаться. Братва загоношилась.

– Ты, Семен, хвосты медбрату не носи. Он их своим любимчикам приписывает. Давай сразу к командиру! Тут не отвертишься. Приказ был? Был! Значит, и отпуск в кармане!

Пошел Симка к командиру. Постучался. Никого. Только ужин в посуде фарфоровой жаром пышет. Постоял Семен, помялся. И решил трофеи военные на столе оставить. Салфеточкой белоснежной прикрыл и записочку для верности присовокупил: «От Рубинчика»...

Ребята видели, как боцман с нарядом в каюту капитанскую забежали, медбрат на ходу в склянки аптекарские бил, будто часы последние своего пребывания на корабле отсчитывал... После благополучно завершенного обморока велел капитан уб-

рать Рубинчика с глаз долой на пять – и еще на пять – суток гауптвахты. Повели матросы Железного Феликса по главному трапу с высоко поднятой головой, в расстегнутом бушлате...

Крысам с той поры лафа наступила. Брюзжин коку распоряжение выдал – упырей оных на полное котловое довольствие поставить. А на праздник и пирогом баловать. Лишь бы ужаса давешнего больше на столе не видеть.

Эх! – утопил бы в тоске Симка свою голубую мечту, да на базе аврал случился. Два противолодочных корабля носами поцеловались. В боксы зайти нельзя. Об том командование в известность ставить надо. Решили своими силами ремонт сделать. Всем «орлам-соколам» – отпуск пообещали. Семен с бригадой – на плаву! – за три дня судно отрихтовал и краской подмазал. Брюзжин приказ подписал. Да и как не подписать, Рубинчику воевать всего месяц осталось. Вот отпуск к дембелю и приурочили.

Скользя по обледенелой пристани, наполнив ветром полы распахнутой черной шинели, уходил Симка, и летела Симкина душа – домой – под всеми парусами! Вся жизнь впереди, только хвост позади...

НЕСУСВЕТ

— Слышь, парень, – сначала разговор плюхнувшаяся рядом со мной на сиденье электрички тетка, – чего это поезд так долго не подавали? Тока, что ли, не было? Али машинист загулял? Если с напряжением что – оно понятно. А ежели с человеком...

Я, почитай, четверть века в Энергонадзоре, а все к дурости людской не привыкну. Вот взять наш Мончегорск. Вечная мерзлота кругом. Холод. Тут друг дружки держаться надо. А эти – как сбесились! Жалобщики. Огородники. Ишь чего удумали! Током, видите ли, у них от земли бьет. Мол, соседи незаконную энергию – динамо-машину – для бытовых нужд подключают. Какие соседи? Чушь несусветная! Бичва на бичве! В доме лампочки целой нет, а тут – динамо-машина! Три раза выходила, в огороде об комья запиналась. Сигнал отрабатывала. Жалятся и жалятся... Светлана Семеновна! Светлана Семеновна!.. Тьфу! А на вид приличные люди. Ну хоть бы кабель какой подземный поблизости проходил, опора электрическая притулилась. Нет! Одно в доме напряжение – старенький ламповый телевизор...

Собралась я духом, мигом к бичам несведущим слетала и предъявляю огородникам: вот вам причина беспокойств! А в руке у меня две прогоревшие электрические пробки. В соседней половине дома свет уже полгода как отключили за неуплату, пробки теперь им ни к чему. Обесточила, – говорю, – я их динамо-машину. В подполе нарушители энергию вредную держали. Вроде поверили. Как по весне картошку сажать соберутся... тут уж ничего не поделаешь. Может, и весь дом отключать придется. Из-за нарушений правил устройства электроустановок. А жалобы, что ж, пишите. Тогда ночи светлые будут.

Впереди зима... Зимой почти на три месяца Мончегорск во тьму полярную погружается. На эти три месяца контора наша наиглавнейшая становится. И свет, и тепло дает. Здесь главное не зевать! Вовремя деньги из потребителей-должников выколачивать. Кусачками, а где и глоткой луженой право свое доказывать. Так вот, в эту студеную зимнюю пору сподобился кто-то в городе воровать электроэнергию по-крупному. Тысячи киловатт в неизвестном направлении растворяются. Но у меня с Кольского полуострова ничто не ускользнет! Отправляюсь на поиски пропажи. Долго искала и наконец забрела в пустующий барак. Остался он еще с военных времен, заброшенный, одинокий, неуживчивый. Захожу вовнутрь – цветущий сад! На стеллажах в три яруса цветы, лианы, пальмы тропические растопырились, у подножья райского лучок, петрушка, укропчик зеленеют. По периметру лампочки по пятьсот ватт светят. Тут и хозяин всего этого нахального изобилия объявился – житель солнечного Азербайджана. Худой, носатый, улыбчивый. Ну я ему тоже улыбнулась... За пять минут протокол составила и у соседей подписала. Штраф само собой, а проводку незаконную через три дня самолично отключила. Не умеешь – не воруй!

На следующий день муж мой Саша приятеля какого-то в дом пригласил по своим делам. Бизнес, мол, у него намечается экзотический. Ну, бизнес так бизнес. Лишь бы меня после работы не беспокоил. Слышу, дверь в прихожей хлопнула. Затопали, загомонили и голоса какие-то нерусские. Ба! Да никак азербайджанец мой давешний! Я к прихожей поближе подвинулась.

– Абдул, – спрашивает мой недотепа, – что это ты весь товар оптом продаешь? Да и как продаешь – за копейки!

– Ай, Саша-джан, – ответствует азербайджанец, – пропадут цветы, хоть даром отдавай. Вот к тебе в гости зашел, целую охапку с собой прихватил. Бери, не жалко. Дом мой от света

отключили. В вашей горсети такой собак сидит, разула меня, раздела, детей без хлеба оставила. Светланой Семеновной зовут!

– Так это же моя жена!

– Ай, Саша-джан, как ты с таким зверем живешь?!

Ну, я им и показала зверя: и мужу, и гостю! Абдул по лестнице до самых дверей катился. Все ступени цветами усыпал.

Вот и получается, Абдул – себя надул. Государство на хромой кобыле не объедешь... Да и не монстра я никакая, не тигра. Я женщина понимающая. При исполнении. Вот и бабушкин счетчик тому свидетель. Когда ж это было? Лет пять назад, не меньше. Бабулька одна в контору зачастила.

– Платить, – говорит, – за електричество не буду! Счетчик, в комнате моей установленный, безбожно врет!

Ну, собрали мы наконец комиссию компетентную. Я по такому случаю электрика непьющего нашла. Вдвоем и пошли. Дом на две семьи. В окнах света нет. Бабушка на крылечке встречает, вторую половину дома ключом отпирает. Видим коридор темнющий, длиннющий и в конце его счетчик поблескивает. Старушка шаркает к счетчику. Щелкает выключателем. Над прибором вспыхивает тусклая заляпанная лампочка.

– Вот видите! – прошамкала старушка. – В комнатях ничаво не горить. А счетчик бегает!

Я поначалу остолбенела.

– Как не горит? А лампочка у тебя над головой Святым духом зажигается?

Старуха рот раззявила, глаза выпучила.

– Какая такая лампочка? Эта не та! Эта к счетчику для освящения прилагается.

Электрик в покатуху. Если б не узкий коридор да не мой весомый авторитет, на пол бы рухнул. Мне тоже, конечно, весело на окраину города за три километра от автобусной остановки по пустякам переться. Другой бы накричал, а я только штраф за неуплату выписала. Молча. Законно. Потому и не обидно.

Я женщина справедливая. Бывает, конечно, переусердствую, но не по злобе, а по простоте душевной. Директору горсети в рот глядела. Дура. Хоть на голые провода из-за любезного Тараса Васильевича лезть готова была. Старалась, как могла. А Тарас Васильевич цену себе знал. Более двадцати лет начальником проработал. Человек, дающий свет в Мончегорске, – это царь и бог! Таковым Тарас Васильевич без ложной скромности себя и считал. За двадцать лет все видные посты в учреждении

унаследовали его близкие и дальние родственники. Только одна я случайно со стороны в контору затесалась. Поэтому и выполняла все поручения безропотно и сразу. В январе того памятного года вызывает шеф.

– У тебя, Светлана Семеновна, где-то на окраине с подстанции воруют! Разберись и доложи!

Да разбиралась уж, и не раз! Много лет эта подстанция давала свет в частные деревянные дома. Постепенно дома пустели, ветшали, их сносили, а кабели на подстанции отключали один за другим. Остался наконец единственный кабель. Вот и оказалось, что через него кто-то к подстанции незаконно подключился. Уж чего я только не предпринимала, чтобы установить потребителя: к земле ухо прикладывала, кабель нюхала, чуть ли не ложилась на него, кабелину проклятого, своим дебелым телом. Но отросток этот напряженный от подстанции глубоко в снег уходил, в недра Кольского полуострова, и где-то там бесследно исчезал. Так, не солоно нахлебавшись, пред гневными очами Тараса Васильевича предстала.

– Отключить! – взорвался шеф. – Немедленно отключить вора!

– Но, Тарас Васильевич, – пытаюсь робко возразить, – ведь пятница сегодня, да и мороз на улице за тридцать градусов. Давайте дождемся понедельника. И слышать ничего не хочет:

– Отключить сегодня же!

Приказ начальника – закон для подчиненного. Отключила, замок амбарный на дверь подстанции повесила и – домой на выходные... В понедельник прихожу на работу, опомниться не успела, начальник морозной тучей в контору влетает и сразу ко мне:

– Ты потребителя на Некрасовской подстанции отключила?

Я про себя думаю, как хорошо, что я начальника с полуслова понимаю, все его распоряжения в точности выполняю. И с чувством выполненного долга говорю:

– Да, еще в пятницу!

– И что, кто-нибудь объявился?

– Нет пока.

– Так вот, Я ОБЪЯВЛЯЮСЬ!

Грохнула дверь. Ухнуло сердце. Что за напасть такая? Что за невезение?.. Перед работой зашел директор в свой гаражик солений-варений набрать. Выключателем щелк – света нет. В яме спичкой посветил – все запасы погибли. Картошка померзла, банки с огурчиками-помидорчиками полопались. Тэны элект-

рические инеем подернулись. Все сразу понял Тарас Васильевич: и про мое усердие, и про память свою забывчивую, и про всех родственников до кучи, которые не подсказали занятому государственному человеку, что это его кабель был. На собрании сидела я тише воды. Директор старался темы, связанные с работой моего участка, стороной обходить. Юлил-крутил, лавировал так, что и премиальные наши в стороне остались. Но я-то – Бог с ним, а люди в чем виноваты? Встала и про перевыполнение плана по поимке должников отрапортовала. Тут с директором что-то неладное сотворилось: щека задергалась, лицо пятнами пошло, сперва в крик, потом на шепот сорвался:

– Все ты, Светлана Семеновна, лезешь туда, куда тебя не просят! Правдорубка! Раззява! Несусвет какой-то! Ты бы лучше знала, какие провода можно кусачками цапать, а какие за километр обходить!

Это я-то раззява? Это я-то несусвет? Ну спасибо, думаю, начальник, обласкал! Спасибо, что глаза людям открыл! За рвение мое – сполна отблагодарил! Встала я эдак молча и вышла, совсем, с расчетом. Благо на предприятии элитном – «Североникель» называется – вакансия была, давно уж меня туда подружка Люська из отдела кадров звала. Там поспокойнее будет. Да и начальство интеллигентное, образованное, на личности не переходит.

Сейчас, парень, хорошо! Новая работа не в пример старой. Не занюханная контора «Пробки-кусачки», а градообразующее предприятие – комбинат! Его не числом, а умением брать надо! Потребителей энергии у комбината немного, при недоразумении каком за полдня территорию обойти можно. Но главная проблема у администрации не электричество, а несуны. Привозят сюда из Норильска медно-никелевую руду и получают из нее разные цветные металлы – практически всю таблицу Менделеева! Даже золото и платину. А уж людей, падких до золотишка, искать долго не приходится. Так и норовят чего умыкнуть. Вот и не прекращается на комбинате постоянная битва умов: с одной стороны, народ все новые способы воровства придумывает, с другой стороны, администрация комбината изощряется в том, чтобы эти попытки пресечь. В три ряда обнесено предприятие колючей проволокой, между рядами курсирует вооруженная охрана с собаками. Одно время в том месте, где комбинат примыкает к озеру, народ умудрялся сплавлять цветмет под водой, в водолазных костюмах. Сейчас вдоль берега стоят сторожевые катера, а зимой всегда наготове снегоходы.

Вся акватория озера «простреливается». Да что озеро! Все внутреннее пространство «Североникеля» поделено на сектора. Из одного сектора в другой без специального разрешения не проберешься. А чтобы попасть из цеха, например, в столовую, рабочий раздевается догола в специальном помещении-пропускнике, где вся его подноготная, самая распоследняя складочка одежная охранником прощупана. Женщин, кроме того, миноискателем в местах интересных оглаживают. Стой и не пищи! Слава богу, что я ни к золоту, ни к миноискателям касательства не имею. Мое дело известное. Согласно заявкам и по велению сердца энергию на предприятии сберегаю.

Однажды вызывает меня начальник цеха и сообщает, что обнаружен «левый» кабель от цеховой подстанции, видимо, кто-то что-то напутал, не к тому автомату подсоединился. Я – к подстанции: точно, торчит змеюка! Недолго думая, – нос по ветру – вдоль «левака» побежала. Но аккурат перед первой линией эшелонированной комбинатовской обороны кабель под землю, в люк какой-то юркнул. Смотрю по схеме – нет такого люка. Сдвинула крышку, вижу – ступеньки куда-то вниз идут. А мне интересно стало, что это я в своем царстве-государстве электрическом слыхом не слыхивала и ведать не ведала. А внизу – широкий подземный ход, в рост человека. Я не поленилась, до конца туннеля прошла и – оказалась в кустах за территорией комбината. Ба! Дак это ж несуны сооружение подземное вырыли! Пока охрана ворон стреляет, эти умельцы, монтекристы несчастные, для освещения преступного своего деяния – кабель мой приспособили! Как в московском метро, под мерцание лампочек, продукцию с предприятия прут. Разошлась я не на шутку, аж лампочки под потолком выкручивать стала. Вдруг слышу, с другого конца хода – голоса. Я – к стене. Спиной неровность воглую почувствовала и каким-то чудом в выемку эту углубилась. Стою – ни жива, ни мертва. Мужики мимо меня прошли. Серьезные. С матюгами. Я подождала еще маленько и назад почесала. Вот, думаю, счастье твое, Светушка, что свету здесь мало: лампочки сороковки, а не на сто ват в подземелье редко навешаны, да две еще в моем кармане бултыхаются. Иначе не сносить тебе головы. Тут бы под землей и похоронили... На воздухе успокоилась немного, то есть закипела сердцем, на несунов-вредителей обозлилась. Я ведь тоже женщина серьезная! Старой советской закалки! К вохровцам полусонным обращаться не стала. Сразу к Люське побежала. Она любовницей заместителю директора приходится. Подруга всех на ноги поставила. МВД,

ФСБ... Повязали расхитителей. Всю шайку. Ко мне обратились. Мол, очную ставку хотим сделать, чтоб эпизод выноса цветмета через ход подземный к делу присовокупить. Я отказалась. В темноте да со страху кого разглядишь? А матюги они и есть матюги. Похабные! Следователи обиделись. Всю картину происшедшего без моего участия обрисовали. Так и дирекции преподнесли. После назидательного разбирательства подземный ход залили бетоном и закатали асфальтом. Вохровцам за бдительность медали и премии дали. А мне ничего. В смысле, не обидно. Пусть... Не за то я на предприятии родном электричество экономлю, за каждую киловаттную копейку борюсь. Я НЕСУ СВЕТ ЛЮДЯМ! За то и жизни своей не жалею. А что завтра Мончегорску и стране нашей светить будет – вам, молодым, виднее.

ОГУРЕЧНОЕ МОРЕ

Жарко. Для Карелии диво – пошли ранние кабачки, патиссоны, огурцы. Без привычной сырости растут продукты, множатся заготовки. Топчась на шести сотках, завсегда с соседями перемолвишься. То слева, то справа рецептами делятся, успевай поворачиваться.

– Огурцы засолил? А рассол на чем? Что? Укроп да чеснок... Ты, мил человек, так настоящего рассолу не добьешься, только продукцию зазря переведешь. Ты смородинового аль вишневого листа добавь да хрена, хрена побольше! Вот тут и вкус будет. Не-у-дачник!..

В тот год не поехали к морю. На работе – аврал. На дачу выбраться – за счастье, отдохнуть, покупаться. А тут – огуречный сезон. С утра до вечера солнце. Соленые рубахи, ресницы, огурцы. Соленый пот дает свои полосатые результаты. В теплице – лианы! Огурцы по макушке стучат. И что ни экземпляр, то уникум. Один в ведре стоит, не качается. Другой – близнец того огурца, что в «Кавказской пленнице» снимался, с Георгием Вициным. Крепыш, красавец! За три дня по два ведра с теплицы снимаем. Что в Гаграх мандарины. В Карелии хоть моря и нет, но воды хватает! Знай поливай, закручивай огуречные хвостики. А после сбора – в банки. Рассолом душистым зальешь. Крышечкой притомишь... Через недельку – на стол. Хрустнешь крепким пупырчатым огурчиком: соль, влага, солнце! Чем тебе не Черное море?

САНЫЧ

Работал в карауле водитель – Сан Саныч Костылев. Матерый тушила, краснощекий, пузатый. Сядет на свою автолестницу: рессоры – в звень! Живот на «баранку». И едет, куда велено, с матерком. Что-что, а ущербным непечатным языком владел батя, как величала бывалого воина молодежь, в совершенстве...

Как-то по зиме прикатил Сан Саныч на задымленную пятиэтажку. Лестницу выдвинул и юркнул в ближайшую автоцистерну. Тепло. Обзор – что в программе «Время»... Водила на «АЦешке» необстрелянный, опыта никакого. Любое слово Саныча за чистую монету принимает. А у того что ни слово – ругательное. Все не по нему выходит: и пожар-то бездари запустили, и техники нагнали, что на ВДНХ, только коров в упряжке не хватает, и вообще это не боевая работа – а смотр строя и песни... Поносит Костылев начальство, а того не разумеет, что он своей толстой попой на рации угнездился. Тумблер пищит. Никакая команда сквозь сочный эфирный мат не пробивается. Пока догадались, откуда собака лает... Пока руководитель тушения пожара тревожным мегафоном не воспользовался... Узнала оперативная служба о себе всю подноготную, побросала в снег помороженные пожарные рукава и – за руки, за ноги – вытащила матерщинника из теплой кабины.

Есть у Саныча пунктик один досадный: по прибытии в часть – прямиком на кухню рвется. Расстройства пожарные супчиком да чайком заваристым успокоить. Свое подъест и ненароком в чужие кастрюльки заглянет... Один шалопай решил над батиным увлечением поизгаляться. Комнатных цветов в караулке настриг. Майонезом заправил. Сидит в столовой. Ложкой в пестиках и тычинках ковыряется. Через полчасика батя к холодильнику крадется. Глядь. Салатик под майонезом! Почти не тронутый...

– Что это у тебя, Митрич?

– Не видишь, салат. Теща на балконе выращивает, – нехотя процедил пожарный. – Надоел уж...

– Ты что, не хочешь больше?

– Не-а.

– А можно мне попробывать?

– Ешь, Саныч, все равно выбрасывать... Ну как, вкусно?

– Угу... Правда, пресноват.

– Что же ты хочешь – зима. Не только человек, но и растение без витаминов мается. Цвет теряет. Еще хочешь?

– Угу.

– Давай миску. Порадовал ты мою огородницу! Расскажу – не поверит...

Зажиточный мужик Саныч. Не чета некоторым. Помимо квартиры дачу имеет, жену, тещу. А тут еще год юбилейный намечается – Санычу сорок. Подарок надобен... А чем его, бюргера косолапого, удивишь? Одного здоровья – на слона с маленькой тележкой. Задумались мужики крепко... Тут подписку объявили: на «Пожарное дело», «Известия», «Советский спорт».

– А давайте, мужики, мы ему издание какое выпишем! Читать будет, просвещаться, нас вспоминать.

И выписали – журнал «Животноводство» на киргизском языке.

Берет жена Саныча почту, а там журнал с баранами, коровами да еще не по-нашему писаный. Сунула в соседний ящик – обратно вернулся! Она на почту.

– Ошибочка вышла, не выписывали мы эту зоологию!

– Нет никакой ошибки! Это ваш муж – Костылев Александр Александрыч – выписал, о чем корешок имеется!

Костыльчиха мужа со смены дождалась и – вместо сковородки с яишенкой – журнал на обеденный стол положила. Саныч – в отказ, животом урчит, глазами хлопает.

– Не знаю ничего! И языка чучмекского не знаю!! И откуда деньги на годовую подписку взялись – тоже не знаю!!!

А жена все жалит и жалит, про Киргизию выспрашивает, про прелестниц тамошних. Измучился Саныч, схватил шапку и – обратно на мороз, в родную караулку чаем и слезой горючею наливаться... Как прознали шутники про батину кручину, во всем повинились. В сауну при пожарке препроводили. Отошло сердце, веничком, водочкой русской потешилось, обиды на ребят и жену-ревнивицу не затаило.

Намерзся батя в ту лютую зиму, как пес в конуре. Чуть пригорит что: «Автоцистерна – на выезд!». Бывало и раньше – пожар за пожаром – в боксы заехать, хэбэшку переодеть некогда. А после того памятного случая начальство – на «вы»: «В кабине не сидиТЕ, под ноги не лезТЕ!». Одна радость – сауна!.. После дежурства лечился Саныч парком, березовым веничком да водочкой с солью и перцем. Нет, говорит, лекарства лучше этой смеси! Сауна маленькая, темная... Уже поздненько было. Помылись пожарные. Душу отвели. Пробку в бассейне выдернули. А про Са-

ныча – аса-парильщика – за разговором забыли. Прошло время. А где батя? Вдруг слышат грохот страшный, полы бетонные дрожмя дрожат! Стоит Саныч на кафеле пустого бассейна и лоб потирает... Потащили «ихтиандра» в комнату отдыха, в стакан водки соли и перца набухали. Шарнул Саныч водки и – домой засобирался. Нельзя ему в бане задерживаться. Юбилей на носу!

Жена Сан Саныча пьяные компании на дух не переносит.

– Если будешь кого из пожарки приглашать, то отдельно от родственников. И то когда я в ночную буду.

Она в приемном покое, в больнице работает. Ушла супружница на дежурство... Батя – дверь нараспашку, караул у порога встречает. В пиджаке ненадеванном, галстуке сером. Вот тебе и бюргер косолапый! После душевных тостов и ответного спича – все встало на свои места. Именинник порозовел, расчувствовался. То и дело галстуком веки красные промакивает. Мужики переживать начали: водка-то кончается...

– Саныч, неужто тебе сорок стукнуло?

– Сорок...

– А выглядишь ты – на все пятьдесят!

– ???

– Когда мы еще такой теплой компанией соберемся? Никогда! Давай, батя, мы твое пятидесятилетие отметим!

Повод был веский. Нашлась и нужная сумма, оставленная супругой на праздничную закупку...Наутро жена Костылева трясет.

– Саша, где деньги? Пропил!?

– Да! – выдохнул мятежный юбиляр, получив свежим номером «Животноводства» по опухшей мордоплясии.

И то, право, есть за что...

Зима к весне, Саныч к дембелю катится. Дорога – чистый лед. Двигатель чихает, свистит, шипит. Запчасти в техслужбе – на вес золота. От желудочных коликов и хронического недосыпу заморился, заматерился батя. А что делать? В МВД – Министерстве Воды и Дыма – зазря денег не платят.

Ночь. Вызов. Зевает Саныч очередной событийный перекресток и – на крутом повороте вываливается на дорогу. Устал шибко. В борьбе со сном и голодом плечиком могутным на дверцу надавил, а она возьми да и поддайся. Лицо у бати краснее стоп-сигнала, на животе бушлат не застегивается. Но профессиональную подготовку – не пропьешь! Догнал Костылев свой медленно цокающий «ЗИЛок», за холку ухватился и в еще

теплое сиденье плюхнулся. Случайной легковушке сигналит, как ни в чем не бывало!

– Ну ты, Саныч, джигит! Теперь тебе любого жеребца доверить можно, вон как автолестницу обуздал, взбрыкнуть не успела!

– Да что вы, право, – бубнит в караулке смущенный пожарный.

И – в сторону – мать-перемать на судьбу свою горемычную, машину, выслугу пенсионную, замаячившую в милом обидном желанном далеко.

ТАНК

Был у нас в части случай один. Презабавный. Если на него по прошествии лет через списанный дальномер посмотреть. И то с опаской.

В ту раннюю осень ждали мы высокое начальство: генерала, начальника пожарной охраны округа со свитой! Вверили нам отцы-командиры лопаты, кисти, ведра. Стало быть, копать и красить. А кто без инструменту остался, на деревья загнали... листву трясти. Чтоб под ноги их высокоблагородиев не облетала.

Ну, вроде все намарафетили. А изюминки нет. Не хватает последнего обалденного штриха. И тут зампотех про танк пожарный вспомнил. Стоит та громадина в боксе с незапамятных времен. Бойцы к этой страхолюдине подойти боятся. Морда – плугом, как забрало немецкого рыцаря. Гусеницы полы бетонные притомили. Простаивает матчасть без дела, без пользы... Командир – в позу. Как так водителя нет! Чтоб к вечеру танк на плацу был, над всей прочей пожарной техникой выгодно возвышался. Сказано – сделано. Нашли в соседней мотострелковой части комбайнера. Объяснили ему в русских выражениях важность грядущего момента и в люк затолкали. Потянул боец рычаг один, второй, третий... Завелся танк! Зачихал, зафыркал. Да вместо прямого хода – взад подался. Хотел боец рычаги заклинившие на место вернуть, да только пятки поотшибал...

Первой пала кирпичная перегородка. Затем сыграл в «гармошку» новенький командирский «уазик»... Через 500 метров, пропахав бетонные и растительные ограждения, бороздя за собой мостами двух ярких энзешных КрАЗов, танк торкнулся в цветущий ромашковый бугор и затих.

Разбор полетов проводить не стали. Времени не было. За ночь

поставили стены, положили асфальт, отрихтовали «КрАЗы». Всем имеющимся в распоряжении командира дизельным и гужевым транспортом втянули танк на дрожащий бугор. Позвали художника клубного... К утру на броне непобедимой боевой машины сияла гордая лаконичная надпись: «На Берлин!».

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Аккурат под Новый год это было: водозаборники Онежского озера забила шуга. Ни тебе помыться, ни чайник вскипятить... Пустынно. Снежно. Дискомфорт и антисанитария. А тут свадьба у дочери. Загодя готовились, планировали... Эх! За желанными банными хлопотами выкроил-таки вечерок, устроил с приятелем «родительский день». Ну, как водится, одной не хватило... На утро головка бо-бо, заначка тю-тю. Жена теребит. В столовую идти надо, заказ оплачивать. Что делать, пошли.

– Коль, а что у тебя с руками!?

– А чё?

– Сам погляди!

Смотрю – ба! Пальцы у меня синие, как у покойника, ногти чернеть начали!

– Как ты себя чувствуешь, Коля?

– Да хреново... после вчерашнего-то.

– Тебе в больницу надо. Это сердце.

Вызвали «скорую». Измерили давление. Высокое... В больнице консилиум собрали. Поглазели, пошептались и разбежались кто куда. Милосердные наши... Лежу в коридоре на каталочке. Думки невеселые... Тут практикант, настырный такой.

– Дайте, – говорит, – я вам руки ваткой оботру.

Спиртом пахнуло. Полегчало вроде...

– А ведь отходят пальчики-то, отходят!

Скосил я глаз, и точно – капает с ватки на казенные простыни какая-то синеватая жидкость. Ба! – да это же краска! Есть у меня дурная привычка: как выпью, руки под мышки – то ли градус, то ли темперамент регулирую. Рубаха на мне новая была. Китайская. Благородной синькой окрашенная. Да пропотела малость... Врачи в атаку: «Безобразие! Руки мыть надо!» А где мыть-то? Шуга! Природная катаклизма!

– Отпустите, Христа ради!

Да куда там: о выписке и слушать не хотят. Из злорадства, ехидства последнего три дня окончательного анализа ждали. Прошла дочкина свадьба без батьки, без родительского благословения... Вот вам, люди, дела сердечные! Не хватает еще сердца нашей медицине, не хватает...

ПАЦАНКА

Будний день. Баня. Очередь. В очереди молодая мама что-то настойчиво внушает не слышащему ее малышу. Летнее, беспризорное настроение ребятенка подчеркивали старые залатанные брючки с пузырями на коленях, перепачканная ржавчиной футболка и светлые всклокоченные вихры. Кулачки доверительно шевелились в больших и тяжелых карманах, откуда поочередно являлись миру камешки, пульки и прочая дворовая добыча.

Подойдя к окошку кассы, мамочка, оторвавшись наконец от бестолкового разговора, высыпала на блюдечко липкую мелочь.

– Два билета в женское отделение...

Кассирша, оглядев с головы до пят очаровательную парочку, назидательно произнесла:

– Постыдились бы, мамаша, мальчонку в женское отделение тащить. Большенький уже. Пусть в мужское идет, отмокает.

Смущенная женщина попыталась объясниться. Каникулы. Работа. Умаялась каждый вечер это недоразумение веснушчатое в ванночке замачивать. И оно, как ни странно, приходится ей родной дочерью... Очередь заволновалась. И родительницу жалко. И фактов убедительных маловато. Чадо, до сих пор занятое содержимым своих необъятных карманов, услышав про немытые уши и достоинство мужского отделения, громко вытерло рукавом зардевшийся от неожиданной обиды носик.

– А я! А я вот вымоюсь, и – ВЫ увидите, что я не мальчик!

Хмурые женщины, усталой вереницей стоящие у кассы, рассмеялись...

– Ой ты, горюшко мое луковое! – мама с трудом отлепила дочу от трубы кочегарки. – Только в буфет заглянула за соком. А ты? Что, мне тебя опять в баню вести?

– Не-а. Не надо. Там тетки злые... Мам, я больше не буду, – девочка ткнулась счастливым чумазым личиком в материнское плечо.

БОМБА

– Коля, пошли за мороженым! Бабушка на Новый год денежку дала. На двоих.

Катя старше на два года. Важничает, что ей братово воспитание доверять стали. Но верховодит все же в семье Мамайцевых мама. Правда, ее нет дома. И бабушки нет. Вот Катя и раскомандовалась: пойдем туда, пойдем сюда... А Николай в детской с поросенком возится, глиняной копилкой, монеты ножом выковыривает.

– Ну что за свинтус! Ничего из него не сыплется! И Катька хороша, мороженого ей захотелось! Будто ничего другого, более нужного, купить нельзя. В этакую морозяку! Порцию слопаешь – и уши отвалятся... Ну, вот! Последняя.

Распихав мелочь по карманам, Коля выскочил вслед за сестрой.

Заветная витрина в универмаге сияла призывной новогодней иллюминацией. Между китайскими фейерверками, самолетиками, чудными фонтанчиками и шмелями бегали разноцветные огоньки елочной гирлянды. Бабушкина десятка с горкой разнокалиберных потертых монеток легла на кассовую тарелочку, как в чашу весов, уравнявших Колькины накопления с коробочкой настоящих аппетитных бомбочек – с короткими фитильками, с обалденным названием: «Прощай, Школа!» Катя, облизывая липкие от мороженого пальцы, заглянула на внутреннюю сторону диковиной обертки.

– Ой, тут открытка какая-то новогодняя приклеена!

– Сама ты открытка! Рот у тебя никогда не закрывается. Орешь на весь магазин, – пробурчал деловито Колька и добавил: – Это вкладыш, инструкция, как пиротехнику запулять.

– А вот и нетушки! – не унималась Катя. – Читать сперва научись, третьеклашка! Тут про Деда Мороза и Новый год написано, смотри:

Чтобы встреча с Дед Морозом Вам запомнилась надолго, надо громкие хлопушки для салюта прикупить, а для пущего эффекта –

бросить под ноги петарду и китайским фейерверком Деда на пол уложить.

И, пока в дыму Дедуля долго кашляет, чихает и – сползает на резинке

борода ему на лоб, Вы успеете в киоске до зубов вооружиться и сумеете хоть чем-то Дед Мороза поразить...

Фу ты! Страшилка детская, хулиганство... Ты не вздумай, Коля, без мамы петарды эти запускать. Беды не оберешься...

Первая бомбочка взметнула снег у ног зазевавшейся на праздничные витрины Кати. Вторая вылетела из окна детской и разорвалась в опасной близости от подъездных лавочек, облюбованных старушками... Коля отдышался на лестничной площадке, мол, и близко меня в квартире не было, мол, только в подъезд зашел... Глядь, сосед идет. Лешка. Местный изобретатель и шалопай.

– Лешь, скажешь, что я у тебя был, а то родители за бомбочку заругают?

– Какую бомбочку?

– Пойдем, покажу! – не утерпел Коля.

Оглядев яркую китайскую петарду, Леха решительно свернул на кухню. На электроплите стояла большая эмалированная кастрюля с остатками пшеничной каши.

– Надо бомбочку на вакуум испытать, – авторитетно пробасил Леша, опуская «толстушку» под плотно притомленную крышку.

На какое-то время каша, поднятая со дна громыхнувшей посудины, зависла в воздухе – на манер невесомости, как в мультике «Незнайка на Луне», – и снова плюхнулась в задымленную кастрюлю...

– Прикольно!.. Классно!.. А давай еще что-нибудь бабахнем! – не унимался Лешка.

И бабахнул – новенький чешский унитаз.

Попало ребятам крепко. До поздней ночи пиротехники, в обстановке настоящего домашнего террора, подгоняемые мамиными криками и шлепками, осколки керамические из стен выковыривали. Уборки было... На две недели Катю и Николая отлучили от снежного новогоднего двора с горками и коньками. Лешке тоже досталось, но не очень. Через пару дней он явился с мороза: щеки горят, валенки обледенелые, как ледоколы, у Колиного порога бортами жмутся. Вышел Коля, бледный, невеселый

– Теперь, Леха, бабушка от нас спички, как от дошколят, прячет. Поросенка моего в шкаф закрыла. Во как...

– Детям спички – не игрушки, – шмыгнул краснющим растаявшим носом довольный Лешка, – покупайте зажигушки...

КВН

Волна безудержного веселья и искрометной находчивости докатилась-таки и до нашего периферийного городка. В Клубе лесорубов объявление повесили, мол, приглашаем на КВН всех желающих. На ринге две местных знаменитости: команды «Зона радости» и «Запасной выход». Планируется приезд жюри – кавээнщиков прошлых сезонов из Белоруссии и Москвы. В фойе подсвечены аквариумные рыбки. Работает буфет. Колька с Лешкой, забежав за батарейками в ближайший магазин «Всё – до лампочки!», объявлением заинтересовались.

– А чё, – нерешительно сказал Лешка, – говорят, прикольно играют. Пойдем, посмотрим?

– Пойдем, – вздохнул Коля, высыпая из карманов магазинную сдачу.

Купили билеты. Попугали глазеющих на людей рыбок. Зашли в буфет.

– Глянь, твоей мелочи еще и на минералку хватит... Во какая вода, крымская! Разлив города Саки...

– Не... Не буду я эту муть пить. Я лучше тебя в зале подожду.

Состязание проходило с переменным успехом: то «Зона» на юмор навалится, то «Выход» шутку ввернет. Но к середине «Домашнего задания» Лешка с Колькой зевать стали. Не смешно! Анекдоты старые. Действие никудышное. Не торкает, не колбасит... Зрители засыпают. На все происходящее на сцене как на смерть короля Лира реагируют. Тишина... Слышно, как в животе у Лешки вода крымская бурлит.

– Все! – сорвался Леха. – Я так больше не могу. Я фанатеть начинаю!

И давай после каждой бестолковой реплики в ладоши хлопать, улюлюкать, кричалки убойные на ходу придумывать! И Коля туда же. В группу поддержки. Свистит. Фанатика изображает. Люди оглядываться стали. Шикать. Плечами пожимать. А одна тетка спереди как повернется, как глазами зыркнет, дескать, перестаньте ржать, ведь вы же на КВНе! Но ребята ни в

какую. «Даешь «Зону»! – орут. – Эй, запасные, покажите этим тугодумам, где здесь выход!»

В общем, выдворили друзей из клуба через запасные двери – с почетным эскортом клубной охраны и администрации.

– Ничего, – пробасил Лешка, отряхивая слегка помятую куртку, – зато время весело провели! Будет что вспомнить о КВНе...

ВЕРТИХВОСТКА

Уф! Еле дошел. Мороз под тридцать. Да и годы не те, чтоб через весь город на Петушки за водой ключевой ездить. Хорошо, санки помогают, как лошадка хорошая, сами к водопою катят. Народ у колодца толпится, на праздники новогодние впрок запасается. Я в очередь пристроился. Вокруг – красотища! Ели столетние стоят, снегом облепленные, снежная пыль на солнце, как косынка газовая, на ветерке шалом огнями самоцветными вспыхивает. Синичка на сруб колодезный вспорхнула. Клювиком водит, хвостиком крутит. Сыпанул ей семечек из кармана. Клюй, вертихвостка! Покатились, запрыгали по снегу утоптанному юркие желтые шарики. А тут и моя очередь подошла. Я канистру и бутылки по ранжиру расставил, крутанул ворот, ведро в окошко ледяное опустил. Эка надышал, Морозушко, аккурат только ведро и входит!

Тут из ельника, по еле приметной тропке, девица выпорхнула. Смуглоты южной. В фуфайке навырост. В короткой юбчонке и валенках на голую ногу. У меня от того вида мороз по коже. А ей ничего, бедрами загорелыми вертит и мне ведром пластмассовым в бок тыкает. – Дяденька, дай воды зачерпнуть местным без очереди.

– Что? – я шапку заиндевевшую со лба сдвинул. – Это ты-то, местная? С какого двора будешь? Я тут всех знаю. У Сапожниковых угол снимаешь? То-то и видно, полгода как с теплых краев прилетела, а поди ж ты, – местная! Это я, Тойво Мартискайнен, местный, глухарь неперелетный. Птица лесная, оседлая. Потому и уважение к себе еще имею! За то и в Сибирь в 40-м году сослан был. И опять вернулся, чтобы путь трудовой здесь завершить! Финно-угорский мир словом и делом своим поддержать!

Девушка сквозь загар природный бледнеть начала.

– Вы, – шипит, – угры-бугры офигенные, по часу воду набираете! Петушки морозите!

– А ты чё за всех петушковских жителей отвечаешь? Они все свой черед ждут, а не прут внаглую! Что, зябко? Если тепло, девонька, любишь, зимой без порток ходить нечего! Не Гагры!

А девица и впрямь замерзла. Дрожит. С ноги на ногу переминается. Я бутылочки свои многочисленные наполнил, не спеша пробочки закручиваю. Народ сжалился, красавицу вертлявую вперед пропустил. Ну, своя воля. Я норов глухариный неуступчивый показал, пущай сами разбираются... Вдруг спину мою холодом диким окатило. «Ах ты... твою налево!!!» Эта краля воспользовалась моим стариковским полусогнутым положением и ведро полнехонькое под полушубок оттопыренный ухнула! Пока я на наледи коварной егозил, девицы и след простыл. Только заверть снежная тропки неприметные порошила. Народ негодует. Девка-разбойница ведро общественное в колодец ухнула. А мне не до того. Мне хозяйство промокшее спасать надо... Иду – голове жарко, ногам холодно. Штаны, как два церковных колокола, друг о друга и санки тяжеленные погромыхивают. Я их потом в угол к батарее поставил оттаивать.

Так с неделю и простояли, пока я бронхи застуженные лечил. Ну, думаю, сам виноват, старый дурак! Почто распетушился, почто мир финно-угорский приплел? Он как грудь остудил... А вертихвостка смазливая, поди, рада радешенька. Отвадила старика по воду ходить. Да мне с ней за самоваром не сиживать! Отлежусь маленько и пойду к колодцу. А если и поскользнусь на чем – не беда. На свою землю шмякнуться – всегда в радость! Пойду... Вот только семечек в карманы насыплю – синичек побаловать.

Белеет парус одинокий

Врачи и учителя – не рвачи какие-нибудь. На копейках, на слезах народных капитала не делают. Им, наоборот, народ сохранить надо. Здоровье и разум ребятишек укрепить. По велению сердца, гражданского или материнского долга, обществу служат. На нищенскую зарплату – какая надежда?.. Тут природный оптимизм – главное подспорье.

Вот в школе нашей – Галина. Учитель физики. Маленькая, худенькая, юркая женщина бальзаковского возраста. Простая, как три копейки. Проблем кругом – море. А она ничего, не унывает.

Ученики за Галиной Николаевной табунками ходят. Жизнелюбием заряжаются. Каждого урока ждут. Когда последние шалуны в класс пожалуют, физичка начнет закон Бойля-Мариотта, как процесс приготовления яичницы с колбасой, объяснять. Вкусно. Наглядно. Шкварчит юмор на переменках веселыми шипучими пузырьками... А за школьным забором – северный серый городок по самые верхние окна пятиэтажек треух низких непроницаемых туч нахлобучил. Морось. Слякоть. Напасть за напастью. Дом – хрущоба тонкостенная, холодная. Магазины – дорогущие. Потребительская преподавательская корзина все больше на авоську свекрови-пенсионерки походит. А тут неприятность очередная – зубы выпали. Сначала один, потом другой. Через неделю, как на мужнином «Москвиче», весь мост отвалился. Торчит посредине открытой улыбки зуб. Один-одинешенек. Надо бы подправить, мост-то. А деньги с получки все на другое уходят. На квартплату. На родных детей и внуков. На запчасти для автомобиля. На путевку свекрови в заводской профилакторий. Ничего, думает Галя, успею, выкручусь! Приходит как-то в школу веселая, бесшабашная и – к зеркалу прихорашиваться. В учительской тишина наступила звенящая. В последнее время она не то что к зеркалу, к людям подходить стеснялась. Уроки вела – будто через рот зашитый с учениками говорила. Ан снова, как ни в чем не бывало, марафет наводит, улыбается, мотивчик какой-то романсовый мурлычет. Прическу поправила, губки подмазала, реснички реденькие два раза в объеме увеличила – и ну зуб свой ненаглядный платочком надраивать:

– Белеет парус одинокий в тумане моря голубом...

Все со смеху попадали. Настоящий Галка человек! Свой...

Про то, что Галочку инсульт разбил, нам завуч сообщила. Вы, как подруги, говорит, сходите, навестите. А я не могу. У нее левая сторона лица неживая. Я на нее такую серьезную смотреть боюсь. Вдруг с характером своим смешливым не совладаю... А мы? Железные, что ли? Но делать нечего, пошли вдвоем с учительницей младших классов. По дороге в ларьке бананов купили. И, грех-то какой, как только Галкино лицо представим, от смеха давимся. В магазине, в троллейбусе рты зажимали. У подъезда Николаевны чуть в снег не попадали. У дверей квартиры, собрав силу воли в кулачки, на звонок нажали и – так прыснули, что хоть с лестницы вниз скатывайся. Но стоим, в пол смотрим. Галина двери открыла: у нее тапки разноцветные – один синий, другой розовый, причем разного размера. Ну что

за мучения! Уж лучше б в потолок глядеть уговорились, чем на тапки безразмерные пялиться. Дружно поднимаем глаза: левая половина Галиного лица гладенькая, оплывшая, а вторая – хохочет, старается слово приветное высвистеть:

– Ню, заидите, деушки...

Тут мы все трое в поясе сломались, расхохотались, вместе потом бананы рассыпанные на площадке собирали. Какой же все-таки человек Галка, неунывающий!

Слава Богу, оправилась от болезни Галина Николаевна. В школу пошла. Соскучились по неунывающей физичке школьные охламоны и родной педагогический коллектив. Да и то правда, что ей дома одной-одинешеньке делать? Дети только по праздникам мать вспоминают али когда деньги закончатся. Мужа схоронила. После Нового года свекровь преставилась. Прошли похороны, а там и юбилей Галинин пятидесятилетний нарисовался. И пошло, и поехало. Весь год у родственников и знакомых: похороны, юбилеи – один за другим.

А тут еще – поделилась как-то Николаевна – в один день: утром похороны, вечером свадьба. На роспись в загс, совпавшую со временем выноса, не попала, так хоть на банкет успеет! Галя пригласительные по карманам распихала, венок под мышку и – в траурный зал. Потом – кладбище и поминки. В столовой столы буквой «П» выстроены – памятные, печальные. Сидит Галя, как положено, поминает покойного. Время – три часа дня. Пора на свадьбу собираться. Взглянула Николаевна на пригласительный. Ну и ну! Торжество-то свадебное по этому же адресу, только двумя часами позже. Вот же раззява, осерчала на себя Галина, надо было подарок для молодых с собой прихватить! На маршрутку не тратиться. Кручиной своей с бабушкой, соседкой по столу, поделилась. Та, как на приглашение взглянула, едва смешинкой, винегретом заправленной, не поперхнулась. Тут и Галя прыснула. До слез. До судорог пирожок поминальный протезами закусила. Успокоилась кое-как. А соседка – ни в какую. О своем, о наболевшем рассказывает. Я ведь тоже, говорит, в залу траурную полутемную загодя пришла. Вижу, покойничек уже лежит, обряженный, красивый. Я ему цветочки в ноги положила, на скамеечке рядом притулилась. Сижу, горюю. Когда глаза к темноте привыкли, я оглядываться начала. Кругом люди незнакомые плачут. Да и покойный на себя не похож: потолстел вроде и в росте вытянулся, чуть ли не на полметра. Я, как на грех, очки дома забыла. Решила на воздух выйти, кого знакомо-

го встретить. Расспросить, какая такая болезнь с усопшим приключилось. На глаза свои подслеповатые посетовать. Вышла – никого. Только через полчаса одного знакомца разглядела, потом и другие родственники подходить стали. Оказывается я, старая дура, время выноса перепутала. Целый час хорошего, да чужого человека оплакивала!.. До конца поминального обеда хохотушки друг на друга взглянуть боялись. Чтоб со стульев под стол не съехать. Тут кстати поминки к концу подошли. Пришлось-таки Галине за подарком домой ехать, не торт же вафельный в киоске молодоженам покупать...

Приезжает хлопотунья обратно в ту же столовую, заходит в зал: столы нарядные в букву «Т» преобразовались, на люстры шарики разноцветные повязаны! Торжество, стало быть, ободрилась Галя! Жить будем! Еще не раз ногой топнем, еще погуляем на льющемся сладким вином под крики «Горько!» песенном, танцевальном, быстром празднике Жизни!

ВСТРЕЧА

– Уф! Еле догнал! – повернулся ко мне лицом маленький запыхавшийся человечек.

Отдышался. Кепку, на глаза нахлобученную, скинул. Уф! С трудом – в мелких чертах лица, в щелках бесцветных улыбчивых глаз – угадал бывшего соседа по пятиэтажному «муравейнику». Отца-»героина». Шутка ли – десять ребятишек на ноги поставил. Образование дал. Ютилась семья мужичка в четырехкомнатной квартире длиннющего восьмиподъездного дома, в котором и мне когда-то посчастливилось обитать. Где только он не работал. И на заводе. И дворником. А в 70-х подъезды нашей пятиэтажки со всем семейством убирал. Сколько воды утекло... На дворе 2007-й.

– Ты, – говорит, – в 84-й живешь? Вот, держи!

Мужичок вытащил из большой хозяйственной сумки бронзовый, тяжелый, вычурно выбитый квартирный номер.

– Дверь в новом микрорайоне меняли на железную. Я пособил, чем мог. А номер скрутил... Не на помойку же выносить. Вот, пригодился...

Сунул мне в руку железку и ринулся в толпу.

Чудно! Я уже 15 лет не живу на родной улице. Уж забывать на-

чал, сколько квартир было в родительском доме. Сто. А может, и больше. 84-я... Странный, неожиданный и дорогой сердцу подарок. Я даже не успел поблагодарить маленького юркого человека. Спасибо... Спасибо тебе, друг, за все. За заботу, за воспоминания. Будто выплыл из легкой радужной дымки наш дом. И все мы вместе. Отец. Мама. Соседи, дружно высыпавшие из квартир на празднование Нового года и строительство футбольной площадки... Большое детство большого двора... Чего не вернуть, никогда не вернуть... Какая сладкая и горькая штука – память...

НА ВСЯКИЙ ПОЖАРНЫЙ...

четырнадцать историй

Без малого двадцать лет я пожарной охране отдал. За время учебы и работы повидал всякого: огонь и воду, рейды, учения, происшествия, за коими человеческие судьбы стоят. Выяснение причин происшедших пожаров не останавливалось на банальном замыкании проводки или непотушенной сигарете. Способность пропускать через сердце человеческие беды и радости вылилась в написание небольших миниатюр-«ладанок» – коротких житейских рассказов, подсказанных собственным жизненным опытом и историями родных, знакомых, друзей-пожарных. В профессии огненной от печального до смешного – один шаг. А бывало, что – сквозь задымленный проем или невидимый прогар – этот шаг ведет в неизвестность... И вот, чтобы негрустные пожарные истории не канули в неизвестность, я хочу ими с вами поделиться...

История первая – ЦЕЛОМУДРИЕ

Первопричина всех бед человеческих... Ну, может, и не всех, а некоторых... Но что касаемо пожара, точно – сигарета! Правда, кто по привычке проклятущей хабариками тюфяки и полы загаженные бомбардирует, того не разумеет, не осознает. Некому несознательным горожанам мозги пропитые вправить. А надо...

Вот и на этот раз – загорание постельных принадлежностей (так канцелярски прозвучит это в отчетах) в деревянном городском районе. Дебош. Нужен пожарный инспектор. Нужен так нужен. Еду... Ночь. Только одно окно и светится, чрезвычайной ситуацией разбуженное. Захожу. Посередине комнаты, в луже, в мокрых семейных трусах, сидит мужичок, голову хмельную меж худых голых коленок огромными ручищами баюкает. На балконе пожарные обгоревшие диванные спинки и вату на клумбы вытряхивают. И милиция здесь. Аж два сержанта. В соседнюю комнату дверь подпирают. А дверь ходуном ходит, и гражданка за ней кричит, надрывается. Прошу их отойти в сторону для уточнения обстоятельств и происхождения нежелательного шума.

В комнату вваливается растрепанная, явно нетрезвая, полуодетая особа с дымящейся сигаретой в зубах. Вот так «напилася я пьяна»! Прическа – взрыв на макаронной фабрике, тушь размазана, «все в слезах и губной помаде...» лицо. Орет, себя не помня, на стражей правопорядка грудью напирает. Ладно бы только комбинацией прокуренной перед людом служивым сверкала, так ведь работать мешает, всю окружающую обстакановку на пол рушит, объяснения оперативные путает. И сержанты хороши, стоят – глаза долу. С ноги на ногу переминаются. Само целомудрие. А дама совсем распоясалась, шапку мою с журнального столика на пол смахнула.

– Вы, – говорю, – женщина, если хулиганить не прекратите, то того – в другом месте ночь проведете! – и красноречиво киваю в сторону смущенных милиционеров.

Дамочка от такого неожиданного предложения встала на фоне черного окна как статуя Свободы. Левой, свободной от чадящей сигареты рукой за собранную штору уцепилась. На секунду качаться перестала. Простившись со скрипучим карнизом, бордовая штора рухнула на пышущую гневом грудь.

– Как, – после минутного замешательства выдохнула из себя возмущенная мадама, – как вы можете мне ТАКОЕ предлагать!?

Сержанты, не выдержав долгого уничтожающего взгляда одетой

в тогу местной патриции, отступили вглубь полутемного коридора.

Так до конца нехитрого разбирательства по делу «неосторожного обращения с огнем при курении в постели» она и простояла, молча втягивая в себя сигаретный дым, властно возложив тяжелую руку на мужнино плечо.

История вторая – ПЕРВОЕ ДЕЛО ХОЛМСА

Моя инспекторская карьера в Пожарной охране Карелии началась с самостоятельного дознания по пожару в поселке Вилга. У одного беззаботного посельчанина баня сгорела. Дело для Карелии обыкновенное. Хозяин без претензий. О причине загорания сказал одно:

– Печка полыхнула...

Я объяснения получил, протокол осмотра места пожара составил и к начальнику Прионежской инспекции прибыл. Майор Пахомычев схемы и протоколы мои посмотрел и вернул со словами:

– Не там, лейтенант, ищешь... По расположению очага пожара – это не печка.

Поехал я опять в Вилгу банного погорельца допрашивать.

– Прохудилась, перетопилась, воспламенилась, – взмолился третий день безнадежно пытающийся протрезветь мужчина. – Да в гробу я хотел видеть эту баню! Захочу и сараи спалю! Все мое!

Еле-еле удалось мужика на кухне початым алкоголем успокоить. Согласился хозяин и с тем, что банька его стоит на отшибе. У леса. Мало ли кто в нее заглянуть мог, спичку бросить...

Я, довольный, бумаги, во второй раз от руки переписанные, на стол начальника положил. Пахомычев только мельком на мое заключение взглянул и выдохнул:

– Не то... Не там ты, лейтенант, причину ищешь. Поехали обратно к твоему частному собственнику...

При виде нашего «уазика» хозяин бани едва огородами в лес не ушел. Да, видать, вчера здорово перебрал. До сараев доковылял и, прислонившись к дощатой стене, на землю съехал... Майор Пахомычев, осмотрев банное пепелище, заинтересовался болтающимся на столбе проводом.

– А это что такое? – и рукой за провод ухватился.

Тут его трясти начало. Лицо покраснело. Фуражка дыбом встала. Глаза вот-вот из орбит вылезут!.. Я, недолго думая,

схватил первую попавшуюся доску и по проводу шарахнул.

Потом мы с хозяином майора водой отпаивали, в чувство приводили.

– Теперь ты-ты-ты понял, в чем причина по-по-пожара? – слегка заикаясь, повернулся ко мне Пахомычев, тряхнув слегка взъерошенной током прической. – Пиши протокол за-за-заново, Шерлок Хо-хо-холмс...

Переписал, куда денешься, и объяснения с перепуганного мужика взял, и все положенные документы за нарушение правил пожарной безопасности составил. Все от руки, скрупулезно, печатная машинка в те годы была на вес золота. При расследовании пожара мелочей не бывает. Показания очевидцев – половина дела. Очаг загорания, конус пожара, следы побежалости на металле, глубина переугливания древесины, алюминиевые катыши на проводке – от глаз инспектора не ускользнут. На пожаре надо быть дотошным. Как вам знакомый уже майор Пахомычев.

История третья – БЕЛАЯ ГОРЯЧКА

Минуя последний рубеж дворовой обороны – галдящих у зольных заснеженных клумб пенсионеров, вхожу в черный затопленный подъезд. Виновник пожара, хозяин полупустой, заваленной бутылками квартиры, в тупой пьяной растерянности смотрит на извлеченные из толстого инспекторского портфеля документы.

– Я чё... Я ничё... Черти, черти попутали! Вон их сколько: прячутся, по шкафам шастают. Выволок их на пол с одеждой вместе и сжег! Гори они синим пламенем!

– Да вы весь дом спалите, пить надо меньше!

– Да я... Эх! – и за грудки меня хватает.

Не ожидая такого поворота событий, охлаждаю «совсем белую, совсем горячую» голову увесистым томом кодексов и наставлений. Брякнувшись затылком о гулкий посудный шкафчик, бузотер блаженно растянулся во всю тесную хрущевскую кухоньку. Я – во двор. Сигнал бедствия, ворвавшийся в сонный эфир тихого провинциального городка, был принят в ближайшем отделении милиции.

Через час с мелочью пришел юный простуженный участковый. Возмутителя спокойствия дома не оказалось.

– В окно ушел, гад, – оценил обстановку невозмутимый участковый.

– Как ушел!? Второй этаж. Может, – не унимался я, – собачку по следу пустим?

– Не пори горячку, собачку так собачку, – скаламбурил вконец охрипший лейтенант. Телефон отыскался в соседней квартире.

– Со следами не получится, – вернулся наконец участковый. – Собака на изнасиловании. До вечера не управятся... Ну ничего, мы его здесь подождем. В одной рубашке по морозцу много не попрыгаешь. Садись, служивый, – и он заботливо пододвинул ко мне второй уцелевший в чудной житейской круговерти табурет.

История четвертая – ПАРТИЗАНЩИНА

— Бахарь! Тут тебя пожарник спрашивает...

Я уже полчаса искал очевидцев происшествия, омрачившего для кого-то праздничный, для кого-то дежурный день. В узкое, рычащее голосом Маши Распутиной окошко протиснулся молодой кудрявый мужик в красной футболке.

– Чего надо?

– Я по пожару. Инспектор.

Прошлепав во двор, хозяин возмутился:

– Капитан, сколько можно! Приезжали уже, допрашивали... День Победы, чай! Перед гостями неудобно.

– Гражданин Бахарев, у вас машина сгорела?

– Тю, «Москвич» – ведро с болтами. Не парься, капитан, пойдем лучше выпьем.

– Да что вы его слушаете, – встряла в разговор востроглазая соседка, – сам он свою колымагу сжег, бензином облил и цигарку бросил! Да еще и перед друзьями хвастался: вот я какой – герой!

– Это так, Бахарев?

– Ну сжег, – пробасил насупленный «партизан», – моя машина, хочу запалю, хочу заведу новую.

– Та-а-а-к... – решаю я сгустить краски, – а как же работа пожарных, бензин, пробег, расход тушащих средств? Хочу, не хочу, а отвечать придется!

– Ну, ты, капитан, не серчай. Погорячился я. Понимаешь, третий раз за месяц шпана машину коверкает! То приемник, то колеса снимут. Вот я и решил, чтоб не мучилась... Ты извини,

коли что не так. Сколько надо за вызов – заплачу! Бахарь слов на ветер не бросает!

– Да ладно, – хмурюсь я. – Идите к гостям, Бахарев и – железо это паленое со двора уберите. Не место ему здесь.

– Будет сделано, товарищ капитан! За Бахарем не заржавеет!

История пятая – ДЫМЫ И ПРОГАРЫ

Непотушенная сигарета... Сколько смертей по этой причине я видел за свою жизнь, искореженных пламенем тел, прикорнувших, будто заснувших в задымленных кроватках детей... Как быстро сгорает деревянный дом! На моих глазах на Перевалке – старом деревянном районе Петрозаводска – вспыхнуло добротное брусчатое строение с мансардой. Ветер разносил осиные искры на соседние крыши, гудел в жаркие окна, как в поддувало печи. Лопался шифер. Треск. Вой. Всполохи жаркого пламени бились в шаманском своем танце, завораживая, все быстрее и быстрее... Заскрипел и рухнул в вязкую осеннюю темноту электрический столб. Пожарные подхватили на руки испуганных детей, поддержали причитающую, бьющуюся в истерике мать. Что нажила, что вынесла из горящего дома безутешная женщина? Две аудиокассеты, лежащие сверху на кухонном столе...

Несколько раз и моя жизнь висела на волоске. Когда не успевала подмога, а наша инспекторская «Нива» уже стояла у горящего ангара или скопления хозяйственных построек, по заданию руководителя тушения пожара я отсекал мощной струей воды из пожарного ствола наползающий на соседние строения огонь. А то и просто – делал шаг в неизвестность...

Приехал я как-то по вызову на загорание одноэтажного частного дома по улице Мира в деревянном секторе Сулажгоры. Сбив пламя внутри бревенчатой халупы, пожарные проливали крышу. Владелец дома как сквозь землю провалился. По словам соседей, был дома и мирно пил водку уже третий день после получки. Ночь темна. Только фары пожарных машин кое-как освещают черную обугленную обстановку комнат. Мокрая плащ-палатка, подмоченные протоколы не укротили мою решимость осмотреть место пожара по горячим следам. Попросив ближайшего огнеборца осветить мой героический путь пожарным фонарем, я шаг-

нул в черный, залитый сверху и снизу водяными струями коридор и... провалился в прогар отверстого подполья. Вынырнув из вонючей, подернутой сажей жижи, я в полумраке нос к носу столкнулся с телом угоревшего мужчины, появившимся в круге света, как корабль-призрак. Оказалось, хозяин дома, спасаясь от огня, в подполье заполз. Да, видать, дымом надышался. А до этого пьянствовал беспробудно. Никто ему руки не протянул.

Дым на пожаре – страшнее огня. А страшнее дыма – паника. Это я как «Отче наш» на инструктажах и беседах разъясняю. На своем примере. И все после того памятного пожара в пятиэтажном здании учебно-производственного комбината, где в подвальном помещении сауна полыхнула...

Подъехал я тогда к месту вызова. На вывеске три веселых толстяка ляжками дрыгают. А у меня сердце не на месте. Выходной день. Вахтер ничего толком объяснить не может. В сауну и кафе «Три толстяка» у него доступа нет, уж года два начальство помещения в аренду сдает. Подъехал штаб пожаротушения. Оперативный дежурный полковник Евстратиков предупредил меня – в подвал не лезь, сауна, она того, обратной тягой славится. После такого «парку» шкуру на гвоздик в реанимации повесить можно... Иди, говорит, лучше на первом этаже форточки открой, а то там дымка какая-то подозрительная плавает. Кабы учебные пособия дымом не провоняли.

Пошел я комнаты проветривать. Один кабинет осмотрел, второй... В этот момент сауна и грохнула. Комнаты и коридоры через щели всевозможные дымом заволокло. Горло перехватило, глаза защипало. Я перво-наперво на пол бухнулся и в кромешном дыму стал Бога, маму и дорогу обратную вспоминать. Чего ради на первый этаж поперся? Форточки открывать? Так ведь людей же в здании нет. Да до них сейчас и не докричишься. Надо, думаю, до выхода ползти, сколько дыхания хватит. До исподнего под формой капитанской взмок, пока кабинеты и коридоры по-пластунски преодолевал, кислород через рукав задымленный выцеживал... Вот дурень! Инспектор с бумажками разбираться должен, а не в дымовуху без аппарата дыхательного заныривать! А воздуха у пола все меньше становится. Вдруг слышу – голоса впереди. Али ангелы поют? Да нет, голоса!.. Вывалился я из дверей на пост охраны аккурат в то время, когда полковник Евстратиков о моей судьбе у вахтера выспрашивал. Воистину, как благостно воздух осенний, свежий горло обжигает! После таких живительных глотков совсем по-другому на жизнь смотришь, каждым днем, Богом данным, дорожишь...

История шестая – ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ

Взрыв на окраине города, в гаражном кооперативе. Надо же в мое дежурство... Я на машину (благо в дежурке пожар сдавал) и вместе с автоцистерной через десять минут был на месте происшествия...

Последствия взрыва налицо. Последний бокс – в хлам. Блочное перекрытие лопнуло и держится на одной створке искореженных ворот. Наружную стену вынесло напрочь. Внутренняя кирпичная перегородка – в разобранном состоянии – на соседском «жигуленке», как на мятых носилках покоится. Перед смотровой ямой в полутемном боксе стоит копченый очумевший мужичок. Вот уж действительно, виновное лицо – и взрыва, и его последствий. Только белки глаз из-под подпаленной шапейки катофотами сверкают. В руках конец обгоревшей веревки дымится... Растолкал я беднягу:

– Иди отсюда! Щас ворота дергать будем, перекрытия рушить. Чё ты здесь торчишь, как гвоздь в пятке!

Бедняга дернулся, будто от глубокого сна очнулся, и за мной на белый свет вышел...

– Братцы! – объяснился после незадачливый мужичок. – Виноват... Бензин у меня в яме – полбочки... На черный день... А я картошку там же в коробе держу. Всю зиму едим. Своя. Деревенская. Малость погреть хотел, мерзнет картошка... Паяльную лампу в ведро втиснул, веревкой перетянул и опускаю потихоньку. Куда? В яму и опускаю. Да, где и бочка стояла. Для сугрева. Да не бочки, картохи, конечно! А тут как жахнет! Глаза открываю... Мать моя женщина! Все черным-черно! Будто смерчем огненным полки мои с заготовками и инструментом со стен смахнуло! Да видно, в рубашке родился. Волна смертная рядом прошла... Стену за спиной капитальную завалило. А мне ничего...

– Да брось, – говорю, – отец, ты эту веревку! Что ее за собой, как хвост, волочишь.

– И то правда, держу, а рук не чую... Черные-то какие!

История седьмая – РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ

В очередной милицейский рейд поставили меня на пост ГАИ в пригороде Петрозаводска вместе с милиционерами машины досматривать, пожарный надзор на дороге осуществлять. Огнетушители, аптечки проверять. Вручать памятки.

Завыли сирены. Пожарка спешит куда-то. Две АЦешки пролетело. А «буханка» оперативного штаба тормознула. Выскакивает из нее оперативный дежурный Василий Михальченко и сразу ко мне:

– Ты что тут на дороге прохлаждаешься? В Вилге телятник горит! Поехали живо!

ГАИшники добро дали – со стихией не поспоришь... На пожаре поставили меня со стволом на защиту тыльной стороны телятника. Жарко. Ветер в мою сторону дует. Пламенные языки из щелей, из-под дощатой кровли вылезти норовят. А я их напором!..

Отстояли строение. Телят вывели. А в моем исповедальном дневнике новая ладанка записалась. И таких записей скопилось у меня немало. Я их щедро в инструктажах и беседах с населением использую. Даже специальный лекционный альбом оформил, все собранное по файлам разложил, фотографиями с пожаров дополнил. Надо про сауны рассказать, жилье или коровники – пожалуйста! Нарушения правил пожарной безопасности – на любой вкус! Причины пожаров – в ассортименте!

На одном из выступлений в педагогическом училище моей ценной папкой студент заинтересовался. Дипломная работа у него как раз по этой теме: «Безопасность личности в современном мире». Попросил он мои материалы на три дня, полистать, кое-что переписать и ксерокопировать... На второй день во время дежурства по пожарам вызывают меня на загорание комнаты в студенческом общежитии на улице Повенецкой. Приезжаю. В комнате на четвертом этаже замкнул телевизор. Все яснее ясного. Приглашаю очевидцев в кабинет коменданта. И заходит главный потерпевший – мой знакомый студент.

– Что ж ты, братец, диссертации по ОБЖ пишешь, а сам телевизор без присмотра оставляешь? Э-хе-хе... Ну, с причиной тут все ясно. А какой, мил человек, ты этой безответственностью себе и государству материальный ущерб причинил? А?

Парень сидит, очи потупил. Наконец взглянул на меня виновато.

– Мне, товарищ инспектор, телевизора старого не жалко. И

ремонт в комнате своими силами сделаю. Не вопрос. Мне перед вами оправдаться нечем...

– В чем, собственно, дело?

– Да на телевизоре, – отвечает будущий ученый-обществовед, – ваша папка с лекциями лежала...

Вот так в одночасье я записей и бесед своих сокровенных лишился... Но на то человеку и память дана, чтобы по крупицам пережитое восстанавливать. Да и байки пожарные мои давно уже свое место в домашнем компьютере нашли, не одну годовую папку образовали. Эти истории невыдуманные, которыми я с вами – на всякий пожарный – решил поделиться, известную истину подтверждают. Не горят рукописи, если в души да дела человеческие слово верное проникает...

История восьмая – УЛИЦА КОММУНИСТОВ

Есть у пожарных обязанности. Не только по тушению пожаров, тренировкам и зачетам, но и по очистке пожарных гидрантов. Без них по зиме – хана. Без постановки на водоисточник воды в автоцистерне при полной нагрузке – на десять минут. В свободное от работы вечернее время ходят пожарные по дворам и дорогам. Крышки колодцев – обледенелые, забитые снегом, закатанные колесами – обколачивают.

Однажды мы с начальником отделения, по гражданке, сели на дежурную «Ниву» и поехали на проверку гидрантов по улице Коммунистов. Подошли к первой крышке. От снега очистили. Стали поднимать. Тяжеленная! Поди, до войны отлитая. Тогда на крышки чугуна не жалели. Кое-как ломиком крышку люка приподняли и, поднатужившись, вдвоем перевернули. Тут бабка – откуда ни возьмись. С сумками полными еле тащится. Увидев нас, ношу свою на снег опустила и давай верещать:

– Караул, люди! Помогите! Крышки прут!

И орет, и орет! Хорошо хоть улица воскресная, пустая, темная – никто на нее внимания не обращает. А то ведь волну поднимут – не отмоешься...

Тут на днях на дорогах Петрозаводска крышки сливных колодцев пропадать стали. Их потом в одной из скупок ценного металла нашли. А наш пожарный пропагандист учудил. Выступая по местному телеканалу, рассказал, что лошадь из местно-

го конного клуба в такой вот открытый колодец провалилась «как огурец в банку». Этот его номер даже в тележурнале «Фитиль» показывали. С большим успехом. После чего и ему, и нам по шапке дали. Мол, развели тут цирк с конями! Сами за колодцами не следите – на воров пеняете. Теперь в две смены на очистке гидрантов работаем... Да еще эта бабуся! После того как мы крышку аккуратно на место положили, успокоилась вроде. Но когда мы с ломиками на плечах к следующему колодцу пришли и крышку отбивать стали, еще громче заверещала:

– Караул, грабят! Крышки воруют! А люди ноги ломают, в люки падают! Милиция!

Так до конца улицы с нами и шла, сирена ходячая!

А хорошо бы, действительно, милиции да пропагандисту нашему вот так вот ломиком помахать. По темноте. В свой выходной. В сопровождении бдительной и неугомонной бабуси. Живет же такая на улице Коммунистов!.. Дай ей бог здоровья.

История девятая – КАНАТОХОДЕЦ

МЧС! МЧС! За что только не берутся спасатели. То лось по льду через Онежское озеро махнет, а после, шприцами простреленный, от мчеэсовцев смешно улепетывает. То птица в проводах запутается. Лестницу подавай! Еще и телевидение вызовут...

А тут в центре Петрозаводска мужик на рекламной растяжке повис. Интересный кадр. Все на гармошке играл. На балконе. В чем мать родила. Мало ему балкона – на проводах повис. Свой след на земле, то бишь на асфальте, пущай и мокрый, оставить захотел, потому и в небе закачался. Канатоходец! Двух метров до проводов высокого напряжения не дополз. Спасатели сняли. Город вмиг загудел: есть, оказывается, рядом, рукой потрогать можно, такой человек – Вася Бузыкин! На провода полез... голыми ногами. А до этого десять раз у себя в квартире пожар устраивал. Жизнью рисковал! За что и в «желтый» дом не раз под белы рученьки сопровожден был. Славой себя покрыл неувядаемой. Человечище какой оказался!.. Не все МЧС лавры пожинать.

История десятая – МИНА

В год 20-летия МЧС проходила на нашей карельской земле, вернее, воде – Регата Безопасности. Региональное мчеэсовское начальство меня на остров Валаам отрядило, пожарную безопасность проверить, о путях-дорогах, экскурсионных и пропагандистских мероприятиях на месте обеспокоиться. На острове – все честь по чести. Июнь. За низкими каменными стенами в старом саду цветут яблони и сирени. Над цветущими кронами – величавые звонницы и купола. Сонная, пахучая островная тишина... И тут мы с регатой! Растормошили батюшек. Раздали позывные. Обозначили экскурсионные православные объекты. Опробовали дороги. Загнали рычащей армейской техникой в непролазные чащи непуганых валаамских лосей. С монастырской гостиницей и трапезной договорились. А для большего спокойствия решили еще раз судоходный фарватер проверить. Дабы суда участников соревнований за что-нибудь не зацепились... И тут, как на грех, после ухода талых вод, неподалеку от острова всплыли две ржавые якорные мины. Бывало такое и раньше. Чай, по всей Ладоге война Великая прокатилась. Местные жители спасателям сортавальским сообщат – и порядок: в тот же день группа разминирования к месту находки прибывает. Если ничего важного поблизости не обнаружится – бабахнут, и дело с концом... Но, принимая во внимание важность текущего момента, отец-настоятель решил взять обезвреживание мин под свой контроль. Доложил патриарху. Тот по-отечески министра МЧС попросил разобраться. И, как водится, передавая распоряжение по инстанции, «мину» ладожскую нашему республиканскому Управлению подложили – прислали в помощь карельским спасателям московских и питерских специалистов... Долетели столичные спасатели вертолетом до Сортавалы. А там, соединившись с нашими силами, на груженом, звенящем провиантом теплоходе двинулись на Валаам. В пути все перезнакомились, выпили и закусили. Москвичи больше всех свой восторг по поводу нашего гостеприимства выражали. А душой московской компании был крепенький забавный старичок. Старый подрывник. Сам на Ладожском озере после войны мины немецкие и советские обезвреживал.

По прибытии на остров служитель монастыря проводил размеренную и слегка покачивающуюся после ладожского волнения компанию в резиденцию отца Мефодия. Отче при виде раскрас-

невшихся «от ветра» физиономий глаза смиренно потупил, но пригласил присесть на скамью. Сели. Хором пары винные выдохнули. По окончании вежливых расспросов о проделанном пути и жаркой погоде поинтересовался, как господа спасатели думают устранять возникшую щекотливую ситуацию. Столичные специалисты к столу подвинулись. Чтобы показать места расположения мин, достали карту. Ветеран-минер к карте потянулся да поправки, вызванной давешней корабельной качкой, не рассчитал. Мимо стола и скамейки на пол грохнулся. Подняли дедушку. Посидели еще маленько для приличия, о благородных целях регаты и безопасности Отечества поговорили. Отец Мефодий мероприятие наше праведное благословил и попросил служку чад господних на отдых определить. Дедушку уставшего в баньку, заранее стопленную, отнесли. Водой озерной охолонули, попарили, в чувство привели. А там и в опочивальню сопроводили...

Наутро подогнали спасательный катер. На место обнаруженных минных заграждений столичных специалистов доставили. Дедушка-подрывник, как на судно вступил, сразу качаться перестал. Уравновесился во времени и в пространстве. Со знанием дела приказал мины на глубину баграми оттолкнуть, в стороне от фарватера грузом утяжелить и... затопить до будущей весны. Когда путина начнется, такими рогульками удобно рыбу озерную глушить. А сейчас их обезвреживать небезопасно. Туристов много. Да и суда Регаты за островами Валаамского архипелага на якорях стоят, команды ждут. Чего народ пугать? Сказано – сделано. Натянули сортавальские спасатели водолазные костюмы, укрепили груз, притопили мины и поехали на пристань к торжественной встрече Регаты готовиться. А столичные гости в монастырскую трапезную – отдыхать...

Прошли соревнования. Оттрепыхались звездные мчеэсовские флаги. Отгремели бравурные марши. Покатилась дальше Регата Безопасности. Погрузив вверенное имущество на плашкоут и ведомственные маломерные суда, и мы заторопились на большую землю... В Сортавалу прибыли около полуночи и – сразу по машинам, чтоб утро встретить в Петрозаводске... Дорогой за пыльной автомобильной колонной, раздвигая ветви, всплывая из черной облачной глубины неба разбуженной ладожской миной, стремительно мчалась полная июньская луна.

История одиннадцатая – ЗЕРКАЛО

В полночь на «огонек» – загорание мрачного переселенческого барака – прибыл молоденький капитан. По фамилии Васюра. Несмотря на младые годы, занимал он весьма ответственный оперативный пост и, чтобы оправдать высокое доверие, старался не упустить ни одного подходящего героического случая. Он рвался в бой. Был осыпан горячей золой. Попал под струю ледяной воды. И – первым увлек в чадящую барачную тьму отважных огнеборцев. Вспыхнул фонарь. Побежали тревожные стремительные минуты... Вдруг впереди, со стороны глухого коридора, забрезжил свет. Свет приближался, становился все ярче и возмутительней. Навстречу капитану шло неизвестное пожарное звено.

– Кто такие!? Какая часть? По чьему приказу!? – долетал до бойцов крепнущий командирский голос – Я!! Оперативный дежурный Васюра! А вы что? В рот воды набрали, огнетушители? Кто старший? Приблизь-ка забрало! Дай-ка я в глаза твои бесстыжие посвечу...

Ударил луч. Заметались дымы. Супротив офицера – в куче брошенных безутешными подселенцами вещей – стояло огромное старинное зеркало.

История двенадцатая – ЧЕРТ

Повоевал я в пожарно-чердачных войсках изрядно, как в царской армии – двадцать годков с гаком. Пора и честь знать. Перед пенсией устроился в пожарную часть при оборонном заводе. Тихо. Спокойно. Вызовов немного. Все больше учебные. Потому что техника безопасности на высоте. Люди обучены, работой своей дорожат. Да и своя внутренняя охрана не дремлет... Часть – боксы и две автоцистерны – располагалась за территорией предприятия и примыкала к зданию электрической подстанции. Неподалеку протекал ручей, вращав-

ший турбину маленького энергетического объекта. Автономное электроснабжение никому еще не мешало. Дежурили – сутки через трое. И постоянно с одной и той же дежурной по подстанции – Алевтиной. Немолодая, смешливая бабенка нет-нет да и заглянет к нам на огонек. Дверь в смежное помещение всегда открыта. Расскажет что смешное, последними новостями поделится...

– Иваныч, – подсаживается как-то ко мне за ужином Алевтина, – ты помнишь ли моего четвертого мужика Шурку?

– Да захаживал как-то в караулку. Дверью ошибся.

– А это он ко мне шел, шалопутный, – продолжала насмешница. – Он у меня к домашней еде приучен. Сам ничего не приготовит, не разогреет. Вот и шастал ко мне на дежурство. Из моих рук все готов был слопать. Хоть ботву под майонезом. Я ему както на смене «Вискас» на сковородке разогрела. Съел за милую душу. Еще и спасибо сказал, черт ласковый. Кот шкодливый!.. Думал, что я ничего о нем не знаю. Мне соседка Люба все про его похождения рассказала. Она когда-то с ним в одном общежитии жила. Это он у меня четвертый, а я у него – двенадцатая! Вежливый. Интеллигентный. В дом ни копейки не приносил. Мои намеки на дальнейшее житие-бытие мимо ушей пропускал. Терпела, терпела я его альфонство и наконец решилась. Пришла както вечером с магазина. А он в ванной тело свое розовое намыливает. Я вещи в шкафу перебрала. Все лишнее в коридор выставила. Сделала один телефонный звонок. На стол накрыла. Саша из ванной в моем халатике выходит. Довольный. Распаренный. И сразу за стол. «Аленька, ты у меня чудо!» А когда я бутылочку из холодильника достала, расплылся как блин: «Ой, хорошо-то как, Аленька! Христосики по душе бегают!» Ну, думаю, пусть еще немного побегают. Налила ему рюмочку, одну, вторую. Саша размяк, на спинку стула откинулся. Того и гляди, мордяшка пухлая от улыбки треснет. Вот тут-то я ему и говорю: «Ну, что помылся, поел? Собирайся, Шурик, вещи твои в коридоре, машина «такси» на улице ждет... Поторапливайся, время – деньги». Он: «Что, куда?» – «Как куда – в общежитие свое замызганное. С меня – хватит...» Так шуганула – едва успел халатик скинуть и чемодан свой драный подхватить. Вот так, Иваныч, теперь я снова – девка на выданье. Принимаю заявки и предложения!..

Веселая женщина Алевтина. Насмешит так насмешит! Взять хотя бы тот случай с трубой...

Заступил я на сутки. Все как обычно. Развод караула. Приемка техники. Учебные занятия. Только день выходной был. По-

тому я, как начальник караула, один на воеводстве. После ужина – кто у телевизора, кто в комнате отдыха в шахматы играет. Вдруг грохот на всю караулку. Как будто в стену снаряд попал. Все на ноги вскочили. Поди знай, что там громыхнуло – завод рядом оборонный. Чу! – волна шумовая по коридору покатилась – в комнату отдыха влетает... Алевтина. Да не в себе. Дрожит, ртом воздух хватает. Это она, оказывается, так дверью хлопнула, что стены закачались. Выскочила из подстанции, будто за ней черт гонится. Посадили на стул, водички налили.

– Что случилось-то? – спрашиваем.

– Там... Там, – выдохнула Алевтина, – крыса в туалете!

– Фу ты, баба, – успокоился я, – напугала! Говори толком!

– Я и говорю, – заторопилась Алевтина, – пошла в туалет. Лампочка там перегорела. Да дело привычное. Только присесть успела. А она меня как усами защекочет! И дышит, дышит. Боже святый! Я сразу к вам кинулась. Помогите, ребята! Я туда идти боюсь!

– А тебе чем помочь-то надо? Лампочку вкрутить али крысу выгнать? А ежели ты в туалет хочешь – у нас не занято...

– Да я, Иваныч, как с крысой поцеловалась – обо всем думать забыла! Ой, чуть жива... Помогите, милые!

Пошли мы вдвоем с дневальным по гаражу на подстанцию. С фонарями наизготовку. Зашли в темнеющий санузел. А вот и унитаз. Посветили вовнутрь... Эхма! Да там не крыса вовсе, а черт! Истинный черт! Усатый. Мордастый. Черный. Глаза круглые выпучил и пузыри пускает. Мы от неожиданности в коридор отпрянули. Переглянулись. Глазам своим не поверили. Осторожно, уже в два фонарных луча, голову страшную осветили... Ба! Да это ж выдра! Водятся в берегах лесного озера неподалеку сии создания Божие. А эта, видать, по ручью, из озера вытекающего, пошла. Да трубу канализационную, что аккурат из этого унитаза под берег выведена, с норой перепутала. Эх, бедная! Застряла в очке намертво. Ни туда, ни сюда протиснуться не может. Собрал тогда я свой караул. Объяснил обстановку. Бойцы решение мое поддержали. Ломиками и молотками унитаз разбомбили. Проход выдре освободили. Но та от страха и звона разбитого на куски унитаза сознания лишилась. Завернули мы животное в пожарную боевку и к ручью понесли. Там водичкой плеснули, рукавицами растормошили. Очухалась выдра. В воду прыгнула, хвостом вильнула. Помахали мы ей вслед и пошли – Алевтину успокаивать, что «черта» ее на во-

лю выпустили... Никогда еще с такого ракурса – смеялась неунывающая Алевтина – ей ни с кем знакомство заводить не приходилось. И будь этот «черт» хоть немножечко мужчиной, то навряд ли удумал обратно в ручей нырять.

На следующий день – после моего обстоятельного доклада – заводское начальство распорядилось трубу злополучную решеткой загородить. Унитаз за счет предприятия восстановить. И – лампочками подстанцию обеспечить... Чтобы нечисть всякая трубу важного энергетического объекта с норой не путала.

История тринадцатая – ДОМОВУШКА

Каморка под лестницей каким-то чудом, одной стеной, соприкасалась с курительной комнатой примыкающего к зданию управления пожарного депо. Каморку отдали во владения бойкой сметливой женщине – уборщице серьезного казенного заведения. А тут, через стену, мат на мате. То с пожара – заморенные и веселые, то с боевой учебы – смешливые и пропотевшие не стеснялись в выражениях пожарные. Коллектив мужской, привычный. Слушала-слушала женщина байки да прибаутки ядреные, пока у ней охота слушать это безобразие не закончилась. В очередной похабный перекур она и говорит сквозь стену тонкую:

– А ну, охальники, сейчас же перестаньте матюгами выражаться! А то я вас быстро, того, культурному языку обучу!

Пожарные притихли:

– Слышь, робя? Кто это там ругается?

– Это я это там, Домовушка! А не будете меня слушать, летать вам всю ночь по пожарам, как ведьме на помеле!..

И точно! Всю ночь до утра «курильщики» от сараюшек и чердаков полыхнувших прикуривали. Смену дежурства на большом категорийном пожаре производили. В курилку весь караул набился, обсушиться.

– Уф, – выдыхая мирный табачный дым, подытожил многозначительное затянувшееся молчание старый пепельнобровый «тушила», – вы как хотите, а я в потустороннюю силу верю! Есть там что-то такое, что нам спокойно жить и служить не дает, есть! Вы уж, братцы, поосторожней с матерщиной... Не по-

минайте чего всуе... А то, не ровен час, из дому вызовут чуды параллельные. С них станется...

За стеной, в полутемной, занавешенной мокрыми тряпками и заставленной ведрами каморке, глаза «домовушки» светились хитрым озорным огнем.

История четырнадцатая – ФАМИЛЬНАЯ

Разные у людей фамилии бывают. Разные казусы из-за этого происходят. И люди-то, кого судьба фамилией такой необычной наградила, хорошие да отзывчивые. А вся их родословная окружающих в удивление приводит. Не князья, не «рюриковичи» с «багратионами», а фамильными историями знамениты не меньше оных.

Один мой начальник, полковник Петрунько, любил приказания по телефону отдавать. Найди того-то, сделай это. Во всем и всегда желал четкого понимания и выполнения поставленной задачи. Должность важная – руководитель регионального МЧС. Почет. Уважение. Возможности. Шутка ли, хлопец из простого украинского села до полковника дослужился! По причине высокого положения и преобладания в полковничьем лексиконе «ридной мовы» говорил Петрунько по телефону быстро, грозно, непонятно, съедая слова и меняя ударения. И так же быстро выходил из себя, когда что-то было не по нему, и подчиненный на другом конце провода говорил больше шести слов: «Есть», «Так точно», «Разрешите выполнять» и «Ура».

Как-то позвонил полковник на центральный пункт пожарной связи города Петрозаводска. Все вопросы раньше через оперативного дежурного по гарнизону решал, а тут напрямую решил диспетчеру задачу поставить. Выслушав вежливое сообщение девушки: «Служба спасения 01 слушает», Петрунько вывалил на ленту записывающего устройства все свои малороссские соображения по известному только ему вопросу и с последними назидательными и гневными словами «...незамедлительно вдолбить решение ихнего ума» выдохнул:

– Вам все уяснино?

На что диспетчер не из робкого десятка ответила:

– Товарищ полковник, не могли бы вы все сначала повторить, я и половины не разобрала.

– Что?!! – начальник мгновенно вышел из себя. – Да я вас! Как твоя фамилия? Почему за мной не записывала?! Это приказ! Я с тобой розберуся! Как фамилия, спрашиваю?

– Глухая, – такой вот фамилией девушку муж наградил.

А Петрунько и невдомек:

– Говорю громче! Какая у тебя фамилия?!

– Да Глухая я, Глухая!

– Что у вас там творится?! – опешил разъяренный полковник. – Глухих в диспетчеры набирают... Давай старшого смены, я ей все объясню! Наберут фетюлек – не видят, не слышат... Давай старшого!..

Насилу начальнику казус фамильный разъяснили. А приказание его пришлось с магнитного носителя переписывать, всей сменой, в четыре руки...

Вот из-за такой же неразберихи с фамилией в Пудожском отряде пожарной охраны случай произошел любопытный. Приехал в район проверяющий из Москвы. Тревогу в карауле сыграл, на учениях поприсутствовал, сидит документы проверяет. Вдруг – сигнал. Пожар в жилом доме поселка Кубово. Два отделения пожарной части с места сорвались. Проверяющий тоже в «уазик» вскарабкался, сидит, пыхтит, начальника части поторапливает. А пудожанин не спеша вокруг машины прохаживается да на часы поглядывает.

– Чего не едем! – не унимался московский подполковник. – Динамику прозеваем!

– Да сейчас, – ответствовал начальник части. – Натариуса дождемся. Вместе и поедем...

Проверяющий от такой неслыханной провинциальной неспешности и бестолковости побагровел весь, из «уазика» выскочил как ошпаренный:

– Вы еще районного прокурора на пожар возьмите! Вместе вокруг пепелища хороводы водить будем! Там люди в беде! А вы о нотариусе с его завещанием думаете!...

Но тут пожарный инспектор капитан Игорь Натариус прибежал, запыхавшийся, с видавшей виды подпаленной дежурной папкой, и недоразумение прояснилось. Род Натариусов – с Украины. Туда он вскоре и уехал. А история о фамильном казусе осталась. Старые пожарные до сих пор в усы пепельные посме-

иваются, когда на великий профессиональный праздник – День советской пожарной охраны – случай этот вспоминают.

И вот еще на закуску презабавный казус, о котором мне мой сослуживец Константин Носок рассказал.

До прихода в пожарку учился Костя в Петрозаводском педагогическом институте, куда приехал из отдаленного карельского поселка. Поселился в общаге. Веселая была жизнь. Студенческая. О чем прекрасно была осведомлена комендант общежития, державшая ухо востро. Костины приключения – кутежи после сдачи сессии, ночные подъемы и спуски по пожарному рукаву, девичий смех и полуночная гитара в носковской комнате – были ей не в новинку.

Как-то погожим предсессионным днем простирнул Константин свою одежку и вывесил за окно на веревочке. Дружок за пивом сбегал. Сидят друзья в комнате, пивко попивают. Вдруг ветерок дунул, и Костин носок черного цвета вниз с четвертого этажа на куст черемуховый спланировал. Костя в комнате старший был, имел вес и положение в студенческом братстве, вот и попросил приятеля за предметом немногочисленного студенческого гардероба сбегать. Дружок стремглав по лестничным пролетам понесся. А навстречу комендантша:

– Куда бежишь? Что случилось?

– Да носок, носок упал!

– Как упал? – схватилась за сердце женщина. – Откуда упал?

– Да с четвертого этажа! Откуда же еще? Прям из окна и вылетел... – на ходу оттарабанил студент и поскакал дальше по ступенькам в предвкушении недопитого пива.

– Ну, ступай, ступай... И смотри там, поосторожнее, не трогай чего лишнего... – бросила ему вслед ошеломленная блюстительница порядка. Доигрался Костик, дополз по пожарным шлангам! Комендант тут же о случившемся кому надо сообщила и сама на четвертый этаж поднялась – осмотреть место происшествия. Заходит в комнату, а там – Костя живой, здоровый, подбородок округлый от пены пивной рукавом утирает...

Вот какие недоразумения по случаю странности фамильной в нашем многонациональном государстве произойти могут. А уж в армии, пожарке или студенческой аудитории все эти «Фигов с Масловым», «Глазов с Каплиным», «Чукова с Гекковой» надолго сочетаниями да дружбой – не разлей вода – товарищам запоминаются.

ЖИВАЯ И РАЗНАЯ

ОБЫКНОВЕННОЕ ДЕЛО

Не рыбак я и не охотник. Никак не удавалось мне зацепиться словом с крепким, сухощавым стариком, сидевшим напротив меня в душном, нагретом июльским солнцем, купе. Ехали они с женой в Североморск из Самарской области, где проводили отпуск. Милые люди.

– А правду говорят, – начинал дед издалека новый разговор, – один лопарь в тундру пошел... – он в какой уже раз вворачивал в ватную вагонную атмосферу длиннобородый анекдот, делая героем народного фольклора саама-лопаря. – Необыкновенное дело, заходит лопарь в чум...

– Дю, дед! – прерывает мужа бойкая полноватая супруга. – С глупостями всякими к молодому человеку пристаешь... Вот я в Самаре цветок раздобыла – залюбуешься! Все соседки обзавидуются!

Женщина со вкусом углубилась в секреты полярного садоводства, затем в таинство кулинарного мастерства:

– Мой-то, как рыбы красной с рыбалки принесет, то я сразу гольца этого солю и в погреб...

– И много ли дедушка рыбы приносит? – мягко прерываю я бабушкину тираду.

– За раз килограммов 50.

– На себе?

– А на чем же еще? Кругом тундра, дорог нет. Озеро рыбное – далеко. Вот дед со товарищем 40 км туда, 40 обратно... Да все

пёхом. Зять, на что молодой, только половину того удовольствия осилил, с полдороги домой воротился. А мой – ничего. За год 5-6 ходок делает, добытчик..

Во время завязавшейся беседы дед хитро поглядывал на меня из-под седых бровей, пряча в усы довольную улыбку. В стариковском молчании чувствовалось легкое, приятное, мужицкое стеснение. Мол, было б о чем говорить, дело обыкновенное...

В МАГАЗИНЕ

В магазине лесного санатория бойкая продавщица не дает опомниться никуда не спешащим отдыхающим:

– Вам чего, молодые люди? (обращаясь к двум оторопевшим старичкам) Молочка? Булочку? Вот и ладненько (сует в руки товар, отсчитывает сдачу). Следующий! А вам чего? Риса? А может, манки? Получите! А для вас (не давая открыть рта удивленной женщине) специально шоколадные конфеты завезли! Берите сразу две коробки!

Очередь тихо негодует, постоять бы, подумать... Да куда там. Кто за конфетами пришел – уйдет с батоном. Завидная пропускная способность наблюдается. Конвейер по покупке бесполезных вещей и ненужных продуктов. А тут мужчина приличный, в пиджаке. Межуется: остаться или уйти. До закрытия магазина пять минут осталось. Продавщица через головы его углядела, подбоченилась:

– А вы, мужчина, после закрытия заходите. Я вам всего чего надо дам. Заходите, заходите, не стесняйтесь!

Отдыхающий зашел через полчаса, но... с женой. Наверное, чтобы товар просроченный не навязали.

ШАРИК

Люблю, понимаете ли, я наш родной северный санаторий «Лесная сказка»! Раз в два года обязательно наведываюсь. Сразу с автобуса, обгоняя загру-

женных чемоданами бабусь, – прямиком к дежурному врачу, чтобы назначения получить и на время удобное записаться. Процедур набираю полнехонько, не продохнуть. А какого лешего мне на отдыхе баклуши бить? Работа у меня в конторе – сидячая. Живот выпирает, подбородки висят, лысина – что бильярдный шар, а седалище корму сухогруза напоминает. Того и гляди со всех сторон круглым стану. А тут – диета, массаж, сауна, бассейн – полное очищение организма от шлаков и токсинов! Качусь от процедуры до процедуры, из ванной в душ, из душа в «царскую купель», как розовый распаренный шарик. Две-три недели и – как новенький! Не шарик, а регбийный мяч! Жена, как меня в санаторий отправляет, переживает: мол, не усердствуй, Аркадий, не доведи себя до голодного обморока. А я что? Я ничего. Не в первый раз грязи и воду минеральную принимаю. Здравница славная, да и народ приятный. Забавный даже. В один из приездов мужчина-отдыхающий, новичок, наверное, очередь в хвойные ванны отстоял, в кабинке разделся, ждет, когда ему команду дадут в соседнее помещение заходить. Медсестра из-за занавески выглянула:

– Мужчина, идите уж процедуры принимайте! Ванна стынет...

Через двадцать минут заходит девушка в кабину, чтобы пациента вместе с пробкой сливной из ванной вытащить... Глядь, а мужчина, как «Мыслитель» Роденовский, на краю ванной сидит и пригоршнями разведенный в воде хвойный экстракт вовнутрь употребляет. Уже икать стал от удовольствия. Чудик. А другой отдыхающий – не чище. Идите, ему говорят, в кабину, разденьтесь и приготовьтесь к грязевому обертыванию. Товарищ приготовился, на топчан лег. Медсестра, как его на топчане со сложенными на груди ручками увидала, наотрез отказалась бедолагу грязью лечебной из ведра поливать. Я, говорит, еще жить хочу, а не от смеха помереть. Правда, картина увиденная того стоила. А что было... Женщина-отдыхающая, что перед этим недотепой на той же лавочке переодевалась, впопыхах колготки капроновые бежевые на вешалке забыла. Так мужичок их на свое маленькое щупленькое голое тело напялил, почти до подбородка, и в таком виде на топчане растянулся, думал, что так и надо...

Уф-ф, до печеночных колик доведут, черти! Не зря, не зря жена предупреждала, что поберечься мне надо: побольше на воздухе бывать, в тишине, уединении. Да куда там... Приехал я в очередной раз на лечение. Иду, по-свойски в кабинеты загля-

дываю, с врачами здороваюсь. Перед дверью кабинета кишечных промываний сидит девушка. Старается не смотреть по сторонам. Волнуется. Видать, ее очередь подошла.

– Девушка, – спрашиваю, – не в курсе, есть там кто?

Девушка, по-видимому, не расслышала и от волнения еще больше покраснела:

– Ну, если вы с экскурсией, то проходите...

А мне что, пропускают – отказываться не буду. Захожу в кабинет, плотно притворив за собой дверь.

В кабинете – все по-старому: раковина, соответствующие процедуре аксессуары, топчан, трубка... В ответ на мой учтивый вопрос о здоровье, прозвучавший неожиданно громко во время аккуратной медицинской манипуляции, процедурная сестра опустилась на мокрый белый табурет:

– Ночью почувствовала недомогание, беспокойство какое-то. Приняла таблетки. И, чтобы уснуть поскорей, уши ватными шариками заткнула... Утром хватилась – беда. Один хулиганистый шарик юркнул в слуховую трубу (это где-то за внутренним ухом), и ни иголочкой, ни пинцетом ватку не достать... Если б помог кто. А то ведь мужа нету. Дети в город подались. И невдомек никому, как я себя чувствую, как одна ночи темные коротаю...

– Да что вы, – говорю я, пытаясь выйти джентльменом из неловкого эмбрионного положения на жестком холодном топчане, – есть из-за чего убиваться?! Иным муха иль таракан безобидный в ухо заползет – и ничего! Бывает, при промывании серной пробки такой янтарь из ушной раковины извлекают – залюбуешься!

– И все же, – вздохнула милая растерянная медсестра, – не выходит у меня из головы этот шарик...

– Конечно, не выходит, – хохотнул я, – он же у вас в голове!

Пауза. Глупая. Затянувшаяся. Разболтался, выругал я себя, остряк-самоучка! Женщину обидел. От сказанной неловкости я чуть дыру в клеенке не проерзал.

– В смысле, – продолжил я виновато, – шарик еще вытащить можно. А вот все остальное... Вам отвлечься надо, отдохнуть. В отпуск к морю съездить. А еще лучше найти хорошего человека...

Тут в животе моем заурчала, забилась в неволе целительная минеральная вода и с неуемной живительной силой запросилась на свободу...

Надо, надо сообща искать пути-выходы из сложившихся обстоятельств, чтобы словом али каким другим чудодейственным

способом облегчить друг другу человеческое существование! Да и чего далеко ходить, вот он, рядышком – наш маленький северный санаторий «Лесная сказка»!

В Пятигорске

Вокзал Пятигорска. Выйдя из электрички, интересуюсь, как добраться до Домика Лермонтова. Кто-то посоветовал сесть на «маршрутку» от Верхнего рынка. А там – рукой подать... Надо заметить, что «маршрутки» на Кавказских Минеральных Водах уплотняются особым экономным образом. До крыши... Сажусь. Все сиденья заняты пассажирами, котомками, мешками. В переполненный автобус вваливается деревенская тетка с тяжелой хозяйственной сумкой. Пройдя вглубь салона, как ни в чем не бывало, плюхается на мое колено:

– Люсь, иди сюда! Здесь место пустое имеется!

На второе мое колено приземлилась Люся... Слава Богу, домузей погибшего на Кавказе поэта был недалече.

Что хочет женщина

В шведском Оверкаликсе профессор из Стокгольмского университета учил нас, профессиональных поэтов и литераторов из России, как писать стихи... Как первокурсников филфака, ни больше ни меньше... Но самыми чудными из его студенческой лекции были стихи, вписанные в абрисы различных фигур: машин, зверей, людей. Сплошные: р-р-р, гав-гав и ку-ка-реку!

Из всего увиденного больше всего меня поразила фигура Смерти, приходящая к скандинавским народам в образе сурового мужчины, который обычно стучится в дом по утрам. Кто там? Сто грамм... А за дверями: ой, мужчина! Широкую квадратную фигуру скандинава, возникшую на пороге в лучах восходящего солнца, испещряла татуировкой скорбная стихотворная эпитафия... Все сидящие в классе оверкаликского Дома

творчества русские литераторы переглянулись: к нам – славянам – Смерть приходит в образе какой-никакой, а женщины. Воистину, что хочет женщина – то хочет Бог...

Часовой

Лежа вертикально на белой метели, вытянув ноги, спиной к ровням щекочущим струям, можно стоять и не падать, не делая ни малейших усилий, стоять, заложив ватные озябшие руки за ремень заиндевевшего автомата... Тупо полощутся по ветру полы тулупа, хлещет по впалым щекам воротник. Холод взбирается по легким кирзовым сапогам под ребра... Не спать, не спать... Руки как можно глубже в рукава, в тепло – к сердцу. Как тихо оно стучится. Как жалобно скулит за «колючкой» вещевого склада караульная собака... Еще час... На КТП воинской части зажжется свет. Дневальный поставит чай. Стряхнет снег с запорошенного порога. Хлопнет в большие трехпалые рукавицы:

– Эй, на посту!

– Я здесь! Я не сплю!

Я стою, крепко стою под фонарями вверенного мне автопарка. Я не сплю. «Дедушка», обещавший сменить часового на два быстрых желанных часа, так и не пробудился в тепло натопленной караулке от сладкой утренней дремы... Плечи уже не чувствуют опасной смертельной тяжести боевого автомата. Деревенеют ноги. Равновесие ветра, света, летящего в колких огненных искрах снега расправленного тулупа, поглощается ровной кирпичной тьмой. Тяжелая кладка давит на плечи, грудь. Сонное, едва пульсирующее сознание, не в силах крикнуть в темноту гулких отверстых ворот, навстречу грохочущему грузовику и рассыпавшимся по парку людям:

– Стойте! Я не сплю! Не сплю!

Кирпичи падают на спину, ухают в живот и затылок. Обдирают кожу на пальцах и скулах тяжелые кованые сапоги...

Вызванная старшим припоздавшей патрульной машины смена отрабатывала каблуками и прикладами «тихую» караульную ночь. На затоптанном снежном циферблате, в стылой казахстанской степи не было места, пощады, укрытия маленькому забитому часовому.

– Новенького привезли! – юркнула в глубь пустынного больничного коридора курносая молоденькая медсестра. – Маш, принимай солдатика...

– Всё возят и возят, – буркнула себе под нос пожилая дородная тетка, – служить некому, а они тут хлеб задарма жрут! Вот, ложись... Чего дергаешься? Психованный, что ли? Ну ничего, обвыкнешь. От дурдома до дома дорога короткая... А то соседа полоумного попроси, он тебе койку качнет, на дембельском поезде поедешь: ту-ту!...

Уткнувшись в твердую ватную подушку, юноша слушал, как за толстой казенной стеною... идет снег.

КЛАВДИНО СЧАСТЬЕ

– Сразу после войны это было, в году 47-м или 48-м, уж точно не помню, – говорила в один из редких моих приездов за вечерним чаем моя деревенская сильно постаревшая бабушка. – Мне, внучок, годков было немного. Если б тятя с мамой в разговорах домашних о случае том не вспоминали, забылось бы. А с разговорами – будто вчера произошло, хотя родители, почитай, лет тридцать тому один за другим ушли, да и я уж давно бабкой стала.

Голодно тогда было очень. Зима выдалась ранняя, многоснежная. Из города по насту редкие сани проскочат, да и то налегке, с каким-нибудь крестьянским немудреным инструментом. После войны, подъема всеобщего, мы последние зернышки по амбарам и полям собирали. Жили бедно, да счастливо. Уж не знаю, почему так весело в деревне было? А может, молодость в крови играла, ликование народное? Такого гада – Гитлера – задавили! В конце ноября с обозом кумачовой материи и рисованных портретов в тяжелых золоченых рамах – все это для клуба было – важная бумага из города пришла. Начальство партийное передовиков-ударников со всех таежных уголков в центр собирает. Зима. Озера встали. Самое время уму-разуму поучиться, а то и почесть какую заслуженную получить. Из Калевалы нашей на конференцию в саму столицу тетку мою, Клавдию, снарядили. Активистка. Лучший колхозный бригадир. Муж на

фронте погиб, страну от ворога защищая. За время ее откомандирования троих ребятишек тети Клавы мы к себе взяли. Вчетвером не пропали, так всемером точно не пропадем!

– Езжай, Клавдия, спокойно, – выдохнул тятя. – За деток не беспокойся, с голода не помрут.

Посадили ее в чудные деревянные сани, запряженные выносливой молодой лошадкой Глашей. Не сани – карета! С резными наличниками, сидушками, облучком! Председатель распорядился. Чтоб не посрамила район! На дорогу харчей выдал из неприкосновенного запаса. Да Клавдия все нам, для детишек передала. Себе только краюху хлеба оставила. Мир, мол, не без добрых людей.

Повез Клаву до станции Макар, дюжий мужик, вернувшийся с фронта в первый же год, ногу ему осколком снаряда перебило. Вот он и приспособился при лошадях, при председателевой двуколке возчиком состоять, все не пешком ходить. Дорога лесная да через озеро. Согрелась Клава под овчинной шубой. С часок даже вздремнула. Солнце из-за леса выкатилось. Заблистали макушки дальнего берегового ельника, заискрился, заблистал огнями самоцветными гладкий озерный наст.

Вдруг Глашка всхрапнула, судорожно передними ногами засучила. Будто испугалась чего. Макар от солнца глаза под шубенку спрятал:

– Мать честная! Медведь!

Клава на санях привстала. Точно! На озере, у самого берега, медведь лося дерет. Молча. Жадно. Наверняка – шатун. Загнал лося на крепкий лед, чтоб брюхом снег не утюжить. По льду от косолапого не убежишь. Возница лошадку успокоил, в сторону от берега опасного повернул...

– А ну, стой!

Клавдия быстро соскочила с саней, выхватила из-под сиденья завернутый в тряпку топор и решительно зашагала по крепкому звенящему полю, будто и впрямь в гости к хозяину леса собралась.

– Ты что, девка, сдурела?! Куда пошла! Тикаем отседова, пока медведь не учуял!

– Сиди, Макар, где сидишь... Если со мной что случится, в деревню гони, за подмогой. Ты мне с одной ногой не помощник.

Макар беспомощно ковыльнул вслед ушедшей далеко вперед женщине. Клавдия не обернулась.

– А ты куда! – раздосадованный мужик хлестнул рукавицей лошадь, ткнувшуюся ему в плечо. – Тпру, вислогубая!

Клава была уже в десяти метрах от занятого едой изголодавшегося зверя, когда его чуткие ноздри уловили чуждый посторонний запах. Медведь повернул к женщине настороженную, липкую от крови морду и замер. Не зная откуда у нее взялась эта злая безудержная решимость, откуда нашлись нужные слова, неведомые карельские заклинания, нахлынувшие горькие русские плачи, но, глядя куда-то в глубь своего и не своего человеческого существа, Клава заговорила:

– Медведюшко, хозяюшко, не тронь меня, не ломай мои хрупкие косточки, не терзай мою белу грудь. У меня детушки голодные. Отдай мне еду, тобой добытую, поделись-расщедрись, не жалей лося сохатого. Не гонись за мной, не ищи меня и добычу свою. А не то не жить нам обоим на свете белом! Не уйду от тебя я без мяса сытного, малым детушкам пропитания...

С теми словами ведовскими отрубила она заднюю лосиную ногу и, не оглядываясь, по снегу к саням потянула.

Не рявкнул медведь, не шелохнулся даже... Клавдия ног под собой не чувствовала, холода зимнего, ноши волочащейся не замечала. Охая, хлопая шубенками об полы долгого тулупа, Макар навстречу метнулся, ляху лосиную на сани погрузил... Потом на берегу у жаркого костерка разделили медвежий подарок на две половины: одну глубоко в снег закопали, а другую, большую, в холстину завернули и в сани положили. Макар детям, родне – мясо отвезет. До приезда мамки кровиночки родные теперь продержатся, бульончика горячего похлебают!

– Поехали, Макарушка, на станцию. Быстрей приедем, быстрей домой вернешься...

Переночевав в Кеми, отправилась Клавдия дальше, столицы покорять.

Как сейчас помню, выглядываю в окно: Макар в карете председателевой к нам во двор заворачивает. Важный. Морозный. Как мамка с тятькой на мужика налетели! За сестру испугались сильно, на возницу непутевого накричали. Но когда он лосятину из холстины хрустящей выпростал, отошли маленько. Что с колченогого взять?.. Не один раз Макар историю про медвежью оторопь и Клавкино счастье сельчанам рассказывал. Мало кто верил. Сказкой сыт не будешь. А то, что дети тетины веселые да накормленные с горок снежных катаются, – в диковинку! Ах, Клавдия, Клавдия! Забубенная головушка! За детишек голод-

ных и медведю глаза выцарапает!.. Родители уже не сомневались, остаток ноги лосиной как должное приняли, когда сестра домой вместе с погремушками столичными возвернулась. Не тронул лесной хозяин мясо заговоренное... Народу в избу набилось – тьма! Никто на грамоты и вымпелы заслуженные и не глянул. Все родные, соседи, старики на лавках, дети на печке еще и еще Клавдию о подвиге ее расспрашивали...

Быль эту, прадедом твоим пересказанную, я тебе, внучок, передаю. А ты уж дальше передай, если интересно стало. Тетя Клава до самой пенсии в колхозе нашем председательствовала. Ненамного брата своего, тятю моего, пережила. Смелая была женщина, совестливая. Пусть память о ней подольше на земле калевальской живет.

ЖИВАЯ И РАЗНАЯ

Повезло мне в этот зимний вечер с попутчиками! В купе – одни мужики собрались, в возрасте, с богатым житейским опытом. От бутылочки, правда, поразмыслив, отказались. Но разговор от этого еще нагляднее стал, обстоятельней. Никто никуда не спешил, на полках не ерзал, чтоб станцию не пропустить и запасы водочные пополнить. Историй хватило – до самой Москвы. Я домой в Карелию из Новосибирска добирался...

– Да, мужики, – протяжно проговорил, потягивая остывающий чай из дребезжащего в тисненом кольчугинском обрамлении стакана, сухонький, но крепкий сибиряк с пепельными, будто присыпанными мокрыми снежинками волосами, – что-то странное с природой творится. Потепление, что ли, глобальное сказывается? Снег то выпадет, то растает. Поздно... поздно медведи в спячку залегли... Приятель мой, Ваня Чистов, рассказывал – до-о-олго часа оного ждал. И дождался... Вроде охотник бывалый, и лежку нашел недалеко от дороги – медведь по первому снежку назад пятился, камнями и листьями прелыми вход в берлогу завалил, – а на все случаи, видно, патронов не напасешься... Поднял он медведя ловко. Косолапый и очухаться не успел – от дуплета в упор наземь повалился. Чистов

только ружье на плечо повесил, как вдруг – новый рев, с правой стороны взгорка еще один берложник вываливается и – на Ивана! Тот на бугор прыгнул, лихорадочно патрон в патронник впихнул и, как есть, в открытую медвежью пасть огнем жахнул. Повалился второй медведь. Ан третий – еще больше и серьезнее предыдущих – на взгорок лезет! Вот тут-то все у Ивана дыбом встало: и кудри под ушанкой, и ворс на валенках! Медведь охотника за большую сосну загнал, все лапой его достать хочет, да животом по скользкому склону назад скатывается. А Ваня с ободранным локтем ружье перезаряжает, патроны в руке ходуном ходят. Ни мишка человека достать не может, ни человек мишку от себя отпихнуть. Наконец, когда разъяренный зверь с валенком и частью ватной штанины в очередной раз с бугра сполз, перезарядил-таки Чистов ружье и с двух стволов грудь косматую разворотил... Как до дома пораненный добрался, одному Богу известно... Мужики на «уазике» двойную ходку делали, чтобы погреба чистовские медвежатиной завалить. Это ж надо такому случиться! Медведица с двумя пестунами в лежку залегла! Ходов нарыла – не берлога, а настоящие катакомбы! Вот и устроила Ване встречу, белки-горелки!..

Посидели чуток, помолчали. В окно вагонное темнеющее поглазели...

– А у нас в Карелии волки озверели! – решил я поддержать начатый разговор. – В деревне Готнаволок, недалеко от Марциальных Вод, всех собак и кошек дворовых съели. И управы на них нет! Кажется, тут где-то за кустами день пережидают, а ночью по двором, как тени, проносятся. Дед Самвел – обрусевший армянин – будку с Кешкой, кудлатым брешливым псом, почитай под самое крыльцо поставил. Привык к собачонке деда Саша, как все деревенские его называют. Один ведь в «Наволочке» этой остался. Жену схоронил... А Кешка – живая душа – хозяину радуется, долгие темные зимы переживать помогает. Как-то ночью проснулся дед от душераздирающего визга! Выглянул в окно: клубок какой-то у крыльца катается, писк, рык, лязг, цепь железная о будку громыхает. Волки! Дед Саша тулуп накинул, топор и ведро с кухни схватил, сперва что есть силы железом этим в дверь ухнул, заорал, загремел засовами, страшно сразу на волчар выскакивать... На дворе – волков и след простыл. Будка сворочена. А возле нее на вытянутой в струнку цепи лежит бездыханный Кешка. Ах ты, беда, беда!

Дед расстегнул негнущимися пальцами надорванный кровавый ошейник и положил пса на не тронутый бурыми пятнышками снег. До последнего лохматый хозяина своего защищал. Эх, жизнь!

– Что, сосед, собаку жалко? – оглянулся Самвел, а у калитки стоит, пошатываясь, его сверстник, дед Николай. До того Николай от водки дошедший был, что, почитай, на улицу не выходил. Что пил – известно, что ел – неведомо. – Слышь, Саш, – продолжал Николай, – отдай мне пса... Я, Саш, с осени щей мясных не хлебал... Пожалей, Саш!

– Да бери ты, черт, бери, – хлопнул дед Саша дверью и в сенях на лавку сел.

Куда катимся? Что собака, человек сгинет – никто и не вспомнит...

– Ну, навел ты, мил человек, грусти! – сказал и вышел из купе, расправляя рукава спортивной куртки, третий попутчик, деревенского вида мужичок – ноги размять.

Поезд как раз к узловой станции подъезжал. За ним, дребезжа стаканом, и сибиряк потянулся – за кипятком. Еще один сосед по купе, удивительно кругленький и внимательный человек, ехавший от самого Красноярска, разговорил-таки в коридоре неприступную суровую проводницу, шутил, балагурил, умильно взмахивая коротенькими ручками. Вон как женщина разулыбалась! Я же – за книжку взялся, что с собой в дорогу взял... К вечеру все в купе собрались. Отужинали. Зашуршали газетами...

– Вот вы давеча о героической схватке человека с природой говорили, – снял очки с перемотанной проволочкой дужкой мужичок в спортивной куртке. – Зверье к жилищам подходит. Контроль популяции аховый. Опять же – собачку жалко. Но, ежели вдуматься, и у людей те же естественные природные инстинкты присутствуют, ружья да топоры. Все правильно. Честно. Но грустно... Я все понимаю. Охота пуще неволи. Но жисть ведь она такая... разная. Не грустная, нет, даже очень наоборот... Она все больше из добрых человечных отношений соткана, где недоразумения всякие любовью примеряются... Меня вот этим летом леший за бороду дернул. Потом, конечно, и жена добавила... А что было. Сподобились мы с супругой на даче курей выращивать. И все-то у нас ладно пошло: пеструшка, несушка, несушка, пеструшка! В сезон – яйцо, зимой –

консервы. Для полного веселья бражка на хлебе настоялась. Жена брагу выцедила, хлеб в миску скинула и на столе оставила. Торопилась очень – в город на рынок. Автобус у нас по расписанию уходит. Завтра обещала вернуться. Я – на хозяйстве. Не впервой. Да баночка мне с бражкой на глаза попалась... Утром проснулся раненько, курам хлеба насыпал, водичкой из колодца ополоснулся. Хорошо! До приезда жены еще часок вздремнуть можно. Продираю глаза. Солнце в окно брызжет! Я – на двор. Глядь, а куры мои дохлые у корытца лежат! Я, честно, испугался не на шутку. Пропал сезон! Что теперь делать? Мозги хмельные туго в голове заворочались. А, была не была! Пока моя благоверная с города не подъехала, дай-ка я их, болезных, на фарш передавлю! И ну курей ощипывать. До пятой дошел, тут калитка скрипнула: моя вернулась! Бегу к ней, лицо в пуху, улыбка до ушей: вон как для женушки расстарался – не муж, а консервный завод! Жена как о радении моем узнала, сразу, чтоб не упасть, черенок от лопаты ухватила и на спину мою повинную опустила. Я молчу, ибо с армии расклад знаю: инициатива – наказуема. Женушка еще раза два для приличия дрыном замахнулась, на крылечко бухнулась и послала меня... к соседу за мясорубкой... Только-только мы с соседом пятую пеструшку помянули, жена вваливается, руки в боки: «Ты чем курей накормил, ирод?» Хлебом, говорю, тем, что ты на столе в миске оставила... «Ты их, – наступает, – ты их не хлебом, а корками бражными опоил, рожа пьяная!» И кулачком своим пудовым по сусалам, по загривку. Я из дому в кусты кинулся. А жена не отстает. И затеяли мы по соседским огородам и плетням бег... с препятствиями. В своем загороде к нам курицы воскресшие присоединились, из сарая высыпали – голые, бледные, звонкие... Честно скажу, с волками и медведями дела не имел. Не приходилось. Но под тяжелую руку супружницы своей попадал не раз. Честно. Не приведи Господи!.. Вечером после баньки да ужина молчаливого глянул я на жену одним глазом, второй-то заплыл маленько. Я его тихонечко тронул: больно, говорю. Честно, больно! Больно, а самого смех разбирает. Терпежу нет. Да и женушка еле сдерживается. Обняла она меня крепко, по голове гладит и смеется, сквозь слезы смеется. Люба моя... Вот, кажись, станция? Расчувствовался я что-то, братцы. Пойду, пивка куплю, что ли...

Через несколько минут мужичок сидел на своем месте с вожделенной бутылочкой пива, почти утопавшей в его огромной руке.

– Да уж история, белки-горелки! – продолжал похохатывать, вспоминая давешнюю историю об опоенных курицах, сибиряк. – В жизни человеческой каких только чудачеств не происходит. И на природе, как вы говорите, забавных случаев предостаточно. Вот я, например, когда в первый раз с товарищами на охоту собрался, больше всего обмишуриться боялся, робость свою показать. Особенно перед Ваней Чистовым, он на медведя один ходит. Да верно говорят, что у страха глаза велики. Да еще ребята «смелость» мою проверить решили, белки-горелки... К вечеру по глубокому снегу дотопали мы до охотничьей избушки. Утром на лося идти уговорились. Избушка махонькая: между нарами шуб накидали, печку раскочегарили. Легли. За стеной тихо, морозно. Братцы, говорю, а как до ветру захочется, что делать? Что делать, что делать, говорит с невозмутимым видом Чистов, – в тайгу иди... Лыжи и ружье с собой не забудь взять. Тут рысь пошаливает. Не одному кержаку шею сломала. Так что ружье наизготовку, ноги в лыжи и к ближайшему кедру. Лыжи зачем? Так без них ты и двух шагов не сделаешь – провалишься. Да, еще, когда до места дойдешь, кричи что есть мочи. Рысь крика боится... Сказал и затих. Заснул, что ли? Я покрутился, покряхтел еще с полчасика. Все, думаю, больше не выдержу. Надел шубу, шапку, лыжи, карабин – на плечо, и – в ночь, на рысью вылазку... По снежному насту гуляет поземка. Звезды блещут. Холодно, жутко. Похрумкал я в чащу. Обернулся – избушка на виду. Пристроился к высоченному кедру. Голову верх задрал: вроде никого не видать. Но на всякий случай набрал полные легкие чистого морозного воздуха и как гикну: «Э-ге-ге-гей!..» Еще и не весь пар в гудок ушел, как накрыла меня сверху тяжелая снеговая шапка, в коей кедр-великан красовался. Ни рукой, ни ногой пошевелить не могу. Ни дать ни взять – истукан снежный. В избушке – дверь настежь. Вся ватага от смеха заходится. Кое-как из сугроба выкарабкался. Задубел. Хорошо хоть, недалеко в лес ушел, стесняючись... Нагоготались ребята вдосталь и уснули, счастливые... Вот какие казусы на природе случаются!

– И у меня, и у меня подобный случай был! – всплеснул ручками после приступа заразительного раскатистого хохота кругленький пассажир. – Я, знаете ли, – хи-хи – вылазок рысьих не делал. И с дикой природой – хи-хи – только на те-

щиной даче общаюсь. Но один раз попал в занимательную ситуацию! В начале зимы собрались мы всем семейством в Красноярский зоопарк. Я обстоятельно к тому подготовился, залез в интернет, соответствующую литературу почитал и не преминул блеснуть перед детьми своими познаниями: что едят еноты, почему совы ночью не спят, отчего утки плавают и тому подобное. Все открытые вольеры обошли. А вот и он – павильон с красноречивой надписью «Хищники»! Перед этим павильоном я заранее у уборщиков справился, что гиен и тигров там нет, их давно на зимние квартиры перевели. В клетке только один бурый мишка прохлаждается. Да и тот с неделю как в теплом помещении нежится, на люди не выходит. Мороз-то под тридцать. Зная это, нагнал я страху на домочадцев: про саблезубых тигров, про пещерных медведей. И когда мы зашли в полутемный павильон, все были готовы... к худшему. А я соловьем разливаюсь: клетки темные, поди разберись, что там никого нет... Вдруг в последней клетке с табличкой «Медведя не кормить!» началось какое-то странное шевеление. В едва различимой темноте от медвежьей поилки стало отделяться странное кособокое существо. Все мы – я, жена, дети – замерли от ужаса! «Нечто» стало медленно подниматься на задних лапах и настороженно крутить по сторонам косматой башкой. Внезапно мычащее и хрюкающее существо бросилось на толстые железные прутья, и дверца стоящей перед нами клетки с шумом отворилась...

Через полчаса в кабинете директора нас чаем отпаивали. Охали и ахали. Спрашивали, не ушибся ли кто, когда нас по одному с дерева снимали.

– Не-не-нет, – отвечаю я за всех, слегка заикаясь, – никто не-не у-ушибся. А что это у-у вас за но-номер такой – лю-людей пугать?!

– А, это... Это сварщик наш, Тихон. Перебрал маленько. Сон его на рабочем месте сморил. Он еще вам спасибо сказать должен, что вы на него в пустом павильоне наткнулись! Если б не вы – замерз бы, не ровен час... Эй, Тих-о-он, иди сюда, скажи людям спасибо!

В соседней комнате послышались знакомые хрюкающие звуки.

– Нет, не-не надо Тихона звать! Нам домой пора.

– Не вопрос! – предупредив наше желание, директор заранее подогнал к крыльцу микроавтобус для детских экскурсий «В гостях у мишки»...

Ехали мы домой молча. Жена с детьми, поди, от шока не оп-

равились. А я знания-познания свои ученые проклинал. Выпендрился, называется! Сам чуть заикой не стал, жену на посмешище выставил, когда к ее шубе задранной лестницу приставляли... Но дома, как от оторопи морозной оттаяли, весь вечер по полу катались! Смеху было – на неделю. Пока теща не узнала. Думал – загрызет. За дочь. За внуков. За медведя. Спасибо жене, спасла от смерти неминучей. Тещу от моей «безмозглой, никчемной» личности оторвала... Так что дома у меня свой зоопарк имеется. Родственный. Бесплатный.

– Ну всё, мужики, – улыбнулся молодцеватый сибиряк, – завязываем... А то мы так до Москвы животы надорвем. Рано утром – столица. Спать, мужики, спать...

Лежа на верхней полке, я снова и снова прокручивал в голове услышанные истории... Засыпая под стук вагонных колес, обдумывая, переосмысливая, до зубовного скрежета пережевывая знаменитую фразу Джека Лондона «Чем больше узнаёшь людей, тем больше нравятся собаки...», я все же остался уверен, что когда действительно узнаёшь людей, становятся ближе и люди, и собаки, и птицы, и всё живущее на этой живой и разной Земле!

САВЕЛЬИЧ

Савельич на стройке личность известная. Хороший мужик, мастеровой, безобидный. Заслуженный строитель. А внешность имел – ну точь-в-точь артист Борислав Брондуков, алкаш алкашом. Кто Савельича не знает, в его обманчивую нетрезвость легко поверить может.

В тот день бригада Савельича объект – девятиэтажный дом – до ума доводила: что облагородят, что подкрутят, что заменят. Бригада передовая. Вот ее с объекта на объект и бросают недоделки устранять, на передовом советском сленге это называлось «заниматься доводкой». Грязюка кругом еще непролазная. А тут новый начальник треста на стройку пожаловал. Инкогнито. Без машины, по грязному новостроящемуся микрорайону решил до объекта добраться. И надо же было такому случиться, полуботинок югославский штырем, из земли торчащим, пропорол. Так на одной ноге до ближайшей бытовки и допрыгал. А

там Савельич. Кисти малярные отмачивает. Дух ацетоновый ядреный валом валит.

– Вы что тут творите! А? – заорал незнакомец, шибко важный, шибко злой, на недоумевающего бригадира. – Мне из-за ваших художеств туфли новые выбрасывать придется! Чем занимаетесь, спрашиваю?!

– Чем занимаемся, чем занимаемся... – пролепетал покачнувшийся от неожиданности Савельич. – Доводкой.

– Ах, вы тут водку жрете!!! Ну, я вам покажу! – разошелся начальник. – Кто бригадир? Ты-ы-ы?! Да как ты в таком состоянии еще на ногах стоишь? Сам пьянь и бригада туда же! Всех уволю! Разгоню к чертовой матери!..

Потом, конечно, разобрались. Извинились перед Савельичем. Но тот грубости, хоть и глупой, необдуманной, не любил. Назавтра сам заявление об уходе на стол канцелярии положил. Его в другое управление давно зазывали... Свою рабочую гордость имел Савельич, на которой и города, и страны стоят. Для людей стоят, не для начальства.

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ, КИСЕЛЬНЫЕ БЕРЕГА

В Калевале лето. Самое время веники заготавливать. Растолкала Прасковья своего деда раненько. Нечего дрыхать. Через озеро поплывем, к обеду бы вернуться. Пока в легкой карельской лодочке устраивались – топор здесь, веревку взяли – ясную тихую гладь озера Куйто затянула легкая утренняя дымка. Лесистые берега заблудились в косматом тумане. Да ничего, доберемся, путь знакомый. Правда, с годами ноги побаливать стали... у Тимы. Так что уж, почитай, пятый год Паша – на веслах, муж – у кормила. Ишь, поет, кормилец:

Елки-палки, лес густой,
Едет Тима холостой!
Если Тима женится,
Куда Паша денется!

– Да куды, куды уж денешься, – вздохнула Прасковья. – Почитай, сорок годков вместе... А ежели полсотни лет сбросить, то

подумала бы еще, за тебя али за Семена идти. Вот уж хозяйственный мужик! Голова!

– Да-а-а, – ехидно протянул Тимофей, – голова – два уха... Мозгов только маловато. Одно хозяйство напоказ. Корова да лошадь. Кобыла упрямая. С норовом. Сам тут давеча рассказывал.

Понес Семена черт зимой в соседнюю деревню. Туда – берегом. Обратно – темно, вечер – решил он через озеро вставшее махнуть. А лошадь не идет. Семен и раньше энту странность за кобылой замечал, что льда она открытого боится. Так кто-то ему присоветовал скипидаром скотине пужливой ускорение придавать. По этому совету он и склянку под сеном возил вонючую. Так вот, слезает он с саней, хвост заиндевелый аккуратненько так приподнимает и –хлесть туда из склянки... Сеня даже за хвост не успел зацепиться – как ракета ошпаренная стартанула! Только к утру на деревню вышел... Домашние еле-еле кобылу ошарашенную усмирили. Пришел – зуб на зуб не попадает.

– Вот тебе и Семен! Дальше – чище. – Тима заерзал в художественном азарте на качающейся корме, наблюдая за растущим недовольством жены.

– По весеннему льду Семен сети на озере поставил. Аж за пять километров. А выбирать как? Улов вывозить? Вот и договорился он с соседом Николаем, что тот его на мопеде до места доставит. Да чудно как: сосед на мопеде впереди, а Семен на салазках, к багажнику притороченных, сзади. В путь тронулись: треск, грохот! Шумахер деревенский на льду скорость набирает, Семен за перевернутые салазки из последних сил цепляется. Через полтора километра Николай оглянулся. Пуржит хозяйственник за мопедом облаком белым. Спортсмен, голова – два уха!

– А что? И спортсмен, как там его – спиннингист, и хозяин! – вступилась за сельчанина Паша. – Ольга-то его круглый год со свежей рыбой! А мы... Хоть бы мелочь какая окуневая, пропащая, так сама в лодку не прыгает...

Но Тимофей обиженно молчал...

Вместе с клубами кудлатого тумана наползала на лодочку безутешная озерная гладь...

– Глянь, Тима, по воде гора какая-то плывет? Остров, что ли, и дерево на нем чудное.

– Какой остров? Не было здесь отродясь ни горы, ни острова. Ты б лучше покрепче на весла налегала, а не по сторонам таращилась!

– Да остынь ты, Тима! – Паша осторожно подняла большое, промокшее до черноты весло. – Плывет кто-то впереди!

Впереди обомлевших стариков в светлой расплывшейся дымке колыхалась и фыркала рогатая голова плывущего посередине озера лося.

– Здоровенный-то какой, сохатый! На тот берег плывет... А что, мать, – загорелся Тимофей, – давай я его обушком легонько между рог приласкаю. С мясом будем!

– Ты что, старый? Кто ж такого лосяку до берега попрет? Ты, что ль, сапогами по дну елозить будешь?

– А если... если рога ему веревкой обмотать, крепко, чтоб не вырвался, и у берега тюк по лбу?

– Тебе б все тюкать! Тут подумать надо...

– А чего думать? – Тимофей деловито обкрутил раскидистую лосиную корону. – Зверь смирный... Ты знаешь, сколько в нем живого веса? На всю семью хватит! Любе и Толе – по ноге. Клаше с зятем половину. Антипихе...

– Ты, Тима, так все ловко разделишь, что нам окромя хвоста ничего не достанется.

– Ну, хвост не хвост, а холодцом наваристым я тебя до зимы обеспечу! За что возьмусь, все до ума довожу. Я у тебя такой! Суши весла, мать, эта корова рогатая сама нас до места доставит. Ишь, как плывет красиво, голова – два уха! По такому случаю и бутылочку распечатать не грех. Гуляем, Паша!

Слушая бахвальство мужа, с тревогой вглядывалась Прасковья в проступающие туманные берега... Берег наплыл внезапно. Из сонного молочного морока навалились на легкое суденышко мохнатые валуны. Паша с Тимой едва успели за борта ухватиться. Почувствовав под собой землю, сохатый судорожными прыжками выбрался на берег. Вынужденное смирение переросло в дикую природную силу.

– Ой, лишенько! Тима, руби веревку!

А чем рубить-то? Еле душа в теле держится. Ветки, пни, кусты, ветки. По камням, по частому ельнику волочил за собой лось старика со старухой, пока промеж сосен могучих посудина утлая ребрами не затрещала. Тут вместе с оторванным прицепным кольцом и веревкой дорвался-таки лось до вольной волюшки.

Паша из кустов можжевеловых выползла, по бокам, по платку сбившемуся руками провела: живая вроде. Из щепок, бывших когда-то любимой лодочкой, «петушок» мужнин – шапочку спортивную, обтруханную – достала.

– Тима, Тима! Ты где, Тимофей?

– Здесь я, неподалеку.

Поднявшись с колен, Паша задела спиной болтающиеся в воздухе сапоги. Зацепившийся фуфайкой за сосновый сучок, муж беспомощно висел в метре от желанной карельской земли. Паша обхватила мужа за ноги, потянула и – в одно мгновение заключила его в цепкие объятия. Целехонек! Только щека да спина сучком поцарапаны. Синяки и шишки не в счет. Дома пересчитаем... Кряхтя и охая, поплелись старики восвояси.

– Паша, а как же лодка?

– Да какая лодка, какая лодка? Ты что, до вечера щепу по лесу собирать будешь? Топор-то нашел? Вот тебя бы, а не сохатого, по лбу тюкнуть, ездун еловый!

– Паша, я того... новую лодку сделаю, еще лучше старой. Митричу, учителю, бутылку поставлю, он мне в чертежах пособит. Я тебе целый корабль нарисую. У меня, Паша, все в руках спорится! Я такой!

– Знала бы я, что ты такой – в девках бы осталась... Чего учудил: лося в лодку запряг! Ладно бы в телегу. Да и то, когда ты последний раз телеги касался? А? Корабль он мне нарисует. Иди уж!.. Съездили мы с тобой, Тима, за веничками. На всю жизнь разговоров хватит. Ни мяса, ни лодки. Только до чертиков по лесу увозились. Эвон, солнце как высоко! Когда еще до дома берегами топкими, кисельными доберемся...

Над озером Куйто, вымывшись с головы до пят в пенном молочном тумане, стоял ясный июльский день.

Об офицерском мундире и девичьей чести

— Приехала! Приехала, Олег! Из самой Уфы! – кричал мне через все расположение батареи Айдар Минихузин. – Что делать, братка?

Что делать, что делать... Жениться! Кто же знал, что она ответу на письмо «счастливому курсанту» поверит. «Полюбил с первой строчки, приезжай – и сразу под венец»... Пошутил – навсегда. Да и какой там венец у татарина?! Ну разве что под колхозным серпом и пролетарским молотом. Благо, 80-е годы на дворе. Вот Айдарик, дружок, всем своим коротким, но мощным телом ко мне и приник, совета просит.

Доигрались!.. А как хорошо все складывалось! На излете пе-

рестройки командование Свердловского артиллерийского училища коллективные увольнения разрешило. Благо, было куда пойти. Кино, театры, музеи... Но постепенно все культпоходы свелись к одному, так сказать, приобщению к прекрасному – вечерам в дамских учебных учреждениях. Медицинское, педагогическое, кулинарное – глаза разбегаются. Девчата тепло и настойчиво зазывали к себе будущих офицеров. Своеобразные соревнования на лучшие посиделки в женских общежитиях устраивали. В конкурсах, танцах и пирожках – отказа не было. Кто желает продолжения банкета, пожалуйста, за отдельную плату и в индивидуальном порядке. В очередной выходной если не в увольнении, то на КПП училища расположиться можно. Опять же без пирожков и газировки это дело не обходилось. А тут и тренировки роты почетного караула не за Уральскими горами. Впору и себя показать. На площади Пятого года на парадах войск Свердловского гарнизона равных нашей роте не было. Ровная коробка. Шаг. Подбородок. «Кричали женщины «ура!» и в воздух чепчики бросали»... Дружок мой, хитроумный татарин, в коробке не ходил. Ростом не вышел. Айдар другим брал. При неимоверной природной силе и вечно набученном виде был он добр и застенчив. Трогателен даже. За что и попадал впросак в безобидных ситуациях. Хотя бы взять это злополучное письмо...

А до того вообще чуть не пропал братка. Из-за любви... к Родине. Недалеко от училища открылось кафе-«стекляшка». Любили мы там с Айдарушкой сочку попить. В увольнении, а когда и в самоходе, девушек угостить. Время с толком провести. Да разве дадут двум молодым интересным людям посидеть спокойно. Тем более 21 апреля, в день рождения Гитлера. Я, может, и не запомнил бы вовсе этого поганого числа, если бы дружок мой любезный к сему руку свою тяжелую не приложил... После праздничных речей и факельного шествия местные неофашисты в «стекляшку» закатились. И один из фаши, в черном плаще, со свастикой на рукаве, об стул Айдарика зацепился.

– Русишь швайн! – прозвучало, как выстрел из стомиллиметрового орудия, в притихшем зале немецкое ругательство. Это татарина-то! Свиньей!..

За то, что за Родину постоял и сволочь расфуфыренную через разбитую витрину на улицу вышвырнул, пришлось Айдару на партийном собрании ответ держать.

– Так, товарищи, – начал собрание парторг дивизиона, – се-

годня рассматривается персональное дело кандидата в КПСС сержанта Минихузина, жестоко избившего гражданское лицо, родственное одному из уважаемых людей нашего города.

Курсанты головы опустили. Тут и до исключения отмолчаться можно! Я руку тяну, с места вскакиваю:

– Да он, товарищ майор, не гражданского, он нациста избил!

Наступила гробовая тишина.

– Так, – решительно произнес парторг, перелистывая страницу протокола, – переходим к следующему вопросу повестки дня...

После собрания вся батарея Айдару руку жала, плечи его могучие охлопывала:

– Молодец, зёма! За честь батареи постоял!..

Молодец-то молодец, а вот с письмом промахнулся. Приехала Айгуль из Уфы, словам «искренним курсантским» поверила. Хотя братке поверить можно. Это я ему, грешным делом, формулировки любовные подсказывал. Так, для разнообразия казарменной жизни письмо сочинять помогал. Айдар не станет через дыру в заборе от суженой улепетывать, он ужас какой совестливый. Из тех, кто после выпуска на КПП, как на мостик корабля жизни, выходит. Лейтенант! Красавец! И замершим от восхищения девушкам командует:

– Эй, курносые, кто за меня замуж пойдет?

Тут уж у кого смелости хватит. Я не про Айдарика. Тот от робости перед женским полом свою ушанку, как тюбетейка ушитую, съест. Я про девушек, что на курсантов заглядываются. Вот кому смелость нужна, чтобы офицерской женой стать. По гарнизонам дальним скитаться. Бывает, что и счастье свое трудное находят, не упускают. За то честь им и хвала. Вот и Айгуль. За любимым курсантом в Свердловск ринулась. Молвы людской не побоялась.

А молва уже на страницах газет прописалась. Две непримиримых первокурсницы мукомольного техникума статью в молодежную газету о вероломстве курсантов накропали. И название же такое ехидное подобрали – «Об офицерском мундире и девичьей чести». Глаза комсомолкам на культпоходы курсантские открыть захотели. Фольклор солдатский позором заклеймить. Мол, «военные вечера в мукомольном техникуме «случками» называют. А некоторые особы на форму военную, как бык на красную тряпку, бросаются. КПП училища толпами осаждают. Стыдно, – пишут подруги. – Наболело».

Наболело – не чеши! Дописались красавицы до того, что от-

цы-командиры культурные мероприятия напрочь отменили. Прощайте, совместные вечера, КВНы, пироги и ватрушки. Индивидуальными героическими самоходами, самоволками то есть, дела не поправишь. А как упомянутое все в той же вредной статейке звание «ловеласов каменных джунглей» оправдывать прикажете? А?.. Возмущенные представительницы передового свердловского студенчества барышням склочным выходку их не спустили. Втемную и всветлую космы намылили. Пришлось подругам в другое учебное учреждение перевестись. А затем и в другой город уехать. Нечего напраслину на мальчиков возводить. Женихов в стенах казенных хоронить. Есть умницы в русских селеньях! Не из обиды они в Свердловск приезжают, а за счастьем великим, за мечтой лазоревой...

Я как Гулю из Уфы увидел, понял – хорошая девушка. Тихая. Симпатичная. Говорит складно, смотрит ласково. И Айдар успокоился. К слову моему прислушался. Все правдой в том письме было! И про любовь, и про свадьбу. Да и как по-другому, я ведь через полгода на той свадьбе свидетелем был! Правда, когда за длинный стол аксакалы, родственники с обеих сторон сели, оконфузился маленько. Жениха и невесту поздравил. Хотел тост за дружбу произнести, а вышло – за службу. За славу русского оружия, победы Дмитрия Донского и Ермака Тимофеевича вызвались выпить... пять человек. Пришлось мне срочно обходные маневры искать, на ходу речь свою перестраивать и – попросить потомков Батыя к тосту присоединиться. Встали все. Даже местный мулла со скамейки поднялся, пропел чего-то и весело, как станковый пулемет, в четки застрочил... Гильзу от артиллерийского снаряда, на два с половиной литра, по кругу пустили... Правда, халтурили правоверные. Только бороды в водку макали. Так что вскоре ко мне одонок литровый обратно в руки приплыл. Пришлось за честь офицерского мундира отдуваться...

Когда сознание мое отключилось, братка рассказывал, как меня от недоумевающих гостей уводил, как поперек брачного ложа на покой укладывал и как мы пели, обнявшись, неувядаемый батарейный шлягер: «Полчаса, полчаса до подъема осталось, и опять в самоволке «мотор» я ловлю. Полчаса, полчаса, несмотря на усталость, я люблю это время, бесконечно люблю! А-а-а! А-а-а!»... Люблю, Айдар! Люблю, Гуля! Люблю!!!

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ...

Вот женщина русская, некрасовская, на трех халтурах работает. Домой в ночь полярную ворочается. Да еще с сумками, по мрачным закоулкам. На мост вышла – совсем в глазах потемнело! Впереди мужик руки растопырил! Идет сторожко, как паук на жертву наваливается. Делает вид, что под ноги смотрит. Кепку на глаза нахлобучил. Ой, мамонька! Маньяк! Щекатило! И бежать некуда... Мост длин-н-ный, а сумки тяжелен-н-ные... Эх, была не была! В заботе о ближних, исключительно из самообороны, ринулась женщина вперед и – хлоп насильника сумкой по голове. Другая авоська грохнула широкое оконное стекло, которое гражданин от самого магазина домой пер... От контузии внезапной мужчина не скоро в себя приходить начал, дорогу обратную вспоминать. Хорошо хоть женщина сердобольная попалась. Не бросила в темноте. До троллейбуса довела. Есть еще женщины в русских селеньях! Выслушала, посочувствовала:

– Фулюганы кругом, житья от них нет! То футболисты, то каратисты! На всех стекол не напасешься...

ЕЛКИ-СОСЕНКИ

По весне выбрались мы с супругой к моему деревенскому дядюшке. И повод весомый – юбилей. Живет дядя Володя с самого рождения в поселке Салми, что в переводе с финского значит пролив. Много финно-угорского в карельских названиях: ламба – лесное озеро, ваара – гора, суо – болото. Но это к дяде моему никакого отношения не имеет. Корни его – с Вологодчины. Хотя... Никуда из Карелии он уезжать не собирается. И мать его здесь похоронена, и отец. Прижился... Живет дядя хорошо. В богатеи и депутаты не лезет. В фирме по заготовке леса работает шофером. Жена-красавица. Три дочери. Дом. Хозяйство. А места-то там какие! Лесные. Озерные. На скалах – сосны крыльями машут. В низинах ельники частые мхи серебряные стерегут. Не зря карельское Приладожье Северной Швейцарией называют.

Сели за стол. Родственники юбиляра хвалят. Звучат тосты. Звякают рюмки. А мне все хочется дядины рассказы послушать. Говорит он о своем житье-бытье живо и охотно. И вот постепенно я его на разговор «за жисть» вывожу да рюмочки для куражу наполняю. Вспомнили о рыбалке. Дядюшка вилку в сторону отставил. Оглядел притихшую родню и начал свой неспешный рассказ:

– Вот, гляди, весна на дворе. Ранняя весна. Еле дождался, ёлки-сосёнки! Юбилей пройдет – не заметишь. А весну каждый год душой чувствуешь. Во как... Волновался, переживал, какая она будет. Ждать ли большого половодья? А самое главное: когда пойдет щука? Уже несколько лет не могу угадать, попасть на «щучьи гулянья». Завсегда в эту пору выкраиваю недельку, чтобы щуку половить. С детства этим увлекаюсь и живу. Без рыбалки да костра на берегу – будто воздуха в груди не хватает. Но то уже прошла щука, то вроде как рано еще, то, говорят, подо льдом отнерестилась. Мало воды, много воды. Поди разбери ее, ёлки-сосёнки. Каждый раз грешишь на какую-нибудь причину. А по большому счету, успокаиваешь себя – должно быть, уже перевелась та щука, какую в детстве, пацанами ловили. А по осени лучить по ночам ходили. И все же, все же... Как на этот раз будет, повезет ли? Уж очень хочется и рыбы поесть, ушицы свежей, да и щукой к юбилею запастись.

В той ламбе, где я сети пускаю с детства, брат мой двоюродный – твой дядя Витя – тоже пускает. Да не гляди, племяш, по сторонам – при народе он в гости ходить не любит. Стесняется. Встречаемся с ним на рыбалке. Когда у меня совсем уж «голяк», он со мной своим уловом делится. Уху-то все-таки при любом исходе рыбалки пробую.

Так вот, настала она, моя разлюбезная пора! Открылась ламба. Пошла щука. Недели две назад был я на долгожданной щучьей рыбалке. Взял с собой зятя Шуркиного. Он с Александрой из Ильинского на выходные приезжал. До рыбалки сам не свой. Впереди меня по лесу чесал. Сапогами по лужам бухал. Торопился. Да рыбацкое счастье от спешки не зависит. Добрались до озера. Топко. Половодье в самую силу вступает. Подтянули рыбацкие прорезиненные комбинезоны и побрели среди кустов и деревьев к своим местам, сети пускать. Тут брат навстречу бредет по воде. Улыбается. Он всегда навстречу идет. О чем бы люди ни попросили – в лепешку разобьется, а сделает. Безотказный. А отблагодарить его трудно – денег не берет, сам ни за чем

не обращается. Иногда заворачивает ко мне на хату, когда с магазина идет. Выпьем по чуть-чуть. Но супружница его, Валентина, нос по ветру держит, тут как тут появляется:

– Давай, Виктор, домой, нечего тут рассиживаться. Погостил и будя.

Тревожится она, чтобы он лишнего не выпил, не дай боже, затянет на неделю. Поздоровались мы, стало быть, с братом, остановились – по пояс в воде.

– Ну, Витя, – спрашиваю я, – как рыбалка. Идет ли?

Брат немного подумал, прищурился, на нас, на небо поглядел и достает из-за пазухи сорокаградусную.

– Сейчас пойдет. Давайте, мужики, по капельке. А то болтаюсь тут один, как пробка в луже. Продрог весь, а выпить не с кем. – Открыл пузырь: – Не чурайтесь, что с горлышка. Стаканы не шишки – на ветках не висят. Ну, давай, Володя, зачинай. Не боись, на троих быстро справимся. Каждому – по пять бульков будет. Проскочит как родная. Проверено.

– Да ты, что, – говорю, – как ее без закуски пить-то?

– Да, мужики, закуски – никакой... Валька меня всего «обшмонает» перед рыбалкой. Я вижу, да молчу, делаю вид, что не замечаю. Ну все проверит! Чтобы «шкалик» спрятать, разведшколу пройти надо. Какая тут закуска... Но я приспособился! Накануне бутылку куплю и в сети ее спрячу. Пока жена обыск производит, сети на виду лежат, да неприглядные больно. Тина, чешуйки... Тину, конечно, на зуб не положишь. А вот этот продукт на закусь в самый раз будет! – и достает из кармана еловые веточки: нежные, ярко-зеленые, весенние.

– Елки-сосёнки! Что ж мы, дерево грызть будем?

– Закуска – мировая! И самое главное – запаха никакого. Дыхну на Валюху, бывало, после такого аромата – лесом, сосной пахнет...

Взяли мы с зятем по веточке. Стоим, мнемся. Волну по пожне поемной гоним. Выхватил тогда брательник из моих рук бутылку. Сделал пять глубоких бульков, крякнул и показал нам, как закусывать надо. В жизни бы не подумал, что буду закусывать хвойными веточками! Такое только на рыбалке и возможно. Выпили. Веточки пожевали. Поставили сети да пару капканов на щук поголовастей. К вечеру домой засобирались.

Дома супруга моя Тамара спрашивает, как сходили, был ли Виктор, как у него рыбалка идет. Переглянусь мы с зятем да смеха сдержать не можем. Рассказали ей, как мы старательно кисточки хвойные, как гузки куриные, нахваливали, стоя по по-

яс в студеной весенней воде. Посмеялись от души. На следующий день снова собираемся на рыбалку, супруга выносит пакет.

– Что это? – спрашиваю.

– Возьми, там бутылка, угости Виктора. Да и сами закусите хорошенько...

О как, племяш, тетка твоя наше мужское племя понимает да радует! Родню не забывает. Худого не думает. А с Витей на рыбалке – одно удовольствие! Все рыбьи повадки знает: когда жор, когда нерест, когда щука зубы меняет. Завсегда секретами рыбацкими поделится. Добрый он, бескорыстный и честный. Ну, а с выпивкой, так это же для интереса. По случаю. Аль после баньки. Ты в баньке моей вчера парился? Ну как? Вот то-то же! Елки-сосёнки! Ну, наливай по целой, а то уйду...

Ну, куда он уйдет? Так, дня два с ребятами из леспромхоза по случаю своего дня рождения покуролесит. Да и возраст уже не тот...

– Дядя Вова, – спрашиваю, – а рыба-то пойманная где?

– Как где? – ответствует дядька. – Вся на столе! Ну, за исключением двух чищеных щукарей, которых мой зятек в ручей упустил.

На столе дыбилась жареная щука, соленый сиг, рыбник с рябушкой. На плите в большой эмалированной кастрюле дымилась и благоухала уха...

– А что это, – продолжаю я, – история такая со щукарями?

– История свежая, как эта щука! Взялся зять на взгорке юшку сварганить, пока мы с Виктором на резиновой лодке сети на глубине проверять поехали. Костровой картошку почистил, двух щукарей-«напильников» распотрошил, хвороста в огонь подкинул и за водой пошел. С котелком. И надо было ему щук у костра оставить, а не с собой нести. Только котелок в воду опустил, а «напильники» шасть и – по ручью в дальнее плаванье отправились. Как есть, без внутреннего содержания... Пришлось ему нас дожидаться. Тройную уху из щук и рыбной мелочи варганить. Воды он уже в ручье набрал: и в котелок, и в чайник. Кашевар, ёлки-сосёнки!..

Обсудили зятя, Витину рыбалку...

– Дядя Вова, – подначиваю я юбиляра, – помнится, и вы на рыбалке маху давали. На Ладоге с батей моим полкарбаса рыбы наловили. Всю ночь у костра «гудели». А утром хватились – всю рыбу чайки перетаскали!..

Да дядюшка меня будто и не слышит – на другой разговор переключился. Все больше женой поворотливой, хозяйством, банькой жаркой похваляется. Да привирает малость:

– Я, племяш, по весне так в байне своей напарился, что веник от жара едва не расцвел, поставь в банку из-под пива – сейчас сережками брызнет! Вышел из парной в солнечный веселый день в одних шлепанцах, лег на тощий мартовский снег и – уснул. Проснулся, а вокруг меня трава оттаявшая зеленеет. Пар от земли идет весенний, теплый...

Привирает, конечно, не без этого. А когда и правду расскажет – не сразу поверишь. Вот хотя бы – свои охотничьи байки. Да под разговор неспешный...

Хлопнули по рюмашке. Капусткой хрустнули.

– А что, говорю, дядя Володя, в лесу-то еще живность какая имеется? Ходишь ли на охоту?

– Да какая охота. Так, изредка ружьишко с собой прихвачу, когда в соседний леспромхоз выезжаю, или так, прогуляться... Тут по осени со мной одна оказия приключилась. Выехал я на своей «Ниве» в сторону деревни Мансила. Собаку выгулять. Воздухом подышать. Ружье в машину кинул на всякий случай. Перед деревней свернул с трассы, выехал на лесную дорогу. С километр всего проехал. Вижу, посередине заросшей дороги лиса сидит. Я остановился. Ружьишко в окно высунул. Ну, держись, Патрикеевна! Бах картечью с двух стволов! Ружье у меня на дичь заряжено было. Лиса – брык и на спину повалилась. Собака из машины выскочила, залаяла. Цыц, говорю, Найда! В лес, в лес беги. Я тут сам справлюсь. Поднял я плутовку за хвост: хороший экземплярчик, не линялый. Бросил лису в багажник. Зарядил ружьецо. И в лес зашел. Только зашел – глухарь на ветке сидит. Крылья топорщит. Ну, думаю, у меня тут царская охота начинается. Успевай заряжать! Сбил я глухаря. Несу добычу к машине. Вижу, собака моя вокруг «Нивы» круги нарезает, брешет, как оглашенная. Подхожу к машине... Елки-сосёнки! Лиса-то живая! Как в сказке про старика и рыбу. То ли притворилась кума, то ли выстрелом ее слегка оглушило, но загадить машину мою собралась основательно! Багажник с салоном – одно целое. Вот и мечется рыжая то туда, то обратно. Двери распахнул – не выходит. Эх, была не была! Сдергиваю я с плеча ружье и – при очередном прыжке лисы на заднее сиденье – на курок нажимаю... Когда дым в салоне рассеялся, вижу я неприглядную картину: лиса – без головы, в сиденье дыра здоровенная, и все вокруг кровью и мозгами забрызгано. Вот незадача. Выбросил я лису безмозглую из салона. Кое-как у ручья сидушки ополоснул и домой поехал. Собака скулит. На душе худо. В кои веки взялся поохотиться – и вот тебе результат.

Хорошо хоть глухарь, дробью нашпигованный, не улетел. А то – никакого оправдания перед супругой. Одни расстройства.

Подъезжаю к дому. А у ворот поселковая забулдыжка стоит. Ждет, когда я из машины выйду.

– Дай, – говорит, – Вован, сто рублей до получки. Я обувку себе купить хочу непромокаемую. От сырых ног, бают, перхоть в волосах заводится, – и на тапки свои драные любуется. Пальцы из дырок топорщатся, шевелятся поочередно, жалостливо. Я кошелек открываю, достаю стольник:

– На, покупай хошь тапки от перхоти, хошь колготки против сутулости. Но смотри, стошку через неделю вернешь! А то получки твоей до смерти не дождешься...

– А может, ты меня и до магазина довезешь? – загорелась пьянчужка.

– Садись...

Открыл даме дверцу, а сам домой глухаря и ружье понес. Возвращаюсь. Стоит забулдыжка у открытой двери. Дрожит. Рот бумажкой сотенной прикрывает. Увидев меня, за машину спряталась.

– Ты... Ты кого убил? – и в стекло заляпанное пальцем тычет.

– Как кого, – говорю, – соседа твоего, Кольку. Он мне месяц долг не возвращал. А у меня с должниками разговор короткий...

Смотрю: боком, боком – перепугавшаяся баба от меня в сторону улицы попятилась. Да вдруг как побежит, как заорет. Долго еще тапки ее «непромокаемые» при дороге валялись... Вот такая, племяш, история. Ну, давай еще по рюмашке! Нечего закуску в еду превращать. Елки-сосёнки!

Наутро я к дядюшке заглянул. О здоровье справиться. Дядька только-только ногами могучими половицы под лавкою притомил. Головой хмельной воздух бодает.

– Что, дядя, – сочувственно произношу я, – голова болит? Может, рюмочку?

– Не... Я, племяш, локти грызть буду, зубы крошить, но похмеляться – ни в жизнь!.. Я лучше литр водки куплю и снова – напьюсь. Похмелье – последнее дело...

Хороший у меня дядя. Рыбак. Охотник. Рассказчик занятный. И выпить может, когда душа того требует. Благодаря ему, и дяде Вите, и тете Тамаре живет деревня. Историями необыкновенными полнится.

АФРИКАНЕЦ

Был у меня в армии дружок – Леха Зайцев. Ничем из себя не примечательный. Ну, строитель по специальности, в деревне на Орловщине вырос. Так по этим меркам в советские годы хоть каждого второго из строя выводи. Леха не тем нашему ракетному дивизиону, окопавшемуся в эстонских лесах, память о себе оставил...

Прибыли мы в учебку по весеннему призыву. Построились. Самый последний в строю – Зайцев. Маленький, щуплый, большеголовый. Пригорюнится, голову опустит – сразу на пять сантиметров меньше своего полутораметрового росточка становится.

Как-то после ужина Алексей разговор в расположении затеял:

– Я, – говорит, – в армию пошел, чтобы окрепнуть и подрасти, а не позади строя хвостом вилять. А что для этого делать – не знаю...

Мы с ребятами переглянулись. Заяц-то, как мы его в батарее прозвали, чудит по полной программе. Ну, мы ему в том пособим, с нас не убудет.

– Ты погоди, – успокаиваю я Зайцева, – хвост поджимать... Вот в центральной Африке племя одно есть, люди там высоченные. Ниже двух метров во взрослом состоянии – большая редкость. А все почему? Танцы у них ритуальные с прыжками связаны. Раскрутят хоровод вокруг костра на хорошую погоду и ну прыгать да в прыжке диком к небу вытягиваться. Аж до экстаза. Хочешь не хочешь, а со всеми сородичами через полгода в росте сравняешься. Тут не африканское колдовство какое-нибудь, а наука, основанная на физиологическом, традиционном знании человеческого организма. Вроде и рядом с пигмеями обитают, а развиваются в настоящих великанов – было бы желание.

– Так что, – подхватили мою шутку ребята, – скачи, Зайчик, в лес. За лето подрастешь...

А желание подрасти у Алексея было огромное. В свободное вечернее время кто письма домой пишет али к завтрашнему дню готовится: хэбэшку гладит, подворотничок подшивает. А Заяц в лесу прыгает и прыгает вплоть до информационной программы «Время». Бывало, и до подъема вставал, прыжки наращивал, все дальше в лес углублялся. По мере освоения окружающего леса его ритуальное кряканье становилось все тише

и глуше. А потом и вовсе я Леху из вида потерял – после учебки раскидали нас по разным дивизионным точкам...

Через полгода я за какой-то надобностью в часть наведался. Стою в гарнизонной чайной в очереди за пирожками, вдруг кто-то мне плечо лапищей притомил. Тяжело. Ласково. Оборачиваюсь: парень – жердина высоченная – на меня смотрит, улыбается:

– Здорово, Володя! Не узнаешь?

Как же узнаешь такого...

– Да это ж я, Леха Зайцев!

Мать честная, Леха! Мосол-то какой вымахал! Выше меня на всю голову.

– Да как же ты, Заяц, – спрашиваю, – так заматерел?

– Да все ж по вашему совету! Как на точке ПВО угнездился, сразу тренироваться начал – лесу вокруг много. Как негр в африканском племени в прыжке до веток сосновых доставал: вцепишься в какую – повыше да потолще – и ну качаться! Вот и росту набрал на метр девяносто.

Я рот раскрыл: бывают же чудеса на свете! Ежели не чертовщина какая с Зайцевым приключилась, то точно гены африканские в товарище армейском пробудились. А этим генам все равно, на чем вытягиваться, – на лианах или ветках сосновых. Пока я мозгами ошарашенными в голове ворочал, Заяц дружески так от прилавка меня оттеснил, одной лапищей пять бутылок лимонада, другой кулек пряников заграбастал и – вперед, своих догонять. Его точка далеко от военного поселка стояла. Машина ждать не будет...

Было время, на нашей противоракетной точке КПП* новое возводить решили. Спецов по дивизиону кликнули: каменщиков, плотников. Глядь, и Заяц здесь! Над шеренгой строителей возвышается, мне издалека рукой машет. Вот так встреча! Вечером в каптерке, где я на заведовании, за разговором учебку, ребят вспомнили. Командиры на наши вечерние посиделки внимание не обращают. После смены солдат на точке – свободный человек. А уж тем более каптерщик. Да и лес кругом. Ближайшая деревня по дороге в тридцати километрах. Но лесом – всего пятнадцать. Это для бойцов-пэвэошников не расстояние.

---

* КПП – контрольно-пропускной пункт.

Однобатарейцы давно туда тропинку протоптали – до подъема самогонкой запастись успевали, исключительно для сохранения обороноспособности страны. Она, самогонка, для дезинфекция организма на точке, локаторами обставленной, – первейшая необходимость.

Решили и мы с Лешкой в деревню сбегануть. За разговорами ночь пройдет – не заметишь. А со свиданьицем сто грамм замахнуть не грех. Побросали вещмешки за спины и – в лес, в родную для Лехи заячью природу окунулись. Бежим. Хвоя под сапогами хрустит, птицы по кустам шугаются. Небо все темнее и темнее становится. Вдруг впереди огонек засветился: стоит при лесной дороге эстонский хутор. За плетнем на полянке лошадь стреноженная пасется – серая в яблоках. Зайцев – родом из Орловской деревни – к лошадям приучен. Недолго думая, лошадь развязал, веревку ей в зубы сунул и – геть! – через забор. Я от неожиданности происходящего к лесу попятился и мигом сиганул по проселку, как спринтер-чемпион. Гляжу, Леха уже впереди меня на лошади скачет. А позади топот не смолкает: хуторянин проворный следом увязался. Бежит, ругается.

– Курат, – кричит, – курат![**]

– Сам ты курат!

Обернулся на крик Леха. А потом меня поторапливать начал:

– Садись быстрей, догонит!

Но хозяину лошади далеко до нас было. Вот и начал он камни в темноту швырять. Когда одна из каменюк около моего уха просвистела, Леха, несмотря на робкие протесты, за шкварник втащил меня на лошадиный круп. Вернее, поперек крупа. Так что яблоки на шкуре кобылы перед моими глазами еще километра два отплясывали, пока мы от погони окончательно не оторвались...

Развернулся я на лошади как положено – к хвосту задом, к Лехе передом. Да все одно не лучше. Все хозяйство о круп лошадиный отбил – до печенок. И как ни изловчись – трясет и трясет. Так до деревни в тряске и доехали. Я кое-как с лошади сполз. Ноги – колесом. Хэбэшка вся липкая стала от лошадиного мыла. А вонючая – дышать страшно.

– Ну что, – хохмит Леха, как ни в чем не бывало, – где тут самогоном заправиться можно?

** Курат – черт *(эстонск.)*.

– Да вон в той крайней хате, – говорю, – где окно светится. Женщина одна продает, в летах уже.

– Да это не окно светится, – всматривается в темень Заяц, – это крыша дома горит!

И правда! – огонь под конек крыши взлетает, дым с ночью клубами черными сливается. Мы к дому побежали, а кобылка смышленая хвостом нам на прощание махнула и восвояси потрусила. Алексей к двери дома чадящего подбежал – та изнутри на щеколду закрыта:

– Точно здесь старуха живет?

– Да точно, – кричу, – кроме нее в хате быть некому!

Не раздумывая, Заяц вещмешок в бочке с дождевой водой намочил, вокруг головы обмотал, так, чтобы только одни глаза в щелку глядели, дверь могучим плечом вышиб и скрылся в дыму. Через некоторое время появился – с бабкой под мышкой. Мы ее к плетню посадили, по спине похлопали, водой сбрызнули – очухалась бабушка. Ртом воздух хватает. Как раз к ее счастливому воскрешению селяне с ведрами и лопатами подоспели. Самогон в хате уже погромыхивать начал. Я в цепочку встал – ведра от колодца подавать. Тут меня кто-то в темноту за локоть потащил. Смотрю – Леха!

– Ты что тут делаешь? – шипит.

– Пожар тушу!

– Давай, Вован, отсюда ноги делать! Сейчас пожарные подъедут, расспрашивать начнут: кто обнаружил, откуда будете... А мы с тобой – в самоволке! Почапали на точку. Еще пятнадцать километров по лесу топать...

Поспешили мы с ним, как могли, обратно. Я потихоньку. Хэбэшка смердит. Седалище саднит – спасу нет! На пожаре не до того было. Сейчас и в раскорячку идти невмочь, а Зайцеву хоть бы хны. Вперед убежит, потом стоит, дожидается, пока я до него доковыляю. Шутит:

– Ну, как тебе нравится сама гонка?

И лыбится, лыбится, феномен медицинский! Африканец! Все люди как люди, а этот выпрыгнул на два метра, а ума не нажил. Скотину бессловесную в стресс вогнал. Из горящего дома ни одной бутыли самогона не спас. Ну, думаю, доберусь до казармы, я все Зайцу в каптерке о его прыжках и закидонах выскажу!..

А как в расположении сапоги скинул, форму, потом лошадиным и дымом пожарным провонявшую, в тазу замочил, в чистое исподнее переоделся – благо каптерка во владении – чайку заваристого хлебанул – и злость моя куда-то улетучилась. Пос-

телил я Лехе, вымытому, ухоженному, в углу каптерки постель на дивизионных матрасах, сменную хэбэшку выдал, чтобы утром на построение было в чем выйти, и без сил на койку бухнулся. Разлилась по моему телу покойная, блаженная истома. Прокручивая в голове, как индийское кино, налетевшие на меня события, выдохнул:

– А ты молодец, африканец...

– Чего? – донеслось из темного угла каптерки.

– Ничего! Спи, говорю.

– А-а, – повис в рассветной тишине сонный голос друга.

Вскоре пережитое мною приключение – ночь, лес, лошадь, топот погони, пожар, всхлипы погоревшей бабуси – затуманила желанная муть мгновенного солдатского сна...

ОНЕЖСКИЙ ВЕТЕР

– А если, – блаженствовал в сторожевом вагончике-бытовке у своего заводского приятеля Николай Рябушкин, – на месте этой стройки музейный комплекс соорудят! Корпуса стоят. Только экспозицию завезти, ну там пушки, ядра, чугунное литье, чем завод наш Онежский тракторный завод знаменит был. А, Митрич? И для трактора место найдется! Только пошуметь малость надо, народ растормошить. Ишь, как тут все экскаваторами разворочали... Мы же заводские, живем рядом, неужто родную улицу в обиду дадим! Тут же вся жизнь наша, Митрич, прошла, с 14 лет за станком. Эх! – развел Рябушкин в стороны обрубки обмотанных тряпками рук. – На этой улице подростком гонял по крышам голубей и здесь, на этом перекрестке, с любовью встретился своей!

– Тебе б все шуметь, – Митрич спокойно оглядел набившуюся в вагончик компанию. – А надобен ли народу этот шум? Музей... Вот наш Онежский тракторный по-тихому за город перевели, в замороженные корпуса. Второй площадкой ОТЗ обозвали. Яма на яме. В цехах страхолюдных только в пин-бол играть сподручно, да и то шею сломишь... Пропал завод. Еще в ельцинские времена бандюганы через десять рук пропустили. А теперь, вишь, на вторую площадку...

– Не горюй, Митрич! – не унимался Николай, принимая

культями кружку с плещущейся на донышке водкой. – Может, все еще образуется. Отстроится. И пойдем мы с тобой через проходную меж заводских корпусов, как по проспекту.

– Эка тебя начальство оболванило, Уникум. То, что раньше было – забудь! Не для дела завод за город перенесли, а чтобы с глаз долой, из сердца вон... А на месте этой стройки коттеджи стоять будут. А ты – музей! Так тебе центр города под экспозицию и отдадут!

– Да полно тебе, Митрич, – встрял в разговор худой, бомжеватого вида мужичок, – тут за два века мазута и масла машинного пролито в глубь – на многие метры, нефть качать можно. Какие коттеджи...

– Надо будет, и нефть выкачают и речку Лососинку в другое русло повернут. Богатеи денег считать не будут. А землю, потом трудовым политую, на песок заменить – дело времени.

– А наши с тобой жизни, Митрич – тьфу? Как же так – без завода? Я – плоть от плоти его, я руки свои ему отдал! Не верю я тебе, Митрич, не верю!

– Да не верь, блаженный! – Митрич смачно выругался и сплюнул в мусорное ведро. – С меня от того не убудет... А тебя, Уникум, жизнь так ничему и не научила. Водкой глаза залил, и – счастье! А было ли оно у тебя, калеки, счастье? Было?

– Было!

Как есть, без шапки, размазывая культями брызнувшие слезы, выскочил Рябушкин в завьюженный февральский вечер.

Выскочил и остановился. Куда идти? Дома без жены и детей – холод смертельный. А согреться надо. Ветер, рвущийся в пойму Лососинки с метельных просторов Онежского озера, одурь хмельную из жил выдул... Разве что к сыночку заглянуть? Он, поди, допоздна в конторе засиживается. Адвокат. Кровинка дорогая. Побрел Николай к центру города, пряча лохматую голову в поднятый ворот пальто. Культи в рукава. Так больше на человека похож. А было время, он на этих руках сынишку высоко в небо подбрасывал, когда из садика забирал. И ничего счастью его не мешало... Вот как оно все повернулось. Все судьба Николаю давала, все и отнимала. Порывы снежного ветра выворачивали наизнанку всю его трудную жизнь. Будто вновь обожгли кисти пневматические ножницы, которыми он по молодости арматуру в цехе резал. Гайка какая-то отскочила, раньше времени лезвие вниз скользнуло. Он тогда даже сознание не потерял. Видит, кровь из рукавов хлещет. Да шлифовщица Клавка орет на всю Ивановскую:

– Да перевяжите его кто-нибудь!

Перевязали. Укол сделали. Поторопились тогда товарищи, кисти обрубленные в ящик со льдом поместили. С вертолетом дирекция договорилась. В тот же день операцию уникальную в Ленинграде сделали. Пришили Рябушкину кисти, да так, что через полгода он как ни в чем не бывало станки сложные к смене готовил. Николая по причине его уникальности в наладчики перевели. Но Уникумом его на заводе прозвали не за это. Стал Николай после работы на баяне батином упражняться, руки разрабатывать. Да так наловчился, что лучше прежнего мелодии схватывать начал. Стали Николая на заводские концерты приглашать, собрания и конференции бравурным маршем завершать. Чтобы лаптем на митингах не сидеть, Николай историю завода изучил. Бойко так перед делегациями разными речи толкал. Как-то даже Рябушкина в Москву на комиссию повезли. Поохали профессора, медицинские светила, руки Рябушкину покрутили, в глазки заглянули и восвояси отпустили. Что тут скажешь – уникум! Свалилась на Николая неожиданная слава. Самая красивая девушка в цеху к нему первая подошла, в кино пригласила. Через месяц заявление в загс подали... Было, было у Рябушкина счастье! Когда «Полет шмеля» на баяне подобрал, и когда Димку под облака подбрасывал, и когда Машу встретил. Как хорошо у них тогда все завертелось!.. Завертелась, закружилась вокруг Николая февральская вьюга. Но вот и контора сына. Хлопнула тугая входная дверь. Охранник брезгливо оглядел помятого продрогшего человека и поднял телефонную трубку:

– Дмитрий Николаевич, тут к вам пришли. Да, опять он...

Спустился сын, стыдливо и быстро сунул Николаю в карман пальто сторублевую бумажку.

– Я же тебе запретил сюда заходить... Больше чтоб ноги твоей здесь не было... Позорище!

Выставил Николая за дверь охранник, он даже не успел поблагодарить Димку. По морщинистым щекам Рябушкина текли и тут же застывали на морозном ветру мутные слезы. Эх, кабы поговорить! Не хотел он тогда в тещиной квартире дебоширить – это все водка проклятая! Да сын ведь не поймет... Ему теперешняя отцовская беда не ко двору. А как все хорошо начиналось: свадьба, рождение первенца, собрания, праздники, почет и уважение. После хвалебных речей и чествований, как водится, наливали. Домой на «Волге» подвозили чуть тепленького. Ну и пошло поехало. С наладчиков за систематическое пьян-

ство сняли. Маша на развод подала. К матери перебралась. Только вещи свои забрала... Тошно в квартире одному, да собутыльники тут как тут. Сперва зарплату ждут, потом пенсию... Как-то по пьянке зимой уснул в сугробе. Люди добрые мимо не прошли, «скорую» вызвали. Оттяпали ему доктора рученьки! Ровнехонько по старому шовчику. В больнице думал руки на себя наложить, да крепко-накрепко култышки медсестрами забинтованы... После того как из больницы выписали, месяц в доме сестринского ухода пробыл. Больше нельзя, не положено. Соседка, дай ей Бог здоровья, по дому помогает. Товарищи по цеху не забыли: прищепку хитроумную на культю приспособили, так, что ключ из кармана достать можно, дверь отпереть. Живи, говорят, Уникум! Живу, братцы, живу... Выудив из кармана смятую денежку, пошел Николай в магазин. Привычным движением сорвал с горлышка пробку и до половины отпил пахучей дурманящей влаги. Теперь домой! Неровной шаркающей походкой поплелся Рябушкин в свой заводской район. Родная улица встретила Николая долгим стонущим порывом онежского ветра. Нет. Сверну-ка я лучше к Митричу, решил про себя Рябушкин, тут перекантуюсь... Строительная площадка окружила маленького человека кромешной темнотой и острыми уступами вылезающих из-под земли строений. Несколько раз кувырнувшись, Николай уткнулся во что-то спиной и затих. Закрывая запорошенные снегом глаза, он уловил в завывании вьюги далекую знакомую мелодию: «У-у-ли-ица ро-о-одная...»

– Да сколько мы еще с этой стеной вошкаться будем? – опустил кувалду молодой подсобник. – С утра до вечера долбим и долбим, а только снег с этой развалины вспугнули!

– Что ж ты хочешь? – спокойно ответил напарнику рабочий постарше. – Эта кладка, Володя, еще Александровского завода, на куриных яйцах. Старики сказывали, до войны Святодуховский собор на площади взрывали, так трижды храм дымом окутывался, а все равно стоял. Во какая кладка была, какая вера! Вон, слышишь, звонят? Это колокола храма Александра Невского. Его, говорят, в старину на деньги рабочих построили, из жалованья по 2 копейки с рубля отсчитывали.

– Сдается мне, Михалыч, что с нас не две копейки, а ползарплаты вычтут, если мы эту кладку на...курином навозе не своротим. Эх, сюда бы толовую шашку...

– Глянь-ка, тут человек лежит... Ба, да он уже окоченел!

– Да это, кажись, безрукий Николай! Он к Митричу захаживал часто. Отмучился бедолага... Все, перекур. Милицию вызывать надо...

Безучастный ко всему окружающему – брезжащему утру, беседующим рабочим, нервно курящему сигарету за сигаретой Митричу – Николай лежал, раскинув заиндевелые культи, которые, словно выросшие за ночь белые искрящиеся крылья, притянули его к щербатой заводской стене. Навалившись на багровые ощерившиеся кирпичи, он будто закрывал собой от надвигающегося равнодушного зимнего дня часть старинной каменной кладки. На его исколотом вьюгой лице застыла кроткая и блаженная улыбка...

БУДНИ ЧЕРКЕССКОГО ОМОНА

Я Казбек. Друзья называют меня Кузей. Я не обижаюсь. Все мы братья: и русские, и карачаевцы, и черкесы. Мы должны чувствовать плечо друг друга, идя в горы, в ущелья ваххабитов...

При первом сборе сводного карачаево-черкесского ОМОНА, стоя спиной к галдящей группе земляков, решил прикурить, спрятав зажженную спичку от ветра, и... обжег палец. «Эфиоптвоюмать!» – разнеслось над притихшим батальонным плацем. Обескураженный наступившей тишиной, оборачиваюсь и вижу перед собой здоровенного лилового негра в новом камуфляже и значком ОМОНА на широкой груди. Действительно эфиоп оказался!

Боря, так звали обрусевшего эфиопа, был женат на местной девушке. Был счастливым отцом и любимым зятем.

При очередной отправке ТУДА сводного отряда существует неписаный и ревностно чтимый обычай: награждать отъезжающего легкой пощечиной, чтобы при возвращении вернул... Подъезжает на привокзальную площадь Боря со всем семейством. Я, как водится, подхожу и без разговоров шлепаю ладошкой по фиолетовой щеке. Но, признаться, не рассчитал... Шлепнул от души... Другой бы понял. А Боря сходу зарядил мне в ухо. Я в ответ. И пошло-поехало... А тут еще теща выхватила из авоськи палку колбасы и давай ею мне по макушке дубасить:

– За Борю! За Борю!

Добрый парень Боря. А шуток не понимает. Бывало, увидит на заляпанном, запыленном БТЭРе надпись: «Это не Боря – это грязь!» Вскипит! Обидчиков ищет... А тут на замену в Грозный (стояли мы в квартале от пл. Минутка) необстрелянных контрактников прислали. Ну, встреча, разговоры, передача боевого опыта... И тут меня как подтолкнуло.

– Пацаны, чё расскажу! Тут к нам недавно арабский наемник перебежал, в нашем батальоне служит!

– Да иди ты!?

– Айда за мной, покажу...

В палатке, шлепая пухлыми губами, мирно спал Боря. Почувствовав сквозь чуткий дневной сон чьи-то настороженные посторонние взгляды, Боря очнулся, ошарашенно озираясь вокруг:

– А? Чё?

– Гляди-ка, он и по-нашему чешет! Ай да араб!

Увидев-таки за плечами ребят мою хитрую шкодливую физиономию, Боря не стал ожидать более углубленного осмотра своей скромной персоны и с криком: «Опять ты, Кузя!?» – выгнал пинками и зуботычинами из палатки всех благодарных зрителей.

ЖЕНИХ

Приехал в один поволжский городок жених. Военный. Серьезный. В дальнем северном гарнизоне, вернее в близлежащем поселке, местная продавщица его с племянницей познакомила, которая к ней в гости приехала. Девушка симпатичная. Между молодыми людьми чувство образовалось. Военный девушку в офицерское общежитие пригласил, комнатенку свою холостяцкую показать... С ответным визитом долго не тянул. Спустя полгода, как подружка домой укатила – воодушевленная, отдохнувшая, он перед ее очами заявился. Была середина лета. Волга манила горожан прохладными берегами. Шумели тенистые парковые аллеи. Девушка его ждала очень-преочень. Привечала как родного. Щебетала с ласковой доверчивой улыбкой о маме, о домашней кошке, о жареных баклажанах, о своей девичьей любви к артисту Евгению Герасимову, обо всем, что казалось ей важно, просто необходимо знать от-

пускнику-офицеру в эти счастливые летние дни. Разносолами потчевала. И родители жениха ждали. Ждали... предложения. Дочь-то в девках засиделась. А военный все больше на красоты местные любовался: набережную, парки, архитектуру. С утра до вечера девушка суженого по городу выгуливала. Заводила, будто случайно, к знакомым, показывала свою бухгалтерскую контору. Знакомила с подругами, сослуживцами. В укромном скверике, присаживаясь на скамью, тесно к жениху прижималась, выжидательно заглядывала в глаза. А военному было жарко, неудобно, утомительно в столь чудный солнечный день говорить лишние нежные гражданские слова. Он снова, взяв ее под руку, бодро маршировал по улицам незнакомого города и пел солдатские песни. Он был весел, беспечен, от его гарнизонной серьезности не осталось и следа... Однажды девушка не выдержала и сорвалась, отдернула руку, наговорила военному кучу неприятных слов, размазывая слезы по щекам. Потом, конечно, долго извинялась, просила его не обращать внимание на ее плохое настроение. Обещала ничем его не попрекать, не торопить драгоценное время ежедневных городских прогулок. А жених будто окаменел, посерьезнел и через неделю уехал. Уехал навсегда. Так и не узнав, почему тихая поволжская девушка не любит солдатских песен...

БАНДЮГА

Геннадий Бандюга никогда не был удобным подчиненным. Ни будучи курсантом артиллерийского училища, ни взводным, ни в должности командира батареи. Бандюга был человеком действия и отчаянным правдорубом.

Инициатива в армии никогда не поощрялась, а способность Геннадия говорить правду-матку в глаза в присутствии служивого народа выводила из себя командира дивизиона Гусенцова. Технику энзешную в боксах разукомплектовали, полевую кухню на полигон не подвезли, горячей воды в бане не натопили, портянки дырявые выдали – комбат уже в штабе дивизии докладывает, через две головы. А то и батарею свою в знак молчаливого протеста на плацу выстроит, на приказы не реагирует, пока «справедливость» не восторжествует. Начальство армейс-

кое долго на бандюгинские бунты сквозь пальцы смотрело, ценило комбата как специалиста, но однажды, как говорится, терпение лопнуло. Отлично зарекомендовав себя на окружных стрельбах, за успехи личного состава вверенной батареи в боевой и политической подготовке Бандюга досрочно получил майора, но за свою несговорчивость и своенравие был отстранен от командования и перекинут обратно – на взвод, на лейтенантскую должность. Случилось это как раз во время, когда нелюбимого Гусенцова назначили дивизией командовать. Жаловать было некому. Быть может, поэтому неуступчивый и строптивый офицер стал часто и много выпивать, приходить на развод воинской части с устойчивым запахом спиртного, развелся с женой и был переведен на должность начальника склада. Так постепенно опальный майор потерял интерес к службе. Затих на своем вещевом складе. А командиру дивизии того и надо было: с глаз долой, из сердца вон. Ублажил ретивое Гусенцов. Успокоился. Так, по-тихому, и простил бы майора – перевел бы на какую-нибудь престижную штабную работу. Если б не очередной бандюжий закидон.

По осени, после вечерней проверки собрались ответственные по подразделениям офицеры в курилке около дивизионного плаца. Курят. Разговаривают. На солнце закатное смотрят, на деревья облетающие любуются. Стоит за трибуной чета молодых, но уже крепеньких и высоких березок. Командир дивизии в них души не чает. Хоть летом, хоть зимой от дежурной службы за подругами белыми ухода требует. А осенью от них одна морока.

– Э-хе-хе, – вздохнул дежурный по части капитан Борщаковский, – сколь ни подметай плац, опять пятнами желтыми идет. Если не отскребешь от асфальта листву, комдив с мылом и щетками заставит весь плац до отбоя отмывать. С пяти утра дневальные у трибуны караул несут. С метлами. Чтобы какой лист запоздалый к земле не прилип.

Начсклада Бандюга, заступивший в тот день дежурным по столовой, цигарку в плевательнице загасил и говорит:

– Не печалься, Иваныч, что-нибудь придумаем. Утро вечера мудренее...

В воскресное утро построил командир дивизии любимый личный состав на плацу. Перед традиционным спортивным праздником форму одежды, прически, вещмешки у солдат и тревожные чемоданы у офицеров проверить. Коротенько – часика на два – отвлечь военнослужащих от бесплодного дурака-

валяния выходного дня. Ничто так не укрепляет воинскую дисциплину, как бестолковое стояние в строю. С этими светлыми мыслями светло-голубыми глазами обводил Гусенцов стройные шеренги бойцов и командиров, вдоль которых шмыгал заместитель комдива по строевой подготовке майор Козленко. Маленький, пухлый, коротконогий, короткорукий человечек в большой фуражке-аэродроме, прозванный в народе «злобный Карлсон», самолично обмеривал шагами замершие подразделения. Из командирской сумки торчала длинная деревянная линейка. Поочередно осматривал обувь, бирки, прически, глажку форменных штанов, расстояние между лычками и звездочками, состояние противогаза, сложенное в тревожные сумки теплое белье. Пристальное внимание Козленко к строевой подготовке напоминало желание собачки, многократно обегающей облюбованный столбик, что бы еще пометить... карандашиком в фискальном блокноте. Такой ничего не упустит! Довольный рвением своего заместителя, прохаживаясь по гулкой трибуне, комдив бросил счастливый взгляд на заветные березки. А там пустота! Протер глаза, подошел поближе: даже пеньки дерном обложены! Не видать и следа от былой белоствольной красоты... Подчиненные в строю с удивлением заметили, как Гусенцов с красным от натуги лицом стал хватать ртом прозрачный сентябрьский воздух, будто кричал многократное и беззвучное «Ура!». Наконец голос у комдива прорезался, и он, не стесняясь в выражениях, вызвал к себе всю дежурную смену. И выяснилось, что майор Бандюга по доброте душевной деревца оные – источник природного мусора – ночью спилил и вместе с кухонным нарядом за кочегарку оттащил...

– Тут выговором не отделаешься, – подытожил стихийное офицерское совещание в курилке капитан Борщаковский. – Влип ты, Геша, в историю. Такое – на суд офицерской чести тянет.

Так бы оно и было. За полковником Гусенцовым давно утвердилась слава ярого уставщика: с самых взводных низов слыл педантичным и исполнительным офицером, неукоснительно и в срок выполнял любые указания начальства, следовал на полном серьезе надписи в служебном туалете: «Не льсти себе – подойди поближе!». И даже упавшая крышка унитаза не отбила ему охоту соответствовать занимаемой должности, следуя приказам и наставлениям. Уж, конечно, такой командир залет Бандюги довел бы до логического конца – увольнения нерадивого офицера. Да тут Первая чеченская прогремела. Кто поедет? Семейные

и будущие отцы – в хвосте строя. Впереди – майор Бандюга. Ему терять нечего. Шмотье солдатское – на полках. Замки опечатаны. Выговора – подождут. Поехал майор на войну. Отличился. Роту солдат срочной службы из окружения вывел. Приехал в часть – в медалях и звании подполковника. Поскрипел Гусенцов зубами, но делать нечего – герой. Определили «чеченца» вечным дежурным по штабу. Изредка – старшим гарнизонного патруля назначали. Не один год держался Геннадий. Перед комдивом в струнку вытягивался. Штаб караулил.

Как-то по зиме, находясь в патруле, зашел Бандюга в кафе «Архыз» погреться и минералки попить. А хлебнул водки. В пылу атаки на ошеломленного бармена, не наливавшего офицеру, герою чеченской войны, в долг шотландского виски, стал размахивать пистолетом. За что был сопровожден другим военным патрулем на гауптвахту. В одиночной камере, в знак протеста против беззаконного задержания лица, находящегося при исполнении, бузотер проглотил свои подполковничьи звезды... После промывания желудка и недельного обследования в военном госпитале вернулся в часть с повинной головой. А комдив уже руки потирает: приказ об увольнении готов, осталось подписать и по инстанции отправить. Пока суть да дело, опять Бандюгу на склад отправили. Портянки считать.

А тут новый приказ – отправить одну офицерскую единицу на Кавказ, для участия во Второй чеченской кампании. Батальоном командовать. Залетчики, выйти из строя! Вышел один Бандюга... С полгода о Геше ничего не было слышно. Однажды в солнечное июльское утро ворота КПП распахнулись, и в часть вошел – полковник Бандюга! За успешно проведенную операцию прикрепили Геннадию на погоны еще одну большую звезду. Командира дивизии чуть удар не хватил, когда он Бандюгу перед строем поздравлял и обнимал, как родного, еще бы – живой пример беззаветного служения Отчизне. Дал Гусенцов новоиспеченному полковнику три дня отпуска – привести себя в порядок, подстричься, побриться, в баню сходить. Ну, и с товарищами по службе событие это отметить. Дать-то дал, а у самого кошки на душе скребут. Два полковника в одной дивизии! Где это видано, чтобы подчиненный – начальник склада – в одном воинском звании с командиром дивизии был! Ходит Гусенцов чернее тучи. А тут третий день проходит, неделя, вторая неделя на исходе – нет Бандюги на службе! Посылали посыльного – дверь в общаге изнутри на щеколду закрыта, никто не открыва-

ет. Отправили для выяснения обстоятельств зампотыла Борщаковского. Борщаковский дверь бандюжью вскрыл, выволок из груды водочных бутылок своего друга-героя и в течение суток привел Геннадия в божеский вид... Комдив Бандюгу к себе в кабинет пригласил, чайку налил и, не повышая голоса, по совокупности ранее содеянного, предложил подчиненному на выбор: увольнение по статье «дискредитация звания офицера» или понижение того самого звания на одну звезду. Бандюга выбрал второе... Но после того вынужденного отступления подполковник загрустил. Замкнулся в своих бедовых мыслях на все складские замки. На «спайках» коллектива по случаю присвоения кому из сослуживцев очередного воинского звания или на День Победы после третьей молчаливой стопки все больше плакал.

Посидел Геннадий на складе еще три года, пока полки с солдатской вещевкой, проверки, накладные и пыльный, стоящий в углу огнетушитель вконец ему не опостылели. А тут и выслуга подошла. Досрочная, чеченская. Ушел Бандюга на гражданку. Со всеми льготами и воинскими почестями. Министерство обороны ему квартирку в районном центре выделило. Жить можно. Друзья дивизионные навещают. Да вот еще открытки из части по праздникам приходят, новым командиром дивизии подписанные...

КОЛУМБА

— Молодец, что заглянул, – слезая с лежанки, охая, просипел хриплым голосом заядлого курильщика дед Иван. – Никак опять по писательским делам? В библиотеке выступать будешь? Со стихами? А службу-то не бросил? Вот и ладно. Хошь и по писательским делам, а навещаешь деда.

Приезжая в родную северную деревню, обязательно в приземистый дедов пятистенок захожу. Стоит он с краю нашей Сплавной улицы. Постарел, конечно, как деда Ваня, почернел, осел тяжелым бревенчатым срубом, кое-где крышей драночной облупился, но еще крепок был дом, крыльцом и наличниками красен. За домом – лес. В лесу – речка петляет, на берегу которой наш поселок стоит. Знакомые сызмальства места. Прохожу по широкой деревенской улице. Шиповник брызнул. Летоцветом пахнет. На дворе – июль. Солнце высоко, греет

ласково, мухи жужжат, суетятся. Ожили оводы – скоро сенокос. Ностальгия одолевает по тем временам, когда на каждой мало-мальски свободной от зарослей деревьев и кустов полянке односельчане косили траву. Не могу забыть звук, издаваемый режущей траву косой. А аромат... Ни с чем не сравнимый аромат свежескошенной травы. Нынче в субботний день с утра как завизжат электрические да бензиновые триммеры, так до вечера воскресного дачники стригут свои садовые угодья. И только вечером, как разъедутся горожане, наступает блаженная тишина. Нет теперь тихой сенокосной страды, а главное, нет того аромата, запаха настоящего лета – лета детства...

Под старыми высокими соснами – заколоченный клуб. Одна дверь под вывеской «Библиотека» зазывно приглашает войти в прохладную пустоту бывшей купеческой усадьбы. Неподалеку, в ряду разномастных одноэтажных домиков – бабушкин дом. Теперь – летняя дача. Рядом такие же приземистые домишки. Да соседи кругом другие: все больше городские жители, а то и из Питера и Мурманска дачники на лето приезжают. А дед Ваня на нашей улице – старожил... Много чего здесь за двухсотлетнюю историю поселка произошло. Мой век – тоненький ручеек, впадающий в могучую степенную реку человеческих судеб. Остовы домов. Заросшие травой поля. Редкие топляки на мелководье, говорящие о большой сплавной работе передового леспромхоза советской поры. Бывший рыбный цех, хлебопекарню, конюшню, здания племхоза постигла участь заброшенной в тридцатые годы церкви... А память деда Ивана цепко держит события, произошедшие в поселке еще до Великой войны. Только новых соседей по именам не знает. Чужие они для стариковского сердца...

– Садись, внучек, к столу. Чайку пофурандаем, – продолжил неспешный разговор дед Иван, перемещаясь от протопленной печи к красному углу комнаты, под потемневшие иконы.

Поправив покосившуюся лампадку, дед троекратно перекрестился.

– А ты, служба, в Бога-то веруешь? В церкву ходишь? Вот и ладно, – включив в розетку электрический самовар, дед поставил на стол сахарницу и две чашки с глубокими блюдцами. – Старуху я свою, ты знаешь, десять лет назад схоронил. С тех пор один. Рад, рад, что не забываешь деда Ваню! Я ведь и тебя, и отца твоего за родных людей считаю. На моих глазах с детьми моими и внуками росли. В одни игры играли. Вот и батя твой в один год с моей Клавдией ушел. Сколько ему, пятьдесят было ли? А я вот живу...

Люди иные вокруг. Нелюбознательные. Смурные. Все больше в себе замкнутые, на своих делах-заботах. А вот ты спрашиваешь, интересуешься... Как, говоришь, тут до войны жили? Хорошо жили, справно. Белое море да лес карельский на дары богаты, ежели руки работные приложить. Да и после Отечественной быстро да дружно хозяйство восстановили. Это теперь, при нонешней дермократии, хоть второй век живи «благоденствия и процветания капитализма» не дождешься. Если бы сейчас, а не при Советской власти, надобность в нашем поселке появилась, то через год в нем и двух дощатых бараков бы не осталось. Вон на племхозе до сих пор телятники по кирпичику разбирают. Да что я все это тебе рассказываю. Чай не слепой – сам видишь... Наливай чаю, он от нашей колодезной воды с ложки заварки до черноты настаивается, вкусный, душистый! Чай в наших северных краях завсегда уважали... Вот, к слову, жил за рекой, напротив сельпо, плотник Семен Тиммоев, по прозвищу Колумба. Вот чаехлеб был завидный! За один вечер да после баньки мог двухведерный самовар выдуть. А уж банька у него была знатная! И по пару, и по способу возведения. Сказал как-то Колумба мужикам:

– Баню начну строить, через неделю мыться в этой бане буду.

И точно, один баню построил, через неделю в ней мылся! Спросишь, как он один бревна поднимал? Да так и поднимал: бревно ошкурит, обтешет, глядь, идет мужик какой по деревне, Семен кричит:

– Друг, подсоби бревно поднять.

Подойдет посельчанин, поднимут бревно, и – «спасибо тебе хороший человек». И так каждый венец. Одно-то бревно каждый поможет поднять, не убудет с него. Вот так баня и построилась. Удивлялись мужики в деревне:

– Вот так Колумба!

А в баню Колумба ходил так: пойдет в баню, напарится там до чертиков, из бани домой идет красный, совершенно голый, только веник перед собой под животом держит, прикрывается... Что говоришь? Почему Семена Колумбой звали? Это, внучек, отдельная история. Времени-то дорогого не жалко – разговор долгий будет? Вот и ладно...

С середины 1950-х годов, с тех самых пор, как Семен в наши края из странствий дальних возвратился и на Анастасии Ворониной женился, он в поселке за местную достопримечательность слыл. Много историй о чудачествах Колумбы из уст в уста переходило. Ты, милок, не куришь? А я с твоего разрешения закурю...

Так вот о Семене. Для начала прославился Семен Тиммоев тем, что перед Финской войной, когда уходил служить в армию, а в то время служба длилась не один год, как сейчас, невестой обзавелся. До войны провожали новобранцев, как полагается, всей деревней, а то и не одной. Во время гулянья, когда поселковые парни в соседнюю деревню на трех подводах с песнями и гармошками приехали, в доме своего приятеля подошел Сема к пятилетней большеглазой девчушке Настёне Ворониной. Глянул на сестренку своего друга, по голове погладил и весело произнес:

– Расти, пока служу, вернусь, женюсь на тебе.

Девочка от ласки такой обомлела. Парень Семен был статный да красивый. И запали слова те в детскую душу. Правда, ждать суженого Анастасии пришлось долго. Восемнадцать лет.

После Финской и полугодового излечения в госпитале по случаю тяжелого ранения отправили Семена, как отличного бойца, командира пулеметного расчета, на польскую границу, рубежи Отечества защищать. Там в 1941 году он в окружение и попал. Потом концлагерь в неметчине. Организация сопротивления. Два неудачных побега. Пытки. Голод. Да все его смерть стороной обходила. В 1945-м его и других военнопленных освободили американцы. И после каким-то необъяснимым образом оказался Тиммоев в Америке. Потом в Африке. В конце 1949-го сумел в трюме корабля в Турцию перебраться. А затем из Турции – в Баку. Да энкавэдэшники не скоро бывшему военнопленному, да еще и за границей побывавшему, поверили. Почитай до смерти Сталина по зонам и пересылкам гоняли. Сведенья о побегах и подполье в концлагере проверяли. Шпионский след в Семиной биографии искали. Только в 1955-м году по амнистии освободили.

А Настёна ждала. Ждала, даже когда родители Семена в начале войны похоронку на единственного сына получили. Не верила Анастасия в Семенову гибель. Часто стариков навещала, когда одна, когда с братом, в 1942-м году без руки с фронта вернувшегося. Картошкой да рыбой свежею с семьей друга погибшего делились. Настасья дом прибирала, стирала, огородничала, дрова зимой на санях завозила. В годы войны работала Настя на конюшне, бабам помогала. Было в ее распоряжении пять коней. У Настёны в конюшне завсегда порядок был, а уж о лошадях и говорить нечего. Каждую причешет утром, даже ленты вплетет в гриву животным женского пола, щеткой кожу до блеска натрет. И называла она их не конями, лошадями, а лошадками. Пропа-

дала в конюшне денно и нощно, многое сдюжить могла, несмотря на дюжину своих младых годков. Кормила лошадей так, чтобы они получали все для здоровья и силы, следила за копытами, зубами, глазами. Ведь всю работу в то время на селе выполняли лошади... Приехала как-то поутру Настасья к старикам на телеге, сена лугового для козы завезла. А хозяева собрались куда-то, приоделись. К кому, спрашивает Настя, в гости идти надумали? А те – пойдем, мол, с нами, увидишь. Пошли они втроем на деревенское кладбище. А там под сосенкой стройной – могилка свежая. Все как положено: крест, табличка. Смотрит Настёна, а на кресте фото Семена прикреплено! Она фотографии своего суженого в стариковской избе до мельчайших черточек изучила. Здесь, на краю погоста безутешные родители могилку Семену соорудили. На поклон к ней как к сыну родному ходили. И вскоре после войны рядом с сыновней пустой могилой тихо в землю карельскую легли.

Когда письмо из города Баку в дом родителей Семена постучалось, там уже другие люди жили, но о печали Настёниной все в деревне знали. Поэтому весточка от Семы Тиммоева нашла в поселковой конюшне Анастасию. Девчушка не могла поверить своему счастью – живой, живой Семочка! В плену был. Сколько раз смерти в глаза смотрел. Полземли объездил! Домой едет!.. Год Настя жениха названного у околицы ждала, в деревню Семенову наведывалась: нет ли весточки от Семы? Подселенцы плечами пожимают... Собралась Настя письмо в Баку написать, а адреса обратного нет. Через год пришло письмо из Карагандинского ЛАГа – там Семен Тиммоев, в Казахстане, срок, по причине своего пребывания в концентрационном лагере, отбывает. Тут уж Анастасия милому все о деревенском житии-бытии отписала, о родителях усопших, о своей великой радости – Семену о любви своей девичьей поведать.

В 1955-м Колумба на родину вернулся, прямиком в поселок, к своей невесте названной... Как увидела Настёна на автостанции своего ненаглядного, поседевшего, закопченного на жарком солнце, с синими-пресиними глазами, остолбенела прямо, как в детстве от неожиданной ласки ладного паренька. Семен сам к девушке подошел, угадал ее в толпе встречающих. Тут уж Настя к нему прильнула, голову на плечо положила:

– Колумба ты мой, ясноглазый...

Наверное, с того счастливого вздоха к Колумбе прозвище то чудное пристегнулось. Да и то, кто из наших краев так далеко в

Тмутаракань заморскую забирался, Америку открывал? Колумба, как есть Колумба!

Наутро Настасья лошадку запрягла – поехали на кладбище, родителей Семиных проведать.

– Вот, Настя, – Семен вытер рукой набежавшие слезы, – не думал, не чаял, что над своей могилой стоять буду, раньше своего смертного часа матерью и отцом оплаканной...

– Знать, долгий век тебе на роду написан, Семушка. Счастье на смену горю лютому пришло, – вымолвила притихшая Настёна...

И ведь как в воду глядела, душа голубиная! Той же осенью Колумба на Насте Ворониной женился. Разница в возрасте между ними была очень большая, но прожили они вместе всю жизнь, детей нарожали много, все девчата, красавицы, глаз не отвести!

Чтобы поднять большую семью, пришлось Колумбе вертеться-крутиться. Где он только не работал. Плотничал, в хлебопекарне мешки таскал, ходил на промысел в Белое море, в племхозе буренкам корма насыпал, стойла чистил. Ну и себя не забывал, конечно. Семье от Семиной сметливости тоже перепадало: то куль муки принесет, то мешок комбикорма. Пройдоха! Баньку за неделю поднял и пар первый опробовал. Дом обновил, палисад штакетником огородил. Все в его руках горело! Люди в пять утра поднимаются ни свет ни заря, глянут в оконце, а Колумба уже через реку на лодке гребет, то дров везет, то сено, ягоды, грибы. И охотник, и рыбак – всегда при добыче... Взял как-то Колумба двух щенят. Для охоты собака нужна, вот и взял. А чтобы веселее было собакам – взял двоих. Щенята подрастали, каждый вечер Семен их выгуливал. Выходил за деревню и сразу отпускал с поводка побегать. Они мгновенно разбегались в разные стороны, жадно вдыхая воздух свободы, вечерних ароматов леса и травы. А хозяин шел по обочине леспромхозовской дороги и любовался вечерним закатом, лесом, картофельными полями и рекой. В одну из таких прогулок, полюбовавшись красотами, Сема стал свистеть, созывать своих игривых питомцев. Свистнул пару раз, глядь, один сразу прибежал и сел возле ноги хозяина. Взял Колумба в руки поводок с ошейником, наклонился, чтобы застегнуть вокруг шеи щенка и – встретился глазами с ... косым! Большой серый заяц, схожий по окрасу с одним из щенков, стоял в оцепенении, прижавшись к ноге Семена, и смотрел в его спокойные синие очи. Очухавшись через несколько секунд, заяц дал деру во весь дух. Колумба весело ему вслед помахал: беги, ушастый! Встретишься в другой раз на охотничьей тропке – не взыщи. Колумба слыл отменным охотни-

ком, семья всегда была при дичи и при лосятине. Правда, большого богатства не нажил. Все больше историями из собственной жизни людей удивлял... Ушлый мужик Колумба. Ушлый да незлобивый. Бывало, денег ни копейки, а детишкам всегда пряников или леденцов принесет. А себе после баньки шкалик водки на стол перед чугунком с картохой распаренной поставит. Мог Сема из своей последней курицы тройную пользу выгадать. Что головой крутишь? Не верится тебе? А вот ты послушай...

Решил как-то Колумба по случаю Первомая и Настиного отбытия в роддом бражки попить, а дома не было. Уж очень ему захотелось радостью своею отцовской с кем-нибудь поделиться. По главной поселковой улице туда-сюда прошелся, видит – сидят двое мужиков на завалинке одного из домов, курят. Подсел к ним Семен, поздоровался, помолчал для порядку, и хлоп с досадой себя по колену:

– Эх, мужики, такая закуска пропадает... Курицу я забил только что, в холодке лежит, жирненькая, общипанная. Была бы брага, выпили бы да закусили курятиной!

Мужики цигарки под ноги побросали: кто ж от такого предложения откажется!

– Ну, так что, это... Мы ж, это... найдем, что ли, мужики? – засуетился Колумба. – У бабки Маланьи завсегда брага имеется. У меня ведь жена рожать собралась. Я, может, с минуты на минуту в четвертый раз отцом буду!

Так и порешили. Пошли мужики за выпивкой, а Сема бегом домой, руки потирает от удачного сговора, да прямиком в сарай. Поймал курицу, быстро обезглавил, общипал да – в чугунок ее сердешную. Пришли мужики, курица разварилась в русской печи быстро. Достал Колумба чугунок из печи, на стол поставил. Разлили по стакану бражки – не виски американский, да своя родная – выпили, за ложки взялись и давай уху из петуха хлебать да нахваливать. Да так мужики азартно закусывают, а уж как нахваливают, что жалко стало Колумбе закуски. Что это он вот так вот мужиков кормит, а ведь и самому мало! Дети со двора придут, аппетит нагулявши... Почесал Семен затылок, покумекал малость, времени много нет для соображенья, все съедят, ничего не останется.

– Э-э-э... Я это... Мужики, что сказать хотел, – потягивая бражку, медленно проговорил Колумба. – Я эту курицу днесь на заднем дворе за ямой отхожей нашел, дохленькой. Вижу, курица как курица, что, думаю, добру пропадать.

Мужики так и крякнули, ложки дружно на стол опустились. Пену бражную с усов обтерли, расхотелось им что-то есть и пить.

– Спасибо, Колумба, за угощенье, пойдем мы, а то бабы хватятся, кричать начнут, некогда нам рассиживаться.

Пошли мужики восвояси. Только вышли за порог – бегом на задворки, чтоб до того же отхожего места вовремя поспеть... А Колумба бражку остатнюю усугубил. Чугунок с курицей на припечь поставил – то-то дочки порадуются отцову угощению!

Вишь, какой авантюрист! И браги попил, и детей накормил, и отцом – четырежды героем – к вечеру того же дня стал! Я тебе, внучек, таких историй не горсть, а целую корзину могу рассказать. Ты только заходи, не чурайся. Чай соседи кровные... Вот и ладно. Посидим, помяряндаем. Может, какую байку в книжку вставишь... Вот хотя бы об упомянутой, к слову, корзине.

Собрался как-то Колумба грибы отмачивать. Богаты северные реки и леса Карелии рыбой, ягодами да грибами. Набрал Сема много солянок – груздей, волнушек. Получилось несколько больших двуручных корзин. Вымачивать их перед засолкой требует времени, воду меняй, грибы перекладывай. А лет Колумбе было уже семьдесят с гаком. Вот и осенила Семенову голову идея – грибы вымачивать без особого труда. Придумал он корзины с грибами в ручей опустить. Опустил и любуется, как прозрачная прохладная водица омывает его невиданный урожай. Лепота! Решил Колумба до дома сходить, щей похлебать. А грибы в корзины пусть промываются положенное время, а потом лишь посолить останется...

– Кто бы еще так придумал, Настёна, ладно да скоро грибы заготавливать, – хвалился Колумба перед женою, – ты ко мне не как к мужу, ты – как к вечному двигателю мирового технического прогресса прибоченилась!

– Сиди уж, двигатель! – улыбнулась ладная сухонькая Настасья, – восьмой десяток, а все не уймешься: то в лес, то по дрова. Все погреба и чердаки грибами сушеными да вениками завесил!

Вечером пришел Колумба на ручей грибы проведать, да так и застыл на месте: овцы деревенские, доедая последние рыжики, сытые и довольные лениво отваливали от пустых корзин. Овцы-то ничего в техническом прогрессе не понимали.

Вот какой достопримечательной личностью на деревне был Колумба-американец, авантюрист, изобретатель, мастер на все руки, герой двух войн и семейного фронта! Тут на этой лавочке

я его в последний раз и видел... Зашел Колумба к нам во двор передохнуть. Мимо проходил. Притомился. Но глядит весело – седобородый, жилистый девяностолетний старик с лучистыми васильковыми глазами. Пригласил я Семена в дом. Слово за слово, разговорились.

– Иду, Иван, сети снимать, – говорит Колумба. – Как весной бросил на щуку, когда вода высокая была, так до сих пор там и лежат. Настёна уже какой раз просит: «Убери, Семен, сети, покуда скотина не запуталась». Если бы коровы, лошадки колхозные, как раньше, стадом да табуном ходили, беды бы натворили сети. А нынче – только пара бычков соседских покупных гуляет. Травы теперь вдоволь везде: ешь – не хочу, искать не надо, со всех дыр лезет, глянь, поля колхозные чепурыжником зарастают. Вот к лесу и не приближаются, там оводы их больно жалят. Бычки все больше у реки, возле домов бродят, добрые люди хлебушком угостят, то-то жизнь пошла... Ну все, Ваня, иду, иду сети снимать, они уже, поди, на ивах подросших повисли, теперь не скотине, а грибникам впору в ячеях путаться.

И пошел не спеша, покуривая, сети снимать. Да не в ту сторону пошел. К сельпо, где его домик в палисаднике стоит, красуется. Там Настя. Внуки с города приехали. А позади дымящего цигаркой Семена – лес, за лесом – река, за рекой – другие леса, моря, дороги, по которым прошел Колумба. Полсвета пропылил солдат Семен Тиммоев. И обратно домой вернулся...

И еще рассказывал мне деда Ваня, что похоронили Колумбу тем же летом, рядом с матерью и отцом. Народу на кладбище деревенском было – не протолкнешься. По старому обычаю несли гроб на руках от родового дома. Настёна как-то разом постарела, осунулась. Дочери ее всю дорогу под руки поддерживали. Упокоился Семен на выбранном родителями месте под высокой раскидистой сосной... А сети Семины так и висят на тех же кустах. Треплются ветром тонкие седые пряди. И через рваные ячеи пролетают юркие осенние листья...

Деревенский костровой

Отработал Андрей Михайлович Потапов в поселке Пряжа старшим пожарным 26 годков. Опыту накопил богато. Даже выйдя в запас, свое ремесло не забывал. Да и как ему было его забыть, если его единственная жилплощадь располагалась в здании пожарной части, только крыльцо с другой стороны. Обо всех деревенских загораниях он узнавал первый. Бывало, что и на пожар первым, до прибытия караула поспевал. В огонь не лез. Знал, что без воды и пожарного вооружения там делать нечего. Все больше зевак тормошил. Очевидцев вылавливал, а иногда и поджигателей успевал за рукав поймать. И уж никак не мог Михалыч пройти мимо какого пожарного нарушения. Заметит, где пожарный водоем опорожненный, отсутствие знака безопасности на электрическом столбе али дрова, выгруженные в неположенном месте, – сразу к инспектору Огорелкину:

– Игорь Иванович, непорядок, пошли протокол нарушения составлять.

Надоел он Огорелкину до чертиков. А что делать – под одной крышей с правдорубом располагаться приходится. За свою неуемность прозвали поселковые Потапова «деревенским костровым». Ибо знали, что власти в его руках не было, но вредности в чаяньях, пускай и справедливых, хватало.

Вскорости удача Михалычу сама в руки приплыла, вместе с пожарным стволом. Объявили по всей России набор в добровольные пожарные дружины и команды. Были подобные формирования и в царское, и в советское время. Пора настала добровольчество и в бывшей Олонецкой губернии возрождать. Да и то вовремя. Некоторые населенные пункты Карелии располагались в 60-70 километрах от ближайшей пожарной части. Но надобность в членах ДПД была и городах, и в поселках. А как же Пряжа без своего «кострового»? Пришел Потапов к начальнику пожарки с заявлением и команду с собой привел – все проверенные люди: бывший участковый, фельдшер, заведующая детским садом. Хошь и на добровольных началах, без поощрения денежного, а поселок в огонь не бросят. Отстоят, если надо. Выдало начальство добровольной команде боевки, каски, сапоги, мотопомпу со всем необходимым снаряжением.

Обучением личного состава Потапов занимался лично. Никому спуску не давал. На поселке противопожарные плакаты и знаки на домах, в шестидесятых годах установленные, обновил. Даже любимый лозунг князя Львова в дореволюционных первоисточниках откопал и над сараем для хранения мотопомпы повесил: «Господа обыватели, обывать обывайте, а о пожаре не забывайте!»... По зиме – боевое крещение состоялось. Пряжинский караул выехал на сопровождение гонки на собачьих упряжках в соседнюю деревню. А тут хозяйственная постройка полыхнула. В простонародье – дощатый уличный туалет. Пока бы штатные огнеборцы разворачивались, пока по снежным дорогам добирались, огонь от горящего строения мог и на сарай перекинуться, и на жилой дом. Команда Михалыча сработала на славу! Начальник пожарной команды самолично одним стволом «А» сортир занявшийся зачернил, заодно и выгребную яму в божеский вид привел, как авгиевы конюшни, – чистотой засияла. Доски свежие счастливый владелец туалета на следующий день взамен сгоревших настелил. А над новой, крытой рубероидом крышей петушка красного прибил, чтобы другой петух, огненный, больше не клевался... Было время – новая бумага из Северо-Западного регионального центра МЧС в Петрозаводское управление пришла: срочно наградить отличившихся за время проводимой реформы добровольцев и в газетах пропечатать. Да чтобы дом отстояли, людей спасли! Пропагандисты в управлении за головы взялись: где найти героя? Добровольные пожарные дружины только для обучения и проливки дотла сгоревших строений привлекались. Вот тут потаповский туалет и всплыл. Из Главка – распоряжение: наградить отстоявших хозяйственную постройку огнеборцев и осветить имеющийся в наличии героический факт в средствах массовой информации. Инспектор Огорелкин, которого организацией ДПД в районе нагрузили, прямиком к Потапову. А тот – в отказ. Не буду я за сортир награды получать и перед телевизионщиками позор терпеть. Приезжали из управления, обрабатывали – ни в какую. Вот тебе и «деревенский костровой»! Так и ушла сенсация из Пряжи в Олонецкий район, где под приглядом тамошней добровольной пожарной команды сгорел курятник и было эвакуировано пять единиц домашней птицы.

Не приходилось еще Михалычу на новом пожарном посту животину из огня спасать. Но если б представился случай – не

спасовал бы. У самого с женой небольшое подсобное хозяйство было, в том числе и несколько коз. Особливо любима была коза Машка. Сметливая дереза – она и стадо свое на соседские огороды в атаку водила, и двор хозяйский оберегала. Каждый летний день из окон караульных помещений была видна одна пасторальная картина: козы усердно и тщательно объедали кусты, которые росли у стен части. Трясли кусты почем зря, высоко поднимаясь ногами на ветки, забираясь на крыльцо, на лавочки. Так, однажды вышел капитан Огорелкин к машине, в район ехать надо было на пожар. А на капоте «уазика» коза Машка возвышается, как на гулком железном пьедестале. Уставилась без зазрения совести на инспектора и – даже глазом не моргнет. Подошел он к машине, прогнал козу и стал усаживаться в кабину. Двери хотел захлопнуть, а тут – Машка передними копытами на подножку встала и смотрит Огорелкину в колючие глаза. Убираться и не думает. Инспектор аккуратно, но быстро отстранил ногой козу от государственной техники, захлопнул дверь и поехал по вызову, причину загорания устанавливать. Вечером, уставший за день, вернулся капитан с пожара. Вышел из УАЗа, ступил на крыльцо части, только за ручку дверную взялся, как вдруг ткнулся в дверь лбом и тульей форменной фуражки, получив солидный пинок в самое мягкое место, которое и без того натряслось по ухабистым дорогам нашей местности. Обернулся инспектор медленно, наливаясь багровой начальственной злостью – «Кто это еще такой наглый да бесцеремонный, вот так, без предупреждения, представителя власти при исполнении служебных обязанностей беспокоит?!», а за спиной стоит... коза Машка, которую утром он ногой от машины отпихнул. Стоит и смотрит на него решительно, по-боевому, мол, знай наших. День ждала, чтобы своего обидчика боднуть, сдачи дать. Упрямая, как ее хозяин...

После этого Михалыч Машку еще больше зауважал. Вот то-то же! Не все Огорелкину мягким местом к нарушениям правил пожарной безопасности поворачиваться, может статься, от этого и пожаров поменьше будет. Теперь побережется...

АРКАША, ЖЕКА И СЕРГЕЙ

Серега, Аркадий, Женя и я – друзья не разлей вода. Вместе в одном карауле дежурим, в соревнованиях за честь подразделения участвуем, в КВНе на День пожарной охраны играем. Вместе и на природу выезжаем. От города отдохнуть, от сирен пожарных. Вот и на этот раз в поисках сказочной тишины мы далеко в лес заехали, на речку Шую. Порыбачить. Ехали на двух машинах. С каждым километром все дальше и дальше от цивилизации забирались. Глядь, речка за деревьями блеснула. Порожистая да быстрая, в этой широкой загубине она будто бег замедляет, чтобы солнце июльское с головой в завороты медленные окунуть. Берег пологий, чепурыжником не заросший – купаться можно, палатку поставить, костер развести. На другом берегу – пасторальная идиллия – стожки совхозные на широкой поляне стоят, кольями подпертые. Будто старушки согбенные в желтых платочках и с палочками на взгорок вышли – на людей пришлых поглазеть. А тишина такая – хоть ложкой ешь! Но ложки нам по другому случаю пригодились, когда мы уху из только выловленных окушков спробовали. Под ушицу и бутылочку распечатали. Я – ни-ни. Мне домой вечером надо было возвращаться, за руль садиться. А ребята усугубили. На плащ-палатках у костра разлеглись, стали разговоры разговаривать. Да все о любимой работе.

Сергей – за кострового. Он начальник караула. Года три, как из пожарного училища в смену нашу пришел. Без гонора, спокойный, справедливый. С пожарными общий язык нашел сразу. А со мной и ребятами – по-настоящему сдружился.

– Да, – счастливо вздохнул Сергей, – хорошо, что мы на речку выбрались. В пожарке если аврал – от дыма и копоти даже в сауне не отмоешься. Опять же город – шум, пыль. А здесь тишина. Лес. Река. И мы, робя, вместе – и порыбачим, и выспимся в палатке, на свежем воздухе! На два дня от города и тревог караульных оторвемся.

– Верно говоришь, вместе завсегда веселее. Я, – подошел с хворостом Аркаша, – когда не в свой караул попадаю, вечно в категорийный пожар вляпаюсь. Вот этой зимой из квартиры на девятом этаже угорельца вынес. Лифт не работает. Пришлось мне мужика на своих закорках эвакуировать. Пока я этого бу-

гая тяжеленного по лестнице пер – он еще судьбе сопротивлялся. А как на площадке первого этажа растянулся – никаких признаков жизни. Ни на что не реагирует. Я – ухайдоканный, запыхавшийся, мокрый – трясу бедолагу, что есть силы, к стене прислонил – может откашляется – ноль эмоций! Сердце не прослушивается. Тут я вконец осерчал – их спасаешь, а они все окочуриться норовят! – и как врежу мужику с досады кулаком в грудину, аж хрустнуло там что-то. Да не хрустнуло, а булькнуло! У бугая рот вместе с глазами открылся: задышал милый! Заквохтал, зашелся в кашле. Это я ему одним ударом сердце завел, как бабушкин будильник на этажерке. А ведь мог и оконфузить меня перед другим караулом: чего, мол, пострадавшего с места происшествия упер? А чем ты с ним на площадке занимался? Тьфу, срамота. Уж лучше со своими и в огонь, и в воду...

После упоминания о воде все купаться пошли. Скоро солнце сядет, а вода в Шуе и летом холодная... У костра, отогревшись, разлив по пластмассовым стаканчикам благословенную жидкость, начатую Аркадием пожарную тему подхватил Жека – командир первого отделения, первый Серегин помощник:

– Да, Аркаша, твоя правда. Друзья на пожаре – первое дело. Особенно когда на первом ходу на пожар приезжаешь. Первый ствол пожарной помощи за собой в подъезд тащишь... Мне вот тоже во время своего командирства, когда я тебя, Серый, во время отпуска замещал, пришлось одно загорание на девятом этаже высотного дома ликвидировать. Под вечер выходного дня в квартире от оставленного без присмотра обогревателя затлел поролоновый диван. Дома никого. Мы замок аккуратно от дверной коробки отжали. Поролоновые подушки в окно выбросили. Даже воды лить не стали. Только помещение проветрили. Хорошо сработали, качественно. Правда, комната от дыма прокоптилась основательно, без ремонта не обойтись. Да были бы стены... Спустился я к машинам и вижу – начальник управления к дому подъехал с проверяющим из Северо-Западного регионального центра МЧС. Видно, работу подчиненных на настоящем пожаре показать захотел. Я, как положено, подошел, представился, доложил обстановку. А оно, командование, решило самолично на квартиру спасенную взглянуть, благо лифт по случаю незначительности загорания отключать не стали. Поднялся я с высоким начальством на девятый этаж, толкаю дверь в погоревшую квартиру, а она закрыта! Хозяева, что ли, вернулись? Звоню, стучу. За дверью шорох. Женщина ка-

кая-то спрашивает: «Кто там?» Да пожарные мы, говорю, вот только что диван ваш в окно выбрасывали. Женщина оторопела, дверь нараспашку открыла: «Какой диван? У меня все на месте: и кресло, и диван». Прошли мы в комнату, кухню, на балкон заглянули. Чистота. Порядок. Ни намека на загорание. Вышли на лестничную площадку. Начальник управления на меня как зыркнет, как зубами заскрипит: «Ты что, командир отделения, шутки со мной шутишь? Что ты здесь все это время героически тушил? Или ты начальнику управления дым в глаза пускаешь?!» Никак нет, спасовал я, не пускаю. Сам ничего не пойму! Спустились мы вниз, а там бойцы мои ушлые все командованию разъяснили: не с того ракурса мы на подвиги дежурного караула любоваться собрались. Пожар был в другом, соседнем, абсолютно одинаковом подъезде. Но у начальника с проверяющим уже не то настроение было, без особого любопытства они на квартиру закопченную взглянули и, ни слова не говоря, уехали на оперативное совещание. Первыми мы в тот год не были. Другие управления Северо-Запада пооперативней нашего оказались. Они, поди, подъезды в домах не путают. Больше начальник Главка проверяющих с собой на вызовы не брал. Да и то верно, присутствие начальника на пожаре – не факт его успешной ликвидации. Другое дело, когда друзья надежные за спиной... Ну, накатим, что ли, ребята, – за любовь, за дружбу и противопожарную службу!

Посидели еще с часок. Рыбку половили. А тут и я домой засобирался. Жене обещал допоздна не задерживаться. Ребята уже в палатку травы мягкой натащили. Вот – выспятся так выспятся! Заслужили...

Через три дня на дежурстве я спрашиваю Серегу между делом, как они на реке отдохнули.

– Как отдохнули, как отдохнули... Всю ночь на пожаре воевали! Проснулись в палатке от шума и зарева непонятного. Для комаров – даже средь сказочной лесной тишины – слишком громко. Для луны – слишком ярко. Всполохи на брезент палаточный ложатся и трещат, как сало на сковородке. Выползли наружу, смотрим, а на соседнем берегу стожки пылают! Две автоцистерны из поселка Мелиоративный сено тушат. Какой тут отдых! Мы через реку переплыли – жердями скирды от огня оттаскивали. Да что толку. То тут, то там на поляне огонь пробивался. До утра стихийное горение контролировали. Увошкались, как черти! И только дома отмылись и отоспались по-человечески.

Ребята в части о происшествии на реке особенно не распространялись. Ни к чему. Вечером я Аркашу, Жеку и Серегу наконец-то одних застал – в комнате отдыха, молча, в домино стучали. Следующую партию мы уже на четверых раскатали. Завалив «козла», Жека нарушил затянувшееся молчание:

– А все-таки в карауле хорошо! Тепло. Светло. Ежели пожар – любой городской квартал как на ладони. Обстановка знакомая. Без сена и комаров. И копейка, какая ни есть, капает.

– Да-а-а, – усмехнулся Аркадий, – это тебе не шуйские стожки в одних плавках тушить... Тишины захотелось... Покой. Рыбалка. Красоты. А на деле – картина Рожкина «Шишь»!

– Да будет вам старое поминать, – веско подытожил Сергей, размешивая костяшки домино. – На следующие выходные на Онего поедем. Там воды больше. И рыба крупнее...

ПЕСОК ИЕРУСАЛИМА

На дворе зябкая карельская осень. Кругом грязь, лужи. Дома уже рефлекторно отмыться хочется. А в квартире блочной душ да узкая ванна. Никакого простора. Так что я, когда один, когда с сыном, хоть раз в две недели в баню на Путейскую хожу. Чаще для души, а не для тела.

Вот и в тот раз в баню засобирался. Мыльно-парильные принадлежности в пакет кинул, трусы, майку, шлепки в газету завернул. Себе старые шлепанцы взял, сыну – новые положил. Пускай разнашивает. Помылись, попарились. Душу успокоили. Обратно по темени осенней возвращаемся. Дома я газеты развернул... А вместо новехоньких шлепок какие-то старые потертые на пол вывалились. Сын, оказывается, сланцы мои новые особенно и не разглядывал. Что под лавкой в моечной нащупал – в том и в раздевалку ушлепал. Да еще и возмущается! Мол, поди разберись в этих мокроступах, что та пара, что эта, одинаковые, как галоши. Причем обе на левую ногу. Поохал я, посокрушался, да делать нечего, придется в следующий банный день обратный обмен сделать. Мужики на Путейскую одни и те же ходят. Авось повезет хозяина этих левых «галош» найти.

Как назло, из-за командировки в район поход банный отло-

жить пришлось. Три недели не мог времени выкроить, чтобы грязь осеннюю с души смыть. Наконец терпение лопнуло. Шлепки, веник под мышку и – в баньку! В парилке народу много натолкалось. Беседы разные заводят. Один, должно быть, где-то на югах загоравший, и говорит:

– А я, мужики, только-только из Израиля прилетел. Море. Солнце. Христианские святыни. Здесь холод собачий. А там я в одних шлепках по Иерусалиму шастал, на Голгофу забирался. Ну почему голый? В шортах и футболке – как положено. Без тернового венца. Зато на моих шлепанцах – песок с земли обетованной, камешки намоленные в подошве рифленой застряли. Вон они, шлепки, у порога лежат, реликвии.

Глянул я на тапки – как пить дать мои! Синие, блестящие, ремешки крест-накрест. А где, спрашиваю я загорелого гражданина, вы эти шлепанцы покупали?

– Да я их и не покупал вовсе. С месяц назад вот в этой бане под скамьей нашел. Ничьи оказались. Моим «скороходам» кто-то в тот день ноги приделал...

– Да это я! В смысле, мои это сланцы! Сын, ротозей, три недели назад вместо них ваши, обшарпанные, домой притащил.

И точно, признал турист свои шлепки намозоленные. Махнулись мы обратно под оханье и смешки заядлых путейских парильщиков. Сидят. Острословят. Ты бы еще, гогочут, с кем трусами поменялся. Может статься, они до следующей бани и в Мекку протрусить успеют.

Вот какая оказия с моими шлепанцами приключилось. За две недели, пока я грязь дорожную туда-сюда по Петрозаводску елозил – на Святой Земле побывали! На солнышке грелись. Ну ничего, мы им и тут, в Карелии, жару поддадим! Теперь только эту реликвию в бане надевать буду. Пускай песок да камешки иерусалимские парную русскую да дух березовый на себе испытают!

ГАРМОШКА

Смешно. Сколько лет таскаю за спиной шарабан, а все кажется – несу гармошку. Гармошка привычней. Сызмальства отец приучил. «Золотые планки» и в армии пригодились, и в институте. Мне уже за пятьдесят, на дворе 21 век, а на посиделках – тесным кругом – в Карельской академии наук, где я старшим научным сотрудником работаю, нет-нет да и попросят на гармонике сыграть. Молодежи в диковинку, старикам – на радость. Вон один из стариков, «матерый человечище» впереди меня по льду чешет – Андрей Андреевич Волков. Завсектором. Доктор наук. А на пять лет меня моложе! Заядлый рыбак... Мы с ним, как Робинзон и Пятница, в летний отпуск в Заонежье на Кижских островках счастье рыбачье ищем. На моей малой родине. А то и по работе там бываем: в Толвуе, Великой Губе, Сенной, Кондобережской, Жарниково. Андрей секцией языкознания заведует, топонимику изучает. А я заонежским фольклором интересуюсь, кандидатскую вот защитил. Хотя какой из меня ученый? Был я парнишка деревенский, таким и остался. И как найду где, гостюя, в прибрежной деревеньке гармошку, так сразу руки к ней тянутся, а душа ликует. Меня знакомые в Заонежье так и величают – Мошка-гармошка. Звать-то меня Алексей Мошин – отсюда и прозвище...

Зимой мы с Андреем на его «Ниве» за Гимреку ездим. Далековато, конечно, да и улов не тот уж. А ближе и вовсе баловство. Рыба отнереститься не успевает – все протоки сетками браконьерскими перегорожены, да в несколько рядов. Теперь – всякий рыбак. Ни рыбы не зная, ни повадок ее. Зимой – потрудиться надо, пошагать, во льду дырок насверлить. Летом – лафа. Накупил китайской дешевой снасти, и на природу – «рыбачить». Сначала «поддать» для храбрости и сугреву, потом с песнями и гиканьем устроить гонки на катерах, в сутемь сетки побросать, как попало, и к шалашу, как говорится, отметить удачное начало. Утром не каждый и встанет. Облюют зеленый свой пятачок, загадят. Голова гудит. Сердце с перебоями бьётся... Какая там рыба! Опохмелиться – и домой. Отдохнули классно, легкие размяли, по бабе соскучились – чем не праздник. А в сетях брошенных рыба гниет, другая на места нерестовые, родительские, заветные пробиться не может. Хуже фашистов! А, что говорить...

От дум невеселых – подледная рыбалка первостепенное средство. Ранним, нехотя светлеющим утром – Шелтозеро, Рыбреку проехали. Не доезжая Щелеек, свернули на берег Онего. Озеро светлое, почти бесснежное, ветром выметенное. Легкая поземка вдоль берега стелется. Волков поздоровей меня будет, в плечах пошире, кроме шарабана коловорот тащит. Идет шибко. Не оглядывается. И я себя подгоняю: поспевай, Мошка-гармошка, а то товарищ первым заветную луду на уловистость попробует. А в это время, откуда ни возьмись, ветер поднялся сильный, настоящий буран. Я Андрея по плечу похлопал: мол, поворачиваем назад. Тот тоже смекнул – непогодь переждать надо и повернул к машине. Идет, как и шел, быстро, целеустремленно, поправки на ветер не делает. И тут как на грех шубенка у меня с руки соскочила. Пока искал, шарабан поправлял, шапку поглубже натягивал – моего Пятницу Митька прял. Не видно, не слышно – хоть ором кричи. Разозлившаяся метель все звуки крадет. Спеленатый ветром и снегом, пошел я куда глаза глядят. А вокруг ни следочка, ни вешки – лед, как зеркало, чистый, ровный. Я одно направление выбрал, потом другое. Счет времени потерял. Поди, не один час блуждал по озеру. Падал. Вставал. И снова упорно шел вперед, пока не понял, что ухожу от берега. Открытое Онего – это тебе не шутки. Это 80, а то и все 200 километров застывшей, равнодушной, белой пустыни. Присев на шарабан, подставил я спину порывам ветра и вытянул гудящие от напряжения ноги. Главное, не паниковать. Главное... Телефон! У меня же сотовый в кармане! Куколка моя! Достал телефон, нажимаю сигнал. Связи нет... Ну, ничего – здесь нет, в другом месте обязательно найдется. Вот только посижу немного, отдохну...

Отец вспомнился. Был и у него такой случай. В середине пятидесятых возвращался он в Великую Губу со свадьбы, как всегда, с гармошкой, как всегда, по ледяному озеру. А в пути его метель застала. Батя – к берегу. Пытался в бочке смолокуров укрыться – чувствует – замерзает, в сон клонит. Гармошку на плечо и дальше – через силу, через ветер – пошел. Уницкий залив одолел. Дошел до Черкас, а там – лесопункт. Согрелся отец у печурки, подсел к столу, развернул гармонику! Да тут, пока лесорубы сидоры свои для общего ужина доставали, прямо за столом и уснул... А мне сейчас спать нельзя! Я что, слабее отца?! Я еще не раз тальянку во все меха душевные растяну! Только идти надо, идти! Поднял шарабан, распрямил окоченевшие колени,

встряхнул оледеневший тулуп и – пошел, как и давеча, сначала в одну, потом в другую сторону. Иду, пурга глаза залепляет, за воротник лезет, от ледяного ветра никакого спасения, иные порывы с ног валят. Вдруг впереди берег лесистый завиднелся – кинулся я к нему со всей мочи. Ан нет – не берег это. Мираж. Так вихревой снежный поток на зеркальном льду отражается. После еще не раз я этот обманный берег вдалеке видел. Тело совсем закоченело. Сердце холодом сковало, страхом: а вдруг не дойду? От отчаянья руки опускаются, ноги не идут. И такое блаженное равнодушие меня посетило – нирвана, ей-богу! Присел я на шарабан, прикрыл глаза – и в этой замечательной пустоте, будто тени причудливые, картинки из детства медленно движутся. В Песках под Петрозаводском – мы с двоюродным братом. В предрассветной тишине собираем в дядькину весельную лодку удочки, самоловки, в теплой воде под камнями ищем ручейников в песчаных коконах. В легком надводном молозиве отплываем от берега, тихо плещется вода, чуть поскрипывают уключины. Вплываем в туман. Густой. Молочный. Нам весело и сказочно, с кормы почти не видно полуразмытого носа, нет границ и очертаний, нет света и тени, только плавные переходы на атомы разобранного пространства незнакомых, потусторонних, полуразложившихся вещей: удочек, весел, сапог, банки с наживкой. Пространства много, а берега нет – куда плыть, не знаем. До кровавых мозолей, сменяясь, утирая слезы, бьем веслами по воде. Кричим, но звук опадает у бортов лодки, не в силах преодолеть этот неземной, похожий на ватный, кокон. Мало ли, много ли времени прошло – впереди две скалы показались. Не скалы – валуны. Это они в тумане в размерах выросли. Вышли на берег – осмотрелись. А позади валунов огромная отвесная скала – Чертов стул. Древнее шаманское капище. Так вот что лодку нашу к себе притянуло, как магнитом. То ли поиграло с нами, то ли спасло, поди разберись. От Чертового стула, держась берега, мы быстро до Песков добрались. Туман обманули. Но то – туман. А тут... Со всех сторон завируха. Высокие регистры метельной гармоники застыли на одном заунывном звуке. Чистый бесснежный лед не оставляет дорожки обратных следов, не оставляет надежды укрыться от стылого ветра. Найти человека в буранном Онего – пропащее дело. Вдруг – на берегу очередного сонного взвихренного миража – сотовый проснулся, пискнул, забился под сердцем ожившим птенцом. Вытащив телефон негнущимися пальцами, услышал я голос сына:

– Папа, ты где?! Почему вне связи, почему не отвечаешь?

– Сынок, сынок, – шепчу я непослушными губами, – я на Онежском озере, попал в буран, свяжись с МЧС... Со спасателями свяжись! Скажи, что помощи батька просит. Берега не найду!

– Да, пап! Сообщу! Ты, батя, держись, держись!

И точно, через некоторое время спасатели до меня дозвонились. Мол, с места не сходи, будь на связи. Они сейчас с коллегами из МЧС Ленинградской области свяжутся...

– Алексей Павлович! Это сотрудник МЧС Быков. Где вы находитесь? Сколько времени назад из Щелеек вышли? Так... Я вижу, что ветер восточный, как раз от Щелеек дует. Идите на ветер, который сильнее и продолжительнее всех будет! Пережидайте на месте, если он поменяет направление, а потом снова на него идите! На берегу вас встретят! Не тратьте зарядку телефона, я сам с вами свяжусь! Все, до связи!

Идти на ветер, идти на ветер... Уже и ног не чувствую. Гармошка, то есть шарабан, будто песком набит, а не двумя гремящими в морозной пустоте удильниками-«балалайками». Разве что на время повернуться спиной к ветру, подышать на побелевшие пальцы, отереть онемевшее лицо. А ветер под руки подхватывает, толкает вперед. Кажется, еще чуть-чуть – и с заснеженной автобусной остановки заждавшаяся толпа сама увлечет тебя вовнутрь теплого автобуса, стянутого посередине резиновой «гармошкой»... Но надо выходить, надо поворачиваться сквозь плечи и спины тесно стоящих людей, надо идти на ветер... на покачивающийся впереди, пробивающийся сквозь снежную кутерьму круглый береговой огонек...

Я вышел на мыс Подщелье, где стоял без водителя и светил фарами не заглушенный спасательский «уазик» с прицепом. В тепло протопленном салоне, спящего, и нашел меня инспектор МЧС, который на «Буране» объезжал берег бухты до Чейнаволокского мыса и обратно. Проснулся я в Щелейках, когда радостный доктор наук, растормошив меня, станцевал перед крылечком деревенской избы шаманский танец победителя, воздевая руки к небу и громко восклицая. Ветер, напротив, затих, и метель, перестав кружить, словно длинная меховая накидка первобытной танцовщицы, мягко опустилась на долгий озерный берег.

ЭССЕ

НИЖЕ ТРАВЫ, ВЫШЕ ДЕРЕВЬЕВ

1

Есть в городе Петрозаводске район – Старая Кукковка. Сплошь из одноэтажных, редко двухэтажных домов и домишек. За низенькими заборами – сады: рябины, яблони. За крайним домиком – высоченный еловый лес. Улицы, напротив, узенькие, не мощеные, заросшие обочь травой-лебедой. Но не в пример асфальтовым, названия имели громкие, в честь русских писателей: Короленко, Чехова, Лермонтова. Вот на одной такой, на улице Некрасова, я и родился. Великая Деревянная Кукковка! До середины 70-х годов, опоясанная еловым лесом и ледяными ручьями, была она не чета нынешним, подпирающим ее толевые крыши, коробочным новостройкам. Со своим кинотеатром. Двумя магазинами. Веселой заснеженной дорогой от дома к заледенелому роднику верхом на салазках. И-их! Вот-вот из-за поворота покажется длинный оштукатуренный дом – детские ясли.

Здесь в яслях, среди других ползающих и хныкающих ребятишек, я впервые увидел себя со стороны – маленького мыслящего человечка, сидящего у ящика с детскими игрушками. Это произошло так неожиданно и ярко, как будто из кучи всевозможных вещей и событий я выхватил нечто особенное, что не покажешь никому из знакомых и близких, никому, даже чужому человеку. И нет на земле более важного, более ценного для тебя воспоминания – обретения собственного «я»... Потом

приходят другие знания, другие мысли: мысли, что кто-то думает, действует, предугадывает каждый твой шаг. Но ты лишь сильнее сжимаешь в кулачке железную пуговку из ясельной группы – крошечную пищалку, без которой не ожил, не свистнул мягким розовым брюшком резиновый мишка...

Забирала меня из группы баба Паша. Я тут же убегал вперед. И запыхавшейся бабушке стоило больших трудов догнать шустрого несмышленого малыша, прячущегося за заборами и кустами казавшейся такой большой и знакомой улицы Некрасова...

Скоро воскресенье и – бабушкины пироги. Пятилетним крохой, выхватывая из легкой цветной дымки стол, печь, кухню в старом бревенчатом доме, я наблюдал, как раскатывает тесто баба Паша, как из муки, воды, огня и сахарного песка рождается настоящее маленькое чудо – зятевы пироги... В то время я величал их просто «пирожки с песочком»... Ах, как долго я ждал появления с пышущей жаром плиты тонких поджаристых ломтиков сладкого теста! Как осторожно брал с голубого глубокого блюдца хрупкие ломкие дольки. В месте неровного разлома содержимое горячих хрустких пузырей шипело и булькало, плавилось и сочилось сквозь пальцы на одежду, скатерть, жгло язык и золотило сердце... Бесподобное, вкусное, нежное воспоминание детства! – такое яркое и чистое, что некогда, некогда до сих пор отряхнуть рубашку от белых остывших струек сахарной начинки...

А дорога от старых яслей до места, где когда-то стоял наш дом, оказалась такой короткой. Подслеповато вглядываются в пасмурное небо окна низких деревянных домов. Вот двор заброшенной покосившейся избушки, когда-то охотники привезли сюда найденного в лесу медвежонка. Проходя мимо заросших крапивой дворов, я тщетно пытаюсь найти остовы лавочек и клумб, которые подрывал в поисках пиратского клада детским совочком. Из этих дворов я приносил домой в спичечном коробке майского жука или пугливую гусеницу. Показывал бабушке и отпускал в придорожную траву... В детстве все было близко: жучки, паучки, травинки. Их было столько, что казалось, из этих красивых, гладких, мохнатых, радужных живых существ состоит весь мир. Мне было бесконечно жаль бескрылой мухи, обезноженного паучка, недвижимой бабочки. И какое счастье охватывало меня, когда с ладони на соседний куст слетала божья коровка: «...лети-лети на небко, там твои детки кушают конфетки!»

Не рань, не задень, не наступи... На месте бабушкиного дома

теперь – каменистый огород. За дырявой изгородью в расщелине между двух небольших валунов растет каштан. Потянувшись, достаю до ветки. Лист, похожий на след пеликана, ложится мне в руку. Неожиданный. Нежный. Каким-то чудом залетевший на наши севера. Лист на ладони. Как это много! Как много дали мне родители, бабушка, Кукковка! Улыбчивый папа, красивая мама – намного, намного моложе меня сегодняшнего, сорокалетнего «увальня» – и бесконечно добрая бабушка подарили мне детство. Добрые. Веселые. Любящие. Надеюсь, таким же надежным, таким же родным человеком являюсь и я для своего подрастающего сынишки. «Ты знаешь, папа, – заявил мне как-то сын, – я не хочу взрослеть, но все равно взрослею...» Да, сынок, так происходит. Так неизменно происходит с каждым пытливым мальчиком или смышленой девочкой. Ты растешь. Но вместе с тобой растут твоя любовь и верность, отзывчивость и благородство, с каждым годом становится больше это сильное красивое чувство – чувство детства.

2

В школьные годы не все было безоблачным и чистым. В школе мне крепко доставалось от местных хулиганов – наглецов и задир – за мягкий незлобивый нрав и наивный взгляд... Сейчас это последние люди, просят мелочь у магазинов, складываются на бутылку... Опухшие, жалкие лица... Дрожащие руки... И я, забитый ими в школе, стараясь не будить неприятных воспоминаний и избежать навязчивого внимания безжизненно блеснувших глаз, машинально, как залежалые троллейбусные билеты в урну, сыплю в протянутые ладони какую-то мелочь... Шутка ли – подаю милостыню своим сверстникам... И в глубоком кармане души ощущаю сложенную вчетверо записку, где круглым детским почерком выведено: «Не прощаю...» Об этом кричали мои первые, пафосные, слабые стихи. И, вообще-то, хоть почерк тогда у меня был вполне себе ничего, учился я средне. Любимая учительница литературы была премного удивлена моей долгой поэтической судьбой, ибо на ее уроках я получал не больше трояка за вялую трактовку программных сочинений. Зато немногие школьные товарищи уважительно хлопали меня по плечу, пролистнув исписанную стихотворными столбиками тетрадь: «Молодец! Стихи пишешь, а мы думали, чертиков на уроках рисуешь...»

Важный праздничный дядя, зашедший как-то на семейный ужин, услышав мои стихи, произнес:

– Это ты, наверное, племяш, из журнала «Огонек» переписал.

Пусть так... А пока я иду по знакомой школьной дороге и в такт упрямых шагов сочиняю новые и новые строки о справедливости и возмездии, о безбрежных океанах и диковинных деревьях, о чистых целях и благородных намерениях... Так уж случилось, что из всех зазубренных, запуганных, ответственных и организованных школьных дней, слившихся в одну серую массу, самым ярким впечатлением остается дорога. Вернее, не сама дорога, а то, что сопутствует ей: лужи, деревья, дома, башни дворовых голубятен, кусты вдоль деревянных панелей. Отщипнутые мной юные, а то и рано пожелтевшие листочки, и – мысли. Мысли о прочитанных книгах, об услышанных радиопостановках, увиденных киносказках, фильмах о пионерах, где живут и борются со злом в любых его проявлениях смелые и честные люди. Перед моими глазами в небесных лужах, за горбатыми таинственными сугробами открывались волшебные дали, вставали причудливыми тенями немые обиды. Фантазируя, наделяя себя огромной доброй силой, я разделывался со школьными хулиганами, не дававшими мне прохода на переменках, вырывал из круга прокуренной шпаны своих тихих запуганных друзей и – оказывался в блеклой пасмурной реальности северного городка, больно ударяя себя портфелем по ноге или запуская в небо мешок со сменной обувью... Тогда еще я не прочувствовал глубины народной мудрости, не разгадал загадки, что ниже травы и выше деревьев, на все времена и человеческие судьбы, будет одна, уходящая за горизонт дорога...

Однажды, машинально собрав учебники, напялив куртку с оторванной вешалкой, я вывалился из «черной дыры» школы и поплелся домой, испытывая на устойчивость доски проломленного деревянного тротуара. Очнулся я у подъезда ранее незаметного, молчаливого дома... Что-то постороннее вторглось в границы пустого равнодушного пространства привычного пути: во двор выпорхнула стайка радостных ребятишек! За тремя тонконогими подростками и смышленым карапузом выскочил смешной мохнатый пес. В одно мгновение пестрый, смеющийся, лающий, визжащий клубок покатился за дощатые гаражи. Я остановился в ожидании чего-то необычайного. И вскоре компания появилась, держа за веревочку настоящего воздушного змея! Через миг легкая бумажная конструкция поднялась под самые

облака. Разбежавшись, ребята поднимали змея все выше и выше. Так высоко, что у меня закружилась голова... С тех пор, отвлекаясь от дырчатых деревянных панелей, я стал примечать нечто большее, чем зудящие в голове мысли о школе, несправедливости сверстников, неудачных строках... Я больше не мог спокойно проходить мимо шелестящей дивными страницами, манящей своими историями и приключениями книги жизни...

Когда-то на пересечении улиц маршала Мерецкова и Лососинской набережной располагалась барахолка. После школы мне не терпелось прошмыгнуть между пестрыми рядами, заглядывая в корзины и ведерки. Чего там только не было! Но однажды я не увидел на асфальтовом пятачке шумного базара. Рабочие деловито устанавливали полукругом прицепы-вагончики, носили красочные щиты, что-то пилили, сколачивали. Из глубины таинственных сооружений доносились странные, ни на что не похожие звуки... Что испытал я, увидев на следующий день построенный на рыночной площади Изумрудный город! С замиранием сердца я приник к щелке разрисованного африканскими красками жестяного забора. А там – зебры, крокодилы, львы, бегемоты! И куда только подевались школьные неприятности и заботы? К нам в город приехал настоящий зверинец! Не дожидаясь воскресенья, родительской денежки на билет и мороженое, я мысленно уже был далеко отсюда: путешествовал по джунглям, раздвигал лианы, нырял под широкие мокрые листья, с головой погружался в поющее, клокочущее, рычащее великолепие окружающего мира, обследовал его тропы и перевалы...

Дорога завораживала, оберегала, не отпускала меня ни на минуту. Иногда, увлеченный уличными картинами, живя просторами недочитанной и во многом продуманной наперед книжки, я поворачивал назад и с удивлением обнаруживал себя у школьного крыльца, а то, добравшись до дома, проходил мимо своего этажа или подъезда и оказывался у дверей чужой квартиры, озадаченный странным видом и звяком дверного звонка... Но и сейчас, проснувшись среди ночи от тихого незнакомого звука, оглянувшись назад посреди суетных, стремительно летящих куда-то дней, я ясно осознаю, что уже начинаю забывать о цели пройденного пути, что пора возвращаться к тем кораблям и лужам, мерилам и ценностям, дружбе и любви... от школы к дому.

В церкви

«Упокой, Господи, души усопших рабов твоих...» В церкви малолюдно. Закончилась служба. Перекрестившись на распятье у золоченого Кануна, зажигаю свечу в день памяти мамы. Вспоминаю большую часть жизни, прожитую вместе. Меньшая-то половина – пролетела как один день... Подошла и встала напротив маленькая девочка в туго повязанном платке. Росточком – чуть выше поминального Кануна. От ее близкого дыхания вздрагивали и вновь вытягивались в струнку дымные свечные хвостики. Большие синие глаза внимательно следили за бледными капельками парафина, стекающими по тонким свечам. Огненные язычки завораживали. Дыхание становилось тихим и нежным. И – длинные реснички боялись встряхнуть это яркое зовущее очарование. С какой молитвой обращается к Богу такая малютка? Какой свече, какому имени отдает тепло своего сердца?.. Церковь пустела. Радужки оплывающих свечей медленно погружались в темноту храмовых пределов. Девочка молча смотрела на пляшущие огоньки – переливающиеся перышки удивительных небесных птиц. Стояла, не шелохнувшись... Неожиданно девочка встрепенулась и – мгновенным движением затушила и выдернула из гнездышка мою свечку. Огарочек тут же очутился в деревянной коробочке, где уже катались, подталкивая друг друга, такие же парафиновые «карандаши». Я оторопел. Гремя коробкой, малютка собралась было перейти в другой темнеющий предел, и, повинуясь внезапному волнению души, я едва успел ее перехватить.

– Девочка, постой! Постой, не уходи... Как тебя зовут?

Кроха удивленно подняла на меня свои огромные блестящие глаза.

– Галя...

Галя – так звали мою маму... Не дожидаясь продолжения разговора – некогда! – кроха повернулась и побежала дальше: к иконе Божьей матери, затем – к Николаю Чудотворцу, Святому Пантелеймону. Свечи. Коробочка. Свечи... Но ощущение, ощущение, что только что в маленьких пальчиках – теплым свечным огарком – теплилась жизнь моей мамы, не пропадало, оно было стойким, покойным и светлым... Она здесь, она слышит стук моего любящего сердца! Она слышит всех, кто молится за нее на земле... «Господи Боже! Прости им прегрешения вольныя и невольныя, даруй им Царствие небесное! Аминь...»

Белые сны

В детстве я часто видел один и тот же сон. Сон с продолжением. Виделся мне старинный заснеженный замок. Хрустя навеянным с улицы снегом, по залам и галереям движутся бледные, почти прозрачные люди в белых одеждах. Все они переходят в одну светлую залу, расположенную под самой крышей, и исчезают в высоких распахнутых окнах. В белом слепящем сиянии... Через несколько лет сон повторялся. Я уже знал все лестницы и ходы таинственного замка – до арок белой залы. Однажды, войдя в ровное мерцающее сияние, я проснулся отдохнувшим, счастливым человеком. Теплое, солнечное прикосновение утра ознаменовало конец детским снам и страхам. Я простился с замком на долгие годы. Да кто ее разберет – природу навалившегося на прикрытые, истомленные веки сна? Что таится в нашем подсознании? Почему возвращаются белые, леденящие, вещие сны? Что пытаются они подсказать нам, от чего уберечь? А может, их суть – напомнить о главном, мимо чего проходит суетный, щадящий день...

Проснувшись однажды среди черной январской ночи, я поймал себя на ощущении продолжения того далекого зимнего сна, вернувшейся тревоги... Идем с отцом на окуневую рыбалку. Идем тяжело. Глубокий мартовский снег. Рассветная сутемь. На озере ни души... Первые трудные лунки заставляют скинуть на лед тулуп, рукавицы, колючий рыбацкий шарф. Сказывается мое смешное кособокое неумение пользоваться отцовским ледобуром. Наконец-то, угнездившись на шарабане, я замираю в ожидании умопомрачительной поклевки... Слышится громкий треск. Крепкий утренний наст внезапно превращается в вязкую жидкую кашу. Лед расходится рваными широкими трещинами, выпуская на волю бурную весеннюю воду. Отец машет мне рукой, мол, тикай отсюда, и прыгает на большой лед. Я мешкаю и в последний момент вскакиваю на маленькую верткую льдину, которую, как кусок легкого упругого пенопласта, несет к берегу через жуткие хлюпающие разломы... Стоя на твердой земле, с полной уверенностью, что отец здесь, за моей спиной, оборачиваюсь... Пустынное озеро. Под ногами зеленая трава. Серые утицы садятся на темную зеркальную гладь лесной ламбы...

Простудившись на льду, после зимней мартовской рыбалки отец скоропостижно скончался несколько лет назад.

Не все ночные сновидения остаются в памяти. Только сокровенные, говорящие о самом дорогом и важном. За границами пробудившегося разума плещутся кошмары, бесконечные погони и скользкие утешения, не касаясь сердца, не ступая следом за грядущим днем... Только то, что по настоящему тревожит и зовет за собой – находит свое продолжение в белых, затронувших душу, задержавшихся в памяти на долгие годы снах.

Белый сон. Долгий. Тревожный. Идем вдвоем с сыном подземным лабиринтом. Длинные полутемные коридоры. Белые потрескавшиеся полукруглые стены. Помещения, напоминающие бетонные бомбоубежища. Мы движемся в едином, плотном потоке людей, целеустремленных, по-военному собранных. Повинуясь четким армейским командам, люди поворачивают налево, направо и опять движутся прямо... Сын остановился, нагнулся над расхристанным развязавшимся ботинком и – отстал. Все мои попытки вернуться, поворотить вспять упрямую людскую реку оканчивались неудачей. На выходе из бункера – непроглядная ночь. Редкие слепящие прожекторы пробивают светом промозглую тьму. Найдя свою команду, уговариваю старшего машины подождать, бегу назад. Вглядываюсь в лица выходящих наружу детей. Обегаю урчащие грузовики. Наконец у зеленого пассажирского «уазика» наталкиваюсь на одинокую печальную фигурку: «Ростик! Нашелся Ростик!» В каком-то белом несуразном плаще до пят, с непокрытой головой. Мокрый плащ, большие мокрые заплаканные глаза. Слезы застыли причудливыми белесыми дорожками, повисли каплями на дрожащем подбородке. Соленые щеки. Осыпанные соленой пылью ресницы. «Где ты был, папа? А вдруг бы я потерялся? Что я могу один? Что?» Найдя сжатые, затерянные в необъятных рукавах кулачки, я согрел дыханием озябшие руки, отер щеки: «Ты нашелся – это главное. Пошли. Пошли к машине. Я тебя никогда не потеряю».

Мимо шли автомобильные колонны. Взвизгивали сирены... Я многое еще хотел сказать сыну, снова и снова прокручивая в голове сегодняшнюю ночь. И даже во сне ощущение, что этот кошмарный безликий людской поток, эти переживания – закончатся, что сын обязательно найдется, не покидало меня ни на минуту. Бояться не надо. В любой ситуации надо верить в

любимого человека, знать, что ты не один. Мужская сила не в росте и умении работать локтями. Мужская сила – в стойкости. Можно быть маленьким и хлипким, но выносить многое. Можно быть огромным и нахрапистым, но спасовать перед первыми серьезными трудностями. Стойкость, несмотря ни на что! Стойкость, которой можно гордиться! Слышишь, Ростик? «Слышу, папа...». Обняв сына за плечи, я решительно подтолкнул его в слепящий до полной поглощающей белизны свет прожекторов, в ровное обволакивающее сияние скорого, неизбывного выхода из белого сна, из белого замка...

ТЫ И Я

Книжкины места... Да, именно так я называю географию своих путешествий: поездки на юг, пионерские лагеря, долгие армейские дороги... Я поразительно точно помню, где и когда я прочел ту или иную книгу. Помню те часы, переживания, нетерпение встречи с литературными героями, будь то укромная тенистая поляна, черноморский пляж или полковая библиотека... Забываются лица, имена, расположения казарм и улиц. Но прочитанные страницы, людские судьбы, сила человеческого духа и мысли, поразившие меня, создают ощущение близости давно покинутых мною мест... Прошедшие через сердце, испытанные неумолимым временем, книги – это то хорошее и доброе, что может сделать удивительно долгим и счастливым путешествие по жизни... Об этом подумал я и в тот день, когда ты протянула мне книгу – о любви – Евгения Богата «...Что движет солнце и светила».

Участь книгочея – ранняя близорукость... Отсюда и жизнь миопа: всегда расплывчата, всегда несобранна и нерешительна, но не плоха... Сталкиваясь с грубостью, хамством и вседозволенностью, не придавая значения этим громким расплывшимся очертаниям, всегда можно отойти в сторону, поправить очки и извиниться. Но невозможно, случайно встретившись на перекрестке, незнакомой улице и даже в родном дворе, зацепившись портфелями или зонтами, невозможно пройти мимо такого же тихого, застенчивого и близорукого взгляда, поймав за руку – свою судьбу.

Какие восхитительные, радостные запахи природы подарило нам короткое северное лето! Одномоментно, на краю затянувшейся зябкой весны, захлестнули предместья и пригородные дачные кооперативы удивительные тонкие ароматы заневестившейся до середины лета цветущей сирени, стосковавшихся по долгожданному теплу лесных ландышей, вспыхнувшего застенчивым алым румянцем шиповника. Душистые волны растений создавали ощущение внезапно накатившегося лета с буйными весенними утренниками и ночной осенней прохладой. Едва-едва перевалив июльскую верхушку, в распахнутые форточки, лесные просеки, хмурые дорожные просветы ворвались волны ранней карельской осени. Холодит кожу, пощипывает легко вздымающуюся грудь настой прелой листвы, грибных урочищ, сырого тумана, горьких болотных трав... Растопив баню, наносив в кадки студеной озерной воды, хочется смыть с себя дорожную усталость, колючий озноб пасмурного дождливого дня... И дух бревенчатой бани, настоянный на березовых и можжевеловых вениках, пропитанный жаром сосновых досок, смолистых поленьев, окатывает все наше живое, восторженное, трепещущее существо брызгами вспененной белой черемухи, темного грозового озера, росного луга, окутывает нежным рассветным туманом, еще и еще раз дарит нам ощущение мягкого карельского лета.

Вчера ты решила навести порядок в старых родительских альбомах. Раскладывала фотографии по кучкам: 19 век, 20-й, 21-й... Черно-белые карточки, потертые на сгибах, хранимые у сердца. Картонные портреты. Семейные истории. Выразительные лица. Сороковые... Шестидесятые... Встречи. Юбилеи. «А вот и наше свадебное фото!»... Сошелся пасьянс – длиною в жизнь.

Чего я боюсь?.. Несправедливости, ненужности, хамства. Боюсь потерять то, что люблю больше всего на свете. Боюсь черного окна, в проеме которого когда-то стояла мама, волновалась, ждала. И до сих пор боюсь исчезновения этого чуткого силуэта... Боюсь слез в глазах любимой, горючих, невыносимых... И снова боюсь. Боюсь черного тихого окна под крышей родительской пятиэтажки. Сколько раз оно озарялось светом, когда я перешагивал через порог родного дома: это я! Это я – со всеми недостатками, радостями и привычками, хворями и сомнениями, боязнью хандры, одиночества и сознания того, что могу не успеть сделать то, что умею... Я боюсь потерять тебя.

Боюсь обстоятельств и состояний, которые могут хоть на мгновение разлучить нас, отнять у меня желание быть, испытывать боль и радость жизни на этой земле...

Ласточки – это наши аисты. Они приносят в дом счастье, каждую весну обживая сухое травяное гнездо под стрехой дачного дома. Старая кошка Мурка, забираясь на крышу, по-кошачьи чувствует опасность мягкой упругой лапкой, опасность разрушить этот легкий пищащий мир безграничного счастья, осторожно присматривает за пернатым семейством. Летом в гнездышке появляются птенцы. Вытянувшись на гребне крыши, нежась на солнце, кошка нехотя бросает томный зажмуренный взгляд на снующих в поисках корма пташек. Или так же лениво отвернувшись от гнезда, вполуха слушает щебет играющей на крыльце внучки, неспешный разговор латающих дачный забор сыновей... Пусть не пустеет гнездо, пусть оживает дом ранней весной и затихает с последним осенним отлетом. Пусть возвращаются в гнездышко под крышей ласточки, наши добрые ангелы, принося в дом счастье.

Ты и я. Многое объединяет нас. Многое, что подразумевает под собой слово «семья». Семь я: дом, работа, друзья, увлечения, дети, ты и я. Ты и я – путешественники. Не было ни года, когда бы мы не выезжали за пределы Карелии. Посетили удивительные уголки мира и европейские столицы. Увидели теплые моря и дышащие холодной вечностью заснеженные горные вершины. Обходили с благоговейным трепетом места, связанные с пребыванием поэтов и мыслителей, русские монастыри. Были очарованы закатами и восходами глубоких, безбрежных, удивительно красивых озер. И снова... мы возвращаемся домой. Нам еще многое надо познать и увидеть, чего мы раньше не замечали. Перед нами открывается неизведанная, необъятная, былинная отчая сторона, чьи леса и горы, моря и реки одни-то и могут сравниться с широтой души, чистотой сердца и сокровенностью любви, со страницами еще не прочитанных книг. Мы живем этой новой встречей. Мы пойдем рука об руку вдоль темной озерной воды, по склону таежного кряжа, по еле заметной тропинке... Ты и я.

ДЕД

Так уж устроены люди: что имеем не храним, потерявши – плачем... С теплом и любовью я вспоминаю своего не родного и бесконечно близкого деда – Федора Ивановича Галинку. Как хотелось бы сегодняшним днем вернуть те дни и недели, когда можно было поговорить с дедом, узнать больше о нем, расспросить обо всем, услышать от него мудрый совет или интересную новость. Но это мы понимаем задним числом, не возвращая отрывному календарю все сорок лет оборванных, но не прочитанных страничек жизни...Чувства и переживания ищут выхода из череды обыкновенных дней, теснятся в голове, владеют сердцем, стремятся на бумагу и проникают в сны...

Недавно я видел во сне мастерские, где работал дед. Какая-то невидимая волна подтолкнула меня к проходной, через которую я никогда не проходил, а может, ее и не было вовсе... Я искал деда... Вернее, я стремился найти людей, которые его знали, увидеть его цех, кузню, почувствовать запахи горячего железа, услышать бой механического молота... На проходной, узнав о цели моего прихода, приятно засуетились и тут же проводили меня в административное здание, к начальству. Деда здесь уважали. Сорочья почта оповестила рабочий и начальствующий люд, что мастерские посетил поэт, внук Федора Галинки. И меня нисколько не удивляло обстоятельство, что ко мне подходили мужчины, знакомые мне по старым черно-белым фотографиям из дедушкиного альбома, и одеты они были по моде 50-х годов – в широкие брюки и свободные пиджаки. Как будто время прокрутило свои заводские маховики на 60 лет назад, когда отстраивался разрушенный войной Петрозаводск и люди вдохновленно смотрели в далекое и безоблачное Завтра, когда меня еще не было на свете... Провожатые водили меня от одного начальника к другому. В коридорах незнакомые люди жали мне руку. Оказывается, многие знали о моих детских проделках. Как дедушка, от невозможности остановить мои прыжки и спурты из комнаты в кухню и обратно, на время привязывал меня к кровати простынями и полотенцами... В кузнице меня окружила дедовская смена. Широкоплечие мастера в заскорузлых спецовках на время остановили свои грохо-

чущие машины. Закопченные лица озаряли белозубые улыбки. И все говорили о деде, будто он был не простой кузнец, а начальник отдела кадров. Зная о моем творчестве, торжественно повели в красный уголок, где уже собрались рабочие, дружески оглядывающие мою смущенную фигуру. Волнуясь, я прочел несколько стихотворений. После выступления каждый старался подойти и, похлопав по плечу, сказать доброе слово внуку-стихотворцу, вспомнить деда. При выходе из заводской конторы, оглянувшись на незнакомые и такие родные стены, я заметил памятную доску, вылитую из темного металла, на которой золотыми буквами было выбито: «Здесь работал кузнец Федор Иванович Галинка».

Дедовская квартира на улице Краснодонцев была местом сбора двух семей: моей мамы и ее сестры Алевтины. Сестры очень уважительно относились к отчиму – мудрому и сильному человеку, уроженцу Украины Федору Галинке. После войны он взял в жены женщину с двумя девочками. Годы были трудные, голодные. Петрозаводск восстанавливался из руин. И помощь деда-кузнеца, участника войны, семье и городу была оценена по заслугам. После скитаний по родственникам и обитания в летних сараях, где нельзя было пользоваться огнем и ночью в звездные щели проникал северных холод, Федору Галинке выделили двухкомнатную квартиру в двухэтажном деревянном доме.

Вот в этот дом мы и стремились. Мы – это я и мой двоюродный брат Серега. Сестры с удовольствием оставляли у деда и бабушки двоих пострелят. Но занимался с нами, конечно, дед. Бабушка работала в буфете кинотеатра «Сампо», была занята с утра и до вечера. Всегда торопилась – к подругам, дочкам, не отстать от переменчивой моды, занять очередь в магазине. А дед был дома. В 1960-х годах у него открылась военная рана, началась гангрена. Дед остался без ноги. На костылях он ходил с нами в лес, показывал, как надо искать грибы, собирать ягоду, различать полезные растения, выкапывать калган.

Но большую часть нашего ребячьего времени занимал двор – с сарайками, ходулями, высокой голубятней. Авторитет деда для дворовой шпаны был непоколебим. Никто не смел тронуть галинковских внуков. На глазах ребятни по мановению сильных мастеровых рук Федора Ивановича появлялись на свет воздушные змеи, деревянные поделки, свистульки, подшипнико-

вые самокаты. Его украинские прибаутки смешили весь двор. Для каждого у него припасено меткое словцо или занимательная история. На широкой лавке перед подъездом находилось место першим дружкам: штепселю Кольке, торопуньке Игорьку или соседскому Шурику-мацапурику. А ватажный атаман Витька Чигушин величался забавно и таинственно: Чингачгук – вылыка гадютьсяра.

А какие Федор Галинка готовил украинские борщи и щи из крапивы! Дед читал все отрывные календари, где, вместе с кулинарными рецептами, выискивал различные полезные факты, исторические события, мысли великих людей. Не раз я приносил ему из школьной библиотеки книги о животных, географических открытиях, целебных травах. Настольной книгой деда была брошюра о пользе пчелиного меда, мумие, прополиса. Всеми найденными полезными мыслями он непременно делился с нами. Важно садился на диван, увлекал в широкую пружинную яму внуков, доставал из специальной папочки листы отрывного календаря или книжку с закладками и читал, читал, забавно поглядывая из-под очков на наши красноречивые физиономии: когда же наконец дед нас гулять отпустит...

Но главным дедовским богатством лично для меня были подшивки журнала «Крокодил» – с 1958 года! Чего греха таить, расшалившись с братом, мы могли перевернуть вверх дном всю квартирную мебель. Дед нашел единственный способ, чтобы не привязывать внука к кровати и усмирить мой непоседливый, любознательный нрав, – он доставал из шкафа каждый раз новую годовую подшивку «Крокодила», и я замирал над цветными страницами на долгие упоительные часы. Дед буквально влистал в меня юмор и добрую иронию, которыми пестрели листы советского сатирического журнала.

До сих пор, соответственно жизненным обстоятельствам, оживают в моем сознании картинки, шутки и карикатуры, увиденные мною в детстве. Да и сама веселая, жизнерадостная, неунывающая обстановка дедовской квартиры, наполненная булькающими кухонными звуками, шелестом отрывного настенного календаря, запахом трав и лечебных мазей собственного приготовления, готовила нам с братом новые и новые сюрпризы. Как-то бабушка, крепкая, дородная женщина, пришла из «самповского» буфета слегка навеселе. Отмечали коллективом какой-то революционный праздник. Увидев с порога родных

внуков, она сгребла нас в охапку, прошла в комнату и подняла нас за грудки – по одному ребенку в каждую руку – вверх, к цветному закачавшемуся абажуру. От неожиданности происшедшего пуговки на детских рубашках выстрелили дружным залпом. Мы с Серегой не могли произнести ни слова, зато довольная бабушка с гордостью восклицала: «Я – Жаботинский! Я – Жаботинский!»... Насилу дедушка нас от бабушки отбил.

Весной 1976 года дедушка почувствовал себя хуже. Сказалась вынужденная малоподвижность могучего тела кузнеца – у Федора Ивановича на фоне развившегося сахарного диабета началась гангрена второй здоровой ноги.

Перед тем как лечь в больницу на сложную операцию, дед подарил нам с братом по книге. Книги в то время значили очень многое. Они не теснились на полках. Они прочитывались залпом и передавались друг другу как бесценное сокровище. Сергею досталась книга Алексея Толстого «Петр I». А мне – каверинские «Два капитана». Наверное, благодаря этому подарку, рассказам дедушки о фронте, я выбрал своим жизненным кредо военную романтику, окончив артиллерийское училище в Свердловске, где в курсантской газете состоялась моя первая стихотворная публикация.

Операция не помогла. Беспомощным обрубком дедушку перенесли в палату, положили на кровать. Дед бредил. Метался в беспамятстве. Никого не узнавал. Бабушка пыталась его напоить чаем. Следила за капельницей. Меняла простыни...

Последними словами умирающего Чехова была сказанная по-немецки фраза: «Я умираю...». Оскар Уайльд перед смертью оглядел комнату и выдохнул иронично: «Или эти обои, или я...». Что произнес, умирая, мой неродной дед Федор Иванович Галинка, мне потом рассказала бабушка, сидевшая у его больничной постели. Перед тем как впасть в предсмертную кому, дед ненадолго пришел в себя, взглянул на бабушку, взял ее за руку: «А, это ты, торопунька...» Через несколько часов его не стало.

Какие разные последние слова произнесли разные люди. Кузнецы, писатели, романтики, мастера, разделенные веками и странами. Но большая судьба, большое сердце, большое желание жить объединило их, таких непохожих, таких любящих людей, как Антон Чехов, Оскар Уайльд и дедушка Галинка.

Под могильный камень,
Жижу и суглинку
Не отпустит память
Федора Галинку.
Загостилась, верно,
Давняя кручина...
Все жестокосердна
Родина-чужбина!
Но того, чужого,
Не отнять у деда,
Здесь его «Аврора»,
Здесь его Победа...
Битый век снисходит
До обиды детской
К той стране далекой,
К той стране советской.
А куда податься,
Перейдя границы,
К тем же «иностранцам»,
К тем же украинцам?
Уповать на память —
Бередить обиду...
Что же будет с нами
И Россией, диду?
Безоглядной веры
Я твоей не стою,
Стоя пред фанерной
Красною звездою.

СТРАНА РОЖДЕНИЯ – СССР

1

Придет час... Придет час – расставания... Что ты будешь вспоминать, жалея себя, родных, детей? Недополученную любовь, тепло, награды? Что не сумел, что успел совершить? Будет и это... Но постепенно, отходя от суеты, следуя за полоской небесного света, Душа – окунается в густые травы, раздвигая упругие ветки, уходит в небо, в небо Родины. Перед глазами плывут городские скверы, деревенские причалы, палисадники детства, кусты смородины и малины на родительской даче, город студенческой юности, лесные озера и железнодорожные полустанки, все, что связано с семьей, друзьями, что озарено вспышками избирательной и щадящей памяти – свои маленькие парижи, иерусалимы, земли Санникова. И эти вспышки, этот тонкий небесный луч – вся твоя жизнь: первая книга, спектакль, стих, успех, первое любовное чувство, посаженное дерево или выточенная своими руками деталь, первая молитва, первое слово твоего долгожданного ребенка, радость, ощущение переполняющего тебя мира – это много! Это стоит жизни.

2

Улица Загородная, когда-то – окраина Петрозаводска. В моем дошкольном детстве на ней жили мамины родственники, стояли редкие пятиэтажные и двухэтажные дома. За железнодорожной линией и деревянными складами шумел лес. Сейчас вдали вместо девственной лесной чащи высятся многоэтажки четырех разросшихся микрорайонов. Улица Загородная оказалась в центре современного, категорийного города. Летом, осенью, зимой – под слоем пыли, опавшими листьями, под толщей оплывшего снега – неодолимая временем, застрявшая в колеях эпох грунтовка. Почитай 300 лет со времен Петровской слободы елозят суглинок и ледяные колдобины упертые обыватели и осмелевшие тарахтелки. Разлившиеся ручьи, бурлящие рытвины, грязь, редкие островки суши, где теснятся пустые сараюшки и брошенные гаражи, предваряют появление огромной замечательной лужи. В начале 70-х катали меня по этому достопамятному водоему на сколоченном дощатом плоту двоюродные братья... Братья – старше меня на восемь

лет – рассказывали, что раньше, до моего появления на улице, вся Загородная, и их двухэтажка, и восхитительная лужа утопали в яблоневых садах. Яблони росли во дворах одноэтажных частных домов, свешивались через дощатые заборы, укрывали дорожные рытвины белым весенним снегом. Но в один миг ради нескольких блочных «хрущёвок» снесли деревянные дома, вырубили сады. Из разоренных человеческих гнезд мальчишки 60-х вытаскивали старые патефоны и оставленные хозяевами иконы. Иконы ставились в ряд за ближайшими сарайками и расстреливались камнями. Разлетались стекла старинных киотов. Брызгала позолота... Бога нет. Так учили маленьких «стрелков» в школе, об этом многозначительно молчали глядящие на обрубленные яблони и площадки для новых штампованных пятиэтажек сердобольные домочадцы. За эти ли или за какие другие грехи переселили «загородских» жителей в одну из таких гулких, вместительных «хрущоб» у кинотеатра «Сампо». Обезлюдела улица, выросли и поразъехались дворовые друзья. Не слышно окрест детских голосов... Но до сих пор сияет призывной небесной гладью и манит яблоневыми облаками океан моего городского детства.

3

Нет-нет да и аукнутся в памяти детские годы, дорога в школу. Вспоминая «ударную» десятилетку, мысленно перелистываю свое первое пятерочное сочинение по повести Валентина Катаева «Сын полка». Учительнице литературы, причем сельской, а не городской – в четвертом классе я три месяца занимался в Кончезерской школе при детском санатории «Кивач» – понравилась моя трактовка дальнейшей судьбы Вани Солнцева. Я до сих пор храню эту памятную тетрадь. Школьные тетрадки... Умные обложки предлагали ученикам, для пользы дела и патриотического воспитания, таблицу умножения, меры веса и длины, тексты популярных советских песен: «Орленок», «Взвейтесь кострами», «Песня о Родине», «Солнечный круг», «Маленький барабанщик». Сейчас дети идут в школу с тетрадями и дневниками, кричащими о красивых, богатых, зомбирующих удовольствиях. Яркие картинки рекламируют кока-колу, английские футбольные клубы и дорогие машины, показывают новинки молодежной моды, прелести полуголых красавиц и японской анимации. И как-то незаметно, неброско, мимо красочной современной рекламы, бредет никому не нужное, не родное детство, ковыляют добрые слова и полезные вещи...

Вымаранное прошлое и – яркое будущее в пустых аляповатых картинках... А не будет ли то же самое и с идеологией этой, не нашей, навязанной, пресыщенной наслаждениями жизни? Ведь подобное происходило уже в истории России – с Белой гвардией. Отметались как пережиток, невозвратно уходили дворянская культура, гордость, мысли о судьбе покинутой Родины... Как ныне уходит Красная гвардия – ни чести, ни славы... Ни заводов, ни деревень... Закрываются и перепрофилируются детские лагеря и санатории... И желания – или ниже пояса, или о большом количестве денег... И ни слова о Родине, которая начинается в том числе и со школьных тетрадок, и с «картинки в твоем букваре»... Слово, надо сохранить Слово. Но как иногда хочется на веки вечные отодвинуть в глубину письменного стола тетрадь, куда я в последнее время заношу свои мысли и наблюдения, прихлопнув ладонью красочную обложку с летящим над пропастью Суперменом...

4

Когда в 1953 году умер Сталин – все плакали. Плакала моя мама, худенькая семилетняя девчушка, воспитанница детского дома. Думали, будет хуже. Стало лучше. Стали возвращаться из детдомов и тюрем наши родные. После разрушительной войны, неоправданных репрессий и нечеловеческих усилий работного люда – выжил, выстоял Советский Союз!

В 1982 году умер Леонид Ильич Брежнев. Молчавший тихие застойные годы, заверещал над корпусами Онежского тракторного завода долгий гудок. Я вышел из механического цеха, вытерев грязные руки и влажную испарину на разгоряченном лице мотком ветоши. На несколько минут по всей стране встали цеха, фабрики, фермы. В один момент страна ахнула! Те, кто прильнул в тот час к телевизору, увидели, как неловкие служаки уронили в могильную яму дубовый гроб. И подумалось – все. Хуже уже не будет.

С рухнувшим в Красную площадь гробом – оборвалась цепь советских поколений, и уже не остановить закрутившейся шестерни истории: смену генсеков, партийную чехарду, перестройку, предательство и беспомощность власти... потерю идеалов тысяч и тысяч выброшенных на произвол судьбы, лишенных работы и смысла жизни людей. Ничего не вернуть. Никому не вернуться в Советский Союз... Разве что в анкете: страна рождения – СССР...

5

Многое изменилось за последние годы. В стране воцарился культ вещей. Вещи, вещи, вещи! Вещи заполняют комнаты, сверкая драгоценными камнями, утяжеляют шеи и руки, разделяют людей стенами, особняками, банковскими сейфами и зачастую обедняют и захламляют душу. Вещи не возьмешь с собой в могилу. Ненужные, чужие вещи не приносят счастья. В лучшем случае они превращаются в деньги. Деньги – превращаются в пыль... Но есть вещи, в которых больше души, чем в делах и поступках многих ценителей и хранителей вещей. В них есть нечто неуловимое, что заставляет вспыхнуть или увлажниться слезой радужки глаз, что схоже с приятными и давно забытыми ощущениями пальцев, удивленным и трогательным замиранием жизни, которое происходит при встрече с чудом – дорогим воспоминанием. Вот они: обнаруженные в нише родительской квартиры старые детские пальтишки; принесенная, вскоре после похорон, из заводского рабочего шкафчика клетчатая фланелевая рубашка отца; оставшаяся от мамы родовая икона, намоленная, истинная, с необыкновенными, выписанными древним мастером глазами Иисуса; старинная елочная игрушка, без которой не обходился ни один Новый год моей жизни в стенах родного дома; бабушкины заводные часы, чье сердцебиенье не останавливается уже 40 лет... Вещи, соединяющие поколения, судьбы, неумолимо текущие века, – это то, что было известным рефреном советской песни: «с чего начинается Родина». А продолжение песни, продолжение Родины – в прикосновении памяти. Уходят страны, стареют вещи, а Родина остается: Родина, род, семья... И хочется верить в это продолжение, что для кого-то эти вещи, мысли, песни, образы, принятые и понятые душой и составляющие ее несметное богатство, станут глотком свободы.

6

Кому-то необыкновенно повезло – родиться для светлой жизни и умереть с верой в безоблачное завтра, так и не узнав всей страшной правды, не испытав разочарования от бездарного, предательского скудомыслия вождей, не изведав горечи Великой Победы, не заглянув в зыбкое будущее своих детей и горячо любимой Родины... Кому-то несказанно повезло – родиться и умереть в Советском Союзе...

МАРЦИАЛЬНЫЕ ВОДЫ

Хорошо в Марциальных Водах! Хорошо снежной зимой и звонким комариным летом. Хорошо и поздней осенью, когда остывает солнце и ватную сонную траву сковывает иней. Еще не подул вольный Северный ветер, не намел непролазные сугробы, не укрыл белой шубой заиндевевшую позолоту. Бело-зеленое кружево обрамляет шуршащую, накрахмаленную инеем тропинку. Будто сама Земля, белолицая невеста, протягивает украшенный дивным подзором рушник могучему великану – триобхватному сосновому кряжу. Теплая червленая кора – кольчуга древнерусского воина. Красные бугристые сапоги. Облитый солнцем богатырский шелом. Ветви, как заткнутые за пояс мечи. Поднята на плечо тяжелая палица. Плащ – сверкающей смоляной лавиной стекает в распадок с журчащим ручьем. Тихо на сердце. Тихо в природе. Спит за зеленым косогором Северный ветер. Дышит спокойствием и силой карельская сосна...

Отпуржила зима, отряхнула от рыхлого снега дороги и взгорки. Приготовилась к встрече весны. И задумалась, замечталась. Не торопится дальше на Север...

Пока не раскрылся ледяной озерный цветок и верба на стылом ветряном берегу не брызнула ввысь пушистыми почками, я иду навстречу одиночеству – вербному острову, затерявшемуся посередине заснеженного лесного озера. Загостившаяся стужа сковала ивовые кусты, защемила сердцевину, не пустила живительный сок навстречу скупому мартовскому солнцу.

Наломав хрупких ледяных веточек, поставлю их в банку, расшторю кухонное окно!.. Исполнится радостью Душа, когда нежный весенний пух станет белее снега и тонкие ветки коснутся мокрых соленых щек, и – мне будет с Кем поговорить...в Вербное Воскресенье.

...Налетевший Северный ветер разыгрался как ребенок с прошлогодней листвой! С ветки на ветку прыгают яркие алые мячики – снегири. Засмотревшись на них, забыл о своей игре ветер, уронил листья в заледеневший ручей. Выпятил губы, зах-

ныкал, закружился в обиде на глупых птиц и дунул, что есть силы, в самую снегириную стаю. Полетели в белое небо легкие юркие пташки.

Стало холодно. Пойду домой, отогрею пред белым тетрадным листом озябшие руки... Наступил март, но по-прежнему стоят морозы и кружится снег. Обиделся на нашу землю Северный ветер. Чудак! Играть с юной липкой листвой, трепать первоцвет не менее интересно, чем студить лужи и поднимать в небо снегирей. Осади! Не гони на солнце снежные тучи! Дай земле проснуться...

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ НА УЛИЦЫ ДЕТСТВА

Семья, двор, школа... Ощущение себя в мире и мира в себе – у всех складывается по-разному. У каждого есть свой взгляд на одни и те же вещи, свои игры, пристрастия, музыка, книги, свой круг общения, свое выростание из детских фантазий...

Мир моих детских фантазий стал предтечей непроходящего подросткового романтизма. Детсадовские игрушки, первые детские киносказки, книжки и пластинки сформировали мое самоощущение, выпестовали воображение и мечтательность, подтолкнули к более красочному, живому, образному осмыслению фильмов и телепередач, книг и радиопостановок, кляссера с марками и жестянки со старинными монетами, которые частенько заменяли мне товарищей по играм и занимательным беседам. Не скажу, что я был необщительным ребенком. Но я не знал тогда другого внешнего круга существующего вокруг меня мира, не ограниченного циркулярной линией очерченного рекой и дорогами городского района – двор, семья, школа...

В школе – круг общения замыкался двумя-тремя приятелями и тесной партой, подавляющей волю и вырабатывающей способность воспринимать учебный материал, си речь – усидчивость. Двор – насаждал своих ватажных авторитетов и приучал терпеть незаслуженные обиды. И только дома, открывая книгу, перебирая марки, просматривая дневной фильм, включая радиопостановку или ставя на проигрыватель любимую пластин-

ку, я на мгновение погружался в другие звуки, краски, запахи, истории окружающего меня мира.

Однажды мне подарили старый николаевский пятак. Потом кто-то оставил мне английский пенни. И я начал собирать старинные и иностранные монеты. Увлечение мое было недолгим и несерьезным. Я даже изредка пополнял фонды Карельского краеведческого музея из собственной сокровищницы. Брал потемневшую монетку с царским гербом или советский серебряный полтинник с мускулистым молотобойцем и относил знакомому музейному работнику. Мужчина с серьезными большими очками, рассмотрев предложенные монеты, вручал мне контрамарку на пять (!) бесплатных посещений музея и снова уходил в таинственные фондохранилища. Сколько раз, всматриваясь в остекленные стеллажи с рассыпанными по ним монетами, я пытался разглядеть свои... Но все медяшки и серебряшки были досадно неотличимы друг от друга. И мне ничего не оставалось, как в очередной раз обходить трехэтажные экспозиции музея, под штукатуркой и глобусообразным куполом которого скрывались стены кафедрального собора, превращенного Советской властью в храм культуры. Экскурсия начиналась с зала революции и заводского дела, поднималась в карельскую избу и поселения каменного века и заканчивалась на третьем этаже, где экспонировались обитатели лесов и озер Карелии. Посередине природоведческого зала были выставлены чучела лосей в обрамлении искусственных елочек и рябин. С этой живописной экспозицией был связан один забавный случай. Случай из детсадовского детства...

Летом мой детский сад, находившийся по соседству, на улице Льва Толстого, в полном составе выходил на «Ясную поляну». Так назывался коллективный выход на прогулку в «музейский» парк. На полянах среди высоких деревьев и заросших кустов мы и играли: в ляпы, прятки, белки-собачки, сражались на вицах со сверстниками из старшей группы. А за кустами и деревьями высился таинственный «глобус» музея. И вот однажды нас повели на экскурсию в это величественное колонное здание. Поднявшись по широкой лестнице, стайка дошколят оказалась под притягательным музейным «куполом». Детсадовцы осматривали мохнатых, пернатых, чешуйчатых представителей природы Карелии. За всем происходящим следили дремотные взгляды восседающих у входов и выходов бабушек-вахтеров. Вдруг по гулкому паркету зацокали каблучки экскурсовода:

«Внимание, дети! Перед вами экспозиция флоры и фауны Карелии...» Следуя в направлении движения руки решительной и строгой женщины, экскурсия облепила слабо освещенную застекленную нишу. За стеклом – высился замшелый карельский лес с птицами, лисами, кабанами. Местами между застывшими лесными обитателями лежал снег. Не утерпев, я спросил тетю-экскурсовода, почему здесь так холодно – даже звери бедные замерзли... «Нет, мальчик, – гневно взглянула на меня экскурсовод, – они не замороженные и снег – не настоящий!.. А теперь плавно переходим из зимы в лето, – продолжала свое выступление тетя. – Видите, в траве – голубые в крапинку яички? Это – яички дрозда. А в этом гнездышке – бледно-кофейные в бурых пятнышках – глухариные... Мальчик, – опять пресекла мои удивленные восклицания сердитый экскурсовод, – ты можешь помолчать хоть минутку? Когда я закончу, разговаривай сколько угодно. И не дави на стекло руками. И носом не дави!.. Во мху, – обернулась она к экскурсантам, – прячет свои бледно-желтые с густым темно-бурым крапом яички куропатка. Яйца серого журавля – оливкового цвета, достигают 97 мм. В центре залы семейство лосей...» Тут уж я не смог сдержать своего любопытства и задал раздосадованной женщине вопрос: «Тетя экскурсовод, а какие у лося яички?»...

Некоторые вещи запоминаются на всю жизнь. Воспоминания детства – сотканы из таких случаев, приключений, мироощущений, мыслей и поступков. Становление человека как личности, его привязанности, настроения, нравственные ценности – не прерогатива зрелости. Человек формируется до шести лет – по этим первым детским впечатлениям он и проецирует свою дальнейшую жизнь. Конечно, существует судьба, не зависящие от человека обстоятельства, но то, что заложено в нем в детстве – остается неизменным... Мне повезло. У меня было счастливое детство. И удивительно чуткая детская память. При разговорах с родителями, встречах с дядями и тетями, воспитательницей детского сады Марией Ивановной, помнящих в образах и красках многие связанные со мной происшествия, все снова встает пред глазами, как будто это было вчера: «Что мы умело, надежно растратили, Что бы хотели вернуть?.. Тусклый ночник в круглосуточном садике, только не страшно ничуть. Дружно пищат топчаны деревянные, если шалят малыши!.. Жаль, что относится Марья Ивановна в садике к людям большим».

Хорошо думается-сочиняется, когда проходишь улицами

детства. Укладываются в стихотворный размер шаги по городским тротуарам и дворовым площадкам. Осыпается желтый дубок на дорожки детсада. Шуршит листва в скверике «музейского» парка, где раньше, до установки на набережной, красовался памятник Петру I. И вот еще одна история о музее. Правда, уже из моей армейской коллекции.

Как-то повел я в Краеведческий музей солдат – военных строителей. Контрамарки школьные у меня давно закончились, поскольку лет мне было далеко за двадцать, но военнослужащим полагалась скидка. Такие культпоходы я, тогда замполит военно-строительной роты, базировавшейся в Петрозаводске, устраивал ежепризывно. Подходя к заветным колоннам, увидели табличку «Закрыто на ремонтные работы». Как закрыто? Заранее звонил, договаривался. Поинтересовался у первого попавшегося на глаза ремонтника о причинах неожиданного аврала. Оказывается, «гнездившиеся» под куполом музея лоси проломили своей рогатой тяжестью старые переборки и, увлекая за собой балки, монеты, прялки, каменные топоры и прочие экспонаты, очутились совсем в другой экспозиции – под знаменем и лозунгами Великого Октября... Ремонт, как водится, затянулся. За время реконструкции канул в Лету Советский Союз. В середине 90-х годов здание музея стало принимать очертания храма. И уже в 2000 году собор Святого благоверного князя Александра Невского освятил патриарх Алексий II.

Коллекция историй оказалась долговечнее коллекции монет. В классе пятом или шестом, накопив изрядное количество «дублонов» и «пиастров», я – по примеру героев своих любимых пиратских романов – пересыпал звонкое сокровище в мешочек и спрятал его в куче битого кирпича за дворовыми гаражами. На дворе была осень, потом, как всегда совершенно неожиданно, наступила зима... Туго пришлось бы пиратам с Острова сокровищ зимой в наших северных широтах. Вот и мою кирпичную кучу засыпало снегом и так стянуло морозом, что я волей-неволей «охладел» к монетному кладу... По весне, разобрав по кирпичику наконец-то оттаявший «остров сокровищ», я собрал свое мелкокалиберное богатство в жестяную банку и обменял на несколько удивительных книг. Среди моих первых приобретений оказались: Герберт Уэллс, «Двенадцать стульев. Золотой теленок» Ильфа и Петрова, трехтомник Николая Носова и «Дон Кихот» Сервантеса – кладезь моей юношеской библиотеки...

А в ту долгую «пиратскую» зиму, чтобы не ходить караулом вокруг заснеженных гаражей, я нашел себе новое хобби – стал филателистом. Выпросил у двоюродного брата альбом с марками, начал собирать серию «Искусство»: картины, скульптуру и другие горшечно-прикладные поделки. Со временем четыре любовно проложенных калькою альбома пополнились миниатюрными шедеврами Репина, Федотова, Саврасова, творениями мастеров эпохи Возрождения.

Будучи уже взрослым человеком, в Санкт-Петербурге, Москве, Флоренции я лишний раз убедился в пользе этого созерцательного собирательства: я видел многие художественные сокровища человечества задолго до посещения знаменитых музеев – на почтовых марках, особенно это было заметно во время путешествия по Италии: «Капеллы Сикстинской божественный кров, двор Медичи, площадь Сан Марко – явилась воочию страна мастеров, знакомая с детства по маркам»...

Увлечение марками было повальным! Важный продавец магазина «Филателия» кивал ребятам с нашего двора, как старым знакомым. Но не делал никакого снисхождения при продаже объединенных серий, когда паровозиком за Микеланджело или Рембрандтом шли бабочки, самолеты, пароходы и летние Олимпиады. Зато при очередном сборе «клуба филателистов» в соседнем подъезде эти довески обменивались по интересам, и я приобретал нужные мне произведения искусства... После моего возвращения из армии я узнал, что мой десятилетний братишка – доморощенный «искусствовед» – на манер игры в фантики, накрывая одну марку другой, в том же подъезде проиграл мою лучшую графику... С досады я забросил все мои осиротевшие альбомы на самую верхнюю книжную полку! Так я перестал собирать марки – и, дотянувшись, достал с полки томик Есенина...

Определенно, настоящей моей страстью были и остаются – книги! Я был записан в нескольких городских библиотеках. Прочитывал по пять толстых книг за неделю. Был постоянным читателем домашних библиотек своих друзей и знакомых. Просчитав свои капиталы и возможности, я сделал план-карту книжных магазинов Петрозаводска, чтобы планомерно в течение месяца обходить святые для истинного книгочея места... О, какое это было блаженство – найти под спудом букинистических развалов нечаянную книгу или оказаться у прилавка как раз к моменту новых книжных поступлений! Купленный то-

мик, в зависимости от содержания, будь то исторический роман, рассказы Чехова или повесть-сказка, становился в ряд с такими же тематическими произведениями по одному мне известному порядку. Стоя спиной к книжному шкафу, я мог назвать по счету любую книгу, рассказать, о чем в ней говорится, и перечислить ее ближайшее славное окружение. Я собирал книги трудно, хлопотно, вожделенно. Порой это походило на то, как выбирал и оглаживал кирпичи, купленные на Рождество для строительства собственного домика, кум Тыква. Книги-кирпичики занимали свои места на полке, в моем собственном мироощущении, в безмерно благодарном сердце: «Наивная романтика – бездонная казна! Здесь Тихий и Атлантика, полет и глубина. Здесь под рукою зыблется живое серебро: Сервантес, Киплинг, Стивенсон – Отвага и Добро!».

С каждым годом книг в моей библиотеке становилось все больше и больше, а времени, чтобы их прочесть, все меньше и меньше. Оглядываясь на прожитую жизнь, угадывая смутные чаемые очертания предначертанных мне свыше лет, искренне огорчаюсь тем, что мне никогда не успеть прочесть всех книг, купленных мною после детства...

А в двенадцать лет, благодаря своей начитанности и просветительскому упорству, я подвиг и своих родственников на повышение личной литературной образованности. Правда, по мере их скромных возможностей. Бабушка Аня, работавшая буфетчицей в Музыкально-драматическом театре, непременно покупала мне книги во время обслуживания партийных пленумов и профсоюзных конференций, проводимых во владениях богини Мельпомены. На такие мероприятия из закромов специальных магазинов доставляли настоящее книжное «золото». Так в моей библиотеке появились романы Купера, Киплинга, Стругацких. Зато бабушка Оля, любившая путешествия, но постоянно путавшая понятия «полезная» и «хорошая» книга, привозила мне из дальних странствий то «Путеводитель по Молдавии», то «Справочник охотника-рыболова»...

Бабушке Оле прощалось многое. Она продавала мороженое в кинотеатре «Сампо». Так что бесплатные мороженое, широкоэкранный просмотр и лечение воспаленных гланд мне были обеспечены. Кроме того, можно было выпросить у бабушки несколько трехкопеечных монеток и в компании увязавшихся за мной друзей-киношников запить «здоровские» впечатления холодной газировкой, автомат по выдаче которой находился на

углу нашего гастронома... На условный стук и секретный пароль «Это внук бабушки Оли!» открывалась дверь служебного входа, и под рукой строгой работницы кинотеатра следом за мной проскакивали пара-тройка дворовых пацанят, навостривших совершать подобные маневры, играя в ромбики и казаки-разбойники... На школьных каникулах родители, перед тем как пойти на работу, сдавали меня бабушке на целый день. Целый день я ел мороженое и смотрел один бесконечный фильм, поставленный на все сеансы. Но чего не сделаешь ради сборника мультфильмов, обязательного спутника Планеты Каникул! Советские мультяшки – бриллианты в миллионы каратов! – шли в 10 и 13 часов. «Внуки бабушки Оли» с замиранием сердца ждали, когда в зале погаснет свет и на экране появятся любимые мультипликационные герои: Винни-Пух и Чебурашка, Малыш и Карлсон, Кентервильское привидение и лев Бонифаций, Витя из страны Невыученных уроков и Вовка, побывавший в Тридевятом царстве, Варежка и Умка, Дюймовочка и Принцы-лебеди. На целых полчаса мы погружались в счастливую сказку, в основе которой зачастую была хорошая детская литература: «Бросил Андерсен в порыве в воздух белое перо!.. Жаль, что огненной крапивы не хватило на крыло...».

На отлете брежневских времен в Парке пионеров проводились лотереи подписных изданий. Все желающие вставали в длиннющую очередь за номерками, дающими право поучаствовать в розыгрыше дефицитных многотомников классиков и современников. Однажды я поставил в очередь своих дорогих бабушек. И при оглашении выигравших номеров – победил номер, оказавшийся как раз между двумя воркующими кумушками: хотя его там не стояло!..

В следующем розыгрыше участвовали все мои многочисленные домочадцы, включая круглощекого братишку – смышленого подвижного бутуза. Брат отрабатывал ежедневную сказку, которую я ему читал перед сном. Но – счастливый номер оказался в моей руке! Так в нашей семье появился четырехтомник Виктора Астафьева.

Кстати, маленький братишка был не первым полусонным слушателем моих «спокойной ночи, малыши». Будучи воспитанником круглосуточного детского сада, дождавшись, когда дежурная нянечка закроет за собой дверь спальной, оставив для полной таинственности тусклый синеватый ночничок, я рас-

сказывал нетерпеливым одногодкам необычайную историю, историю с продолжением. Сидя на подушке, как в кресле волшебника, я призывал в помощники все свое воображение, переплетая и сталкивая в забавных, невероятных сюжетах известных книжных и мультяшных персонажей... Быть может, из этих детсадовских выступлений и выпросталась моя способность к сочинительству: «Не проживешь те мгновения заново, то замиранье души... Но остается Марья Ивановна все человеком большим. Двери закроются за воспитателем: полнится сказками сад!.. Нянечка щелкнет в ночи выключателем: все ее деточки спят...». И нередко мои придумки – росли за соседним забором.

Да, никогда больше не было у меня такой уверенности в себе, как в дошкольные годы! Уверенно я мог забежать в крапиву или соскользнуть с мокрой доски, брошенной через глубокую лужу, уверенно говорил, произнося все шипящие через букву «с». И мыслил, благодаря прослушанным первым детским сказкам и просмотренным мультфильмам, вполне самостоятельно. Мог часами сидеть у ящика с игрушками, обыгрывая с пупсами и кубиками известные только мне одному представления о жизни. Я не боялся чужих дворов и хулиганов. Мог запросто прыгнуть с высокой сарайки в сугроб между двух поленниц или забраться по шаткой лестнице на крышу двухэтажного дома. Играя в войнушку, не отступал перед противником из подготовительной группы детского сада, подняв с земли длинную увесистую палку. Разобравшись с подготовишками, я смело забирался на детсадовский забор, за которым находились грядки и клумбы пришкольного участка, и, вместе с другими малышами, кричал копошившимся в земле школьникам: «Пионеры юные – головы чугунные, сами оловянные, черти окаянные!»... И мне было совсем не больно, когда коварные пионеры, подкараулив меня на участке, надрали мне уши и запихали в штанишки только что сорванный со школьной клумбы букетик цветов. А потом милостиво позволили «удрать» от них через лаз под забором. Утерев кулачком слезы обиды, я все равно подарил слегка помятые маргаритки Марье Ивановне.

Я не боялся никого и ничего, я – восхищался жизнью! Рядом были папа и мама. Рядом были справедливость и сила Советского Союза, вместе с которым и я, нарядный, с красным бантиком на груди, встречал 100-летие со дня рождения Ленина...

Сейчас многого нет рядом. Исчезла Великая страна. Ушла эпоха. Снесен бабушкин кукковский дом. Разрушен кинотеатр

«Сампо»... Сейчас я самостоятельный, сильный, образованный мужчина – становлюсь все более осмотрительным, мудрым, общественным, все более... сомневающимся в себе человеком. Сопоставляя себя с окружающим социумом, я все более убеждаюсь, что неуверенность общества определяет его разумность. Осторожность. Государственность. Скрытность. Живучесть... Кто бесстрашно, весело, ухарски уверен в себе – не владеет разумом, си речь – смел, уязвим и беззащитен, как рожденный для первого, второго, третьего и последующего самостоятельного шага в неизвестность, не боящийся говорить правду малыш... Но, зачастую, присутствие детской непосредственности, творческой фантазии и некоторого житейского опыта – укрепляют веру в собственные силы! Охваченный писательским замыслом, прокручивая в голове новую стихотворную строку, я снова превращаюсь в мечтательного мальчишку, глядящего поверх давно открытой страницы: «На белый лист ложится стих, на припечь – каравай: найдется в памяти для них и соль Земли, и – край...».

Поэтическое вдохновение – вот что сравнимо с умением читать книги полями! Это упоительное, ни с чем несравнимое чувство подарили мне детские годы – скользнув взглядом по обрезу прочитанной страницы, уноситься мыслями вперед завершенного действия, придумывать свое продолжение и окончание захватившего меня сюжета! И нередко концовка придуманного мной приключения было веселее и неожиданнее авторского замысла. И было немножечко досадно, что этими удивительными способностями – вклинивать свои собственные фантазии в тесные рамки предложенного повествования – не с кем было поделиться. Родители были заняты своими делами. У редких школьных и дворовых товарищей мой «театр у микрофона» не пользовался спросом. И, наверное, поэтому я начал кое-что записывать в тонкую трехкопеечную тетрадь, куда-то потом запропастившуюся...

И все же кое-что осталось. Во второй, третьей, четвертой тетрадке. В трех моих собственных книжках. В разговорах с сыном... С рождением сына у меня появился даже свой собственный сказочный герой – Пупи-Друпи. Приключения с продолжением этой смешной тряпичной куклы с характером бесстрашного дворового мальчишки я рассказывал по дороге в садик или на дачу своему подрастающему малышу. О содержании этих уморительных историй знаем только мы вдвоем...

Остался Пупи-Друпи. Осталась романтика семидесятых... Я жил прочитанными книгами, а книги продолжают жить во мне. Умение переиначивать известные истории на новый лад переросло в потребность писать самому. Мечты и фантазии – суть творчества, погружение в бескрайний океан чувств и волнующих образов, объединяющее многих и многих пишущих и ждущих их литературных трудов людей: «И за что не будет стыдно, что не растерял – все по строчкам будет видно, скрепам бытия».

Была еще одна волнующая хрупкая ценность детства – домашние пластинки... Появились они в моей жизни не сразу. Первый проигрыватель, который приоткрыл для меня двери в неведомое, стоял в музыкальном зале круглосуточного детского сада. Запомнилось священнодействие воспитателя, когда после ужина мы, оставленные на ночь дошколята, рассаживались на маленьких скамейках, и Марья Ивановна, поставив новую пластинку, совмещала голоса артистов с прокручивающимся на стене диафильмом.

Фильмоскоп с пластинками... Удивительная пора детства! Все в ней происходит впервые: первая улыбка, первый шаг, первая игрушка. Каждый день ты узнаешь что-то новое, важное... или вляпаешься в такое... взять хотя бы историю, когда мне подарили первый ручной фильмоскоп.

А началось все с того, что в возрасте трех с половиной лет я провалился в уличный туалет. Провалился не один, а с Сашкой Зассыхой. Сашка – наш сосед по дому на улице поэта Некрасова, долговязый восьмилетний мальчишка – ходил в первый класс, но до сих пор умудрялся прудить в штаны. Оттого, видать, его и прозвали Зассыхой. Как ни смотрела за мной бабушка Паша, в чьей скромной квартирке под лестницей мы тогда и обитали, я все-таки убегал на второй этаж к своему старшему дружку. Сашка мне приглянулся тем, что мог ловко ловить тараканов, в большом количестве водившихся в ящике его кухонного стола.... Так вот, в один солнечный воскресный денек устроили мы с Зассыхой танцы на щитах выгребной ямы. И при очередном батмане крышки «сцены» разъехались в разные стороны. В отличие от того, что плавало вокруг, и Сашки, которому это было по грудь, я сразу ушел на дно... Вытащил меня из этого приключения папа, заслышав Сашкину иерихонскую трубу. Целого и невредимого.

Очистили меня, отмыли, отполоскали, от Сашкиного влияния оградили, а от дизентерии не уберегли... Попал я в инфекционную больницу. Палата на десять коек. Таблетки, уколы, горшки, анализы – это не интересно. Интересны были ребята, с которыми, благодаря известным обстоятельствам, мне довелось пообщаться. У каждого была своя история, ну, не болезни, конечно, а – приключенческая. Из книг, фильмов, рассказов взрослых. И очень уж нас тогда занимала одна тема – про лунатиков. Мальчишки наперебой рассказывали случаи, происшедшие с их знакомыми. И по карнизам-то люди ходят, и по веревкам, и по перилам мостов. Потом и в нашей палате чудеса происходить стали. То один, то второй пациент среди ночи меж коек бродят, тумбочки задевают. А утром, хоть убей, ничего не помнят! Лунатизм, оказывается, – штука заразная. С мылом не отмоешь. Ну, думаю, теперь и моя очередь настала лунатизмом болеть! Проснулся среди ночи, ноги с кровати скинул и сквозь слегка прищуренные глаза вижу – не спит кто-то, на меня смотрит, ждет, что дальше будет. Я встал, походил туда-сюда вокруг кровати с поднятыми руками, на манер медведя в цирке, и спать завалился. Утром сюжет о моей уникальной ненормальности в ребячьих новостях прозвучал одним из первых! А тут еще мама с папой мне фильмоскоп ручной через приемный покой передали: купили-таки, не забыли о моей мечте детсадовской! Теперь, кроме до дыр зачитанных больничных книжек, был у нас настоящий маленький кинотеатр. Серый, гладкий, с трубкой для просмотра. Совсем-совсем ручной! Бери его в руки, как маленького зверька, вставляй диафильм, смотри в трубку и крути, крути колесико... Как это здорово – хотя бы одним глазком заглянуть в тайну Золотого ключика или во дворец Снежной королевы! Фильмоскоп с коробкой диафильмов переходил от кровати к кровати и на ночь возвращался в мою тумбочку. Для сохранности, мало ли кто пленку порвет али колесико открутит и потеряет. Но одного «лунатика» мы все-таки прозевали. Мальчишка, привезенный откуда-то из района, ночью вытащил из моей тумбочки коробку с диафильмами и... слизал сладкую краску со всех бесценных сказочных пленок. На следующий день хнычущего «сладкоежку» с коликами в животе перевели в отдельный бокс. Поделом, конечно, но смотреть в чудо-трубку было уже нечего... Через две недели меня выписали домой. А «заразный» фильмоскоп пришлось оставить в больнице.

Дома было хорошо. Дома было радио. Телевизор «Рекорд». Целая стопка детских книжек и ящик с игрушками... Однажды, играя в бабушкиной кухне в «милисейских» и «спионов», я посадил в тюрьму хитрого «претупника» Буратино. Баба Паша пришла из магазина, затопила печь и вскоре почувствовала – пахнет жареным. Заглянув в духовку, она достала оттуда закопченную деревянную куклу. То был мой бедный Буратино. На этот раз он не смог проткнуть своим длинным любопытным носом печную дверцу... Меня не ругали – мне посочувствовали. И обещали, если я больше не буду «наказывать» свои игрушки, отвести меня в «Детский мир» и купить новую куклу... Спасибо, папа, спасибо, мама! Спасибо за фильмоскоп, за Буратино, за торт «Сказка» на такой желанный, такой редкий День Рожденья! Спасибо за год, за день, за минуты подаренного мне счастья! Завтра надо будет безропотно съесть кашу и выпить чашку чая. Прослушать «Пионерскую зорьку». Успеть в садик, в магазин за новыми сандалиями, в бабушкин театр на премьеру детского спектакля... Успеть сказать слова благодарности родным, горячо любимым людям – при жизни...

И вновь в мой рассказ врывается цоканье виниловой пластинки... Первый домашний проигрыватель я увидел в доме маминой сестры тети Аллы. Семейные застолья чаще всего сопровождались песнями «Черемшина», «Наш сосед» и «Мне нужна жена». Как я потом узнал последняя песня – Александра Градского на стихи Роберта Бернса. Как так! У кого-то есть сосед, есть жена, а у нас даже проигрывателя нет? Тут уж я насел на родителей основательно, и они купили «Кантату» на длинных лакированных ножках. «Кантата» ловила все нужные мне радиоволны и могла с любой скоростью раскручивать взрослые пластинки. Само собой разумеется, первым делом папа и мама принесли из музыкального магазина пластинки на свой выбор: Мария Пахоменко, ВИА «Самоцветы», Эдита Пьеха, Муслим Магомаев, Львы – Лещенко и Барашков. И не было в этой пестрой стопке только запомнившегося мне с 70-го года Валерия Ободзинского...

Впервые я услышал песни Валерия Ободзинского после памятного перелета, когда все наше семейство около двух часов тряслось на «кукурузнике» между Петрозаводском и Питкярантой. Мы спешили на свадьбу папиного брата дяди Славы в поселок Салми. Тягостные впечатления от воздушной болтанки скрасили удивительные мелодии и чарующий голос артиста,

идущие от клубного проигрывателя, установленного временно в дядином доме: «Восточная песня», «Эти глаза напротив», «Письмо», «Карнавал». Эти пластинки стали для меня – тогда шестилетнего пацаненка – настоящим откровением. Как душевно и красиво можно соединить голос, текст и музыку в одном небольшом по звучанию произведении! После я узнал, что в начале 70-х Ободзинский был запрещен и вскоре ушел с эстрады. Пластинки его перестали продаваться. В 90-х годах он вернулся к своим слушателям, благодаря любви одной женщины, вытащившей его из небытия какой-то сторожки. Валерий снова запел, не потеряв своего уникального голоса. Записал несколько альбомов. И даже собирался приехать с концертом в Петрозаводск вместе с Тамарой Миансаровой. Но – перед самым выступлением у него внезапно остановилось сердце. Билеты в кассу филармонии никто возвращать не стал...

Помимо запрещенного Ободзинского не водились в нашем доме пластинки «Биттлз» и советских бардов. Об их существовании я узнал уже после окончания школы. Сказывался «циркулярный» круг моего подросткового общения. По телевизору и радио Леннона и Визбора не передавали. Не говорили о них во дворе и в классе. Зато на слуху были «Четыре танкиста и собака», «Неуловимые мстители», «Радио-театр», «В стране литературных героев», «Клуб знаменитых капитанов». По рукам шли книги Джека Лондона, Фенимора Купера, Стивенсона, советская и зарубежная фантастика. Но прежде, конечно, сказочные повести Николая Носова, Александра Волкова, Астрид Линдгрен и Джанни Родари.

С появлением проигрывателя «Кантата» в моем доме появились новые – виниловые приключения! Потихоньку росла сокровищница домашних пластинок: «Доктор Айболит», «Буратино», «Чиполлино», «Приключения Незнайки», «Старик Хоттабыч», «Площадь Картонных часов». К сокровищу – и подход был особый. Каждый виниловый диск, вложенный в две обложки, аккуратно вынимался, укладывался на место, протирался специальной ваткой и, после проверки, игла осторожно ставилась на краешек пластинки. После легкого шороха внутри полосатых колонок – комната наполнялась удивительными историями, одушевленными голосами Николая Литвинова, Валентины Сперантовой, Алексея Консовского, чудесной музыкой и доброй шуткой.

А еще были советские киносказки. Нынешних детей, воспитанных на «Гарри Поттере» и «Властелине колец», не удивишь наивной Бабой Ягой или добродушным Морозко. Но после просмотров сказок Птушко, Фрида, Роу смешные фразы и узнаваемые образы уходили в народ, и можно было узнать человека своего поколения по емким и зримым выражениям сказочных персонажей: «Ты естеством, а я колдовством», «Одену свою шубейку и пойду в лес замерзать», «Что я в своем царстве-государстве не знаю?», «Ты должен быть счастлив, что тебя съест правительство!», «Не принцесса – королевна»... Первый раз, когда мне не было и пяти лет, я смотрел фильм-сказку Александра Роу «Огонь, вода и медные трубы» в кинотеатре «Строитель» на Старой Кукковке, недалеко от которого мы и жили. Потом родители купили телевизор «Рекорд». Уже на новой квартире поменяли «Рекорд» на «Весну». Правда, стоял телевизор в комнате родителей. И только один раз «Весна» поменяла свой обжитый угол, чтобы попасть в мою следующую историю...

Телевизор перенесли в мою комнату на время ремонта. Родители, чтобы не гонять по квартире пыль, закрыли все комнатные двери и, по-видимому, улеглись спать. А время было где-то около одиннадцати часов вечера. Проходя мимо скучающей «Весны», я, конечно же случайно, включил квадратную кнопку на телевизионной панели и... сел на кровать с открытым ртом. Темой очередного выпуска передачи «Очевидное-невероятное», идущей в столь поздний час, была – природа смеха. Так я впервые увидел отрывки из фильма Леонида Гайдая «Деловые люди» по рассказу О. Генри «Вождь краснокожих». Природа моего дикого захлебывающегося смеха переполошила родителей и наверняка разбудила соседей. Вбежавшая в детскую мама подумала, что меня убивают. А я смеюсь, безумно тыча пальцем в мерцающий экран. Полчаса я не мог успокоиться, схватившись за живот, катался по полу. Еле-еле, обесточив черно-белый источник моего хорошего настроения, израсходовав графин кипяченой воды, папа и мама привели меня в чувство... Нащупанная Капицей тема передачи, замечательная игра актеров Алексея Смирнова и Георгия Вицина – разбудили дремавшую досель природу моего смеха, впоследствии облаченную в форму и стиль моих будущих негрустных рассказов. Несколько гайдаевских отрывков, показанных в передаче, основанных на хорошем художественном материале, подарили мне встречу с

шедевром мирового кинематографического искусства, стали настоящим открытием моего второго «я», исполненного самоиронией и добрым юмором, послужили толчком уже недетского творческого сознания. Воистину, очевидное-невероятное... Многими годами позже, читая Стругацких, натолкнулся на строчку, в которой один из героев раскрывает свое жизненное кредо: «Ирония и Жалость». «Ирония и Жалость» – единое противоречие человеческой натуры... А что бы я вывел девизом своей жизни? Какие слова ярче, точнее всего ложатся на сердце, когда я оглядываюсь на пройденный путь?.. И, как ни крути, все сводится к двум негромким словосочетаниям: «Мягкий Юмор и Ненавязчивая Мудрость».

В школе я задавался вопросом, что бы я взял с собой в дальние края в случае каких-нибудь непредвиденных обстоятельств: книгу, марки, любимую пластинку? И оказалось, что таких драгоценностей набрался целый чемодан. И здесь я ясно осознал, что ни одна отобранная драгоценная вещь не пригодится мне в дороге и неподъемный чемодан будет досадной обузой... Все самое дорогое – остается в сердце.

В окружении разложенных по полочкам сокровищ я забывал о скуке, нудной учебе, дворовых обидах. Я был не один. Со мной были Дон Кихот и Мальчиш-Кибальчиш, Гулливер и Одиссей, Том Сойер и Джим Хокинс, Чиполлино и Мальчик-звезда – удивительный мир домашних пластинок, живописных марок, мудрых книг и добрых кинофильмов, от которых я не ждал подвоха, назидания и тумаков. Я учился у них слушать и принимать добро внешнего, необыкновенного, мудрого, бегущего по виниловым царапинкам, открытым страницам, полотнам Айвазовского стремительного круга жизни, чувствуя постепенное слияние двух огромных миров – детского и взрослого. Через эти круги и миры мы проходим разными дорогами, увлеченьями, судьбами. И важно – не растерять в пути восторженных ощущений детства: «Через радуги, площади, реки, сколько будет планета вертеться! – сквозь устало прикрытые веки – возвращайтесь на улицы детства!».

НЕ ПОТЕРЯТЬ НЕБА...

Приходит зрелость. В сорок пять – начинаешь ощущать свой возраст, непокоренные вершины, болячки... Зрелость – это еще одно необходимое, драгоценное время жизни, которое состоялось благодаря действию целительного сиропа детства, когда, глотая содержимое заветного пузырька, зажмуриваешь глаза и снова возвращаешься к нестареющим чувствам и запахам окружающего мира. Наверное, поэтому промелькнувшие мальчишеские годы кажутся одной долгой длинной дорогой, по которой, как в замедленном кино, движутся люди, дома, события... И редкие остановки – посещение лесной чащи или тихого озера – врачуют Душу, позволяя освободиться на время из цепких жизненных обстоятельств.

Завораживает взгляд, замешивает лечебное снадобье на алых ягодах и белых мхах карельская тайга. Будто древняя таинственная сила подняла лес в высокое Небо, прочно сплетя его корни с Землей. В разные времена года лес увлекает извилистой лыжней, пением птиц на вешних болотах, летней прохладой, грибной осенней сыростью... Осенью, когда умирают листья, холодят сумерки и согревают краски, настаиваются настоящие чувства. В эту пору они по-особенному жгутся, не раня кожи, не жалея горла. В эту пору обостряется ощущение уходящей жизни... И, как рыбий жир в болезненно-чутком детстве, как госпитальную микстуру в застуженной караульной юности, как дух сосновой коры, я пью из ложечки – осень. Горько. Жизненно. Незабвенно...

Однажды темным сентябрьским вечером на даче я наблюдал над кромкой дальнего безмолвного леса необычайное природное явление – Белую Радугу. От линии серого горизонта она была отделена ровным черным полукругом, сверху – венчалась серебристой мерцающей короной. Вдруг венец дрогнул и – ввысь устремились косые, прямые, острые лучи! Взвились пики, полетели стрелы! Словно приоткрылась дымная печная заслонка. Свет наполнял звездное небо мерцающей, наползающей на октябрьскую тьму белой огненной сферой, вбирал и смешивал бьющие в густую черноту лучи. Клубящееся жаркое свечение достигало середины небесного свода. Иногда из переливов нежной

парной дымки выпрастывался ухват Большой Медведицы. И казалось, будто в гигантской вселенской печи печется белый горячий хлеб будущего солнца. Жар вырывался наружу, видение пузырилось и брызгалось, дышало чудной пленительной силой! Перебегая к левому и правому концу полукружья неровными щетинистыми всполохами, свечение остывало. Наконец, охладившись, затвердело пышной полосатой сдобой на черной звездной скатерти ночи. Таким вот сахарным, облитым сладкой патокой караваем выходит из духовки Бога – Северное Сияние!..

Живая Земля. Недолго осталось спать в белом теплом тумане берегам и дорогам. Ощущая стылое предзимье, Земля дышит, ухает зелеными кругами по зыбким карельским топям, глотая камни, заваливая сушины. Теряются в болотной ряске скользкие замшелые гати... В глухую осеннюю пору мне кажется, что я снова бреду по краю исчезнувшей дороги. Сделав крюк до сухого безжизненного островка, возвращаюсь назад, теряя силы, погружаясь по пояс в черную дрожащую жижу, пытаюсь обойти неоглядное дышащее пространство по топкой опасной дернине и – только кружу, кружу болотом, отчаявшийся, пустой, заблудший... Ночью на воде появляются звезды. Днем они тонут в серой облачной зыби. Ни звука, ни эха... Сколько еще сможет прижимать к груди любимого, неразумного ребенка Мать Сыра Земля?.. Ах ты, дыма сыть, сухарей мешок! Не бойся идти своей дорогой. Не важно, короток или длинен будет твой путь, важно – осознание пути и готовность проделать его до предначертанного тебе срока... До вешки, до кромки леса... Дорога – это пояс Земли, и иногда его расшивают звездами, чтобы не потерять Неба...

НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО

Смутное время России. Прорицатели и кликуши все время назначают новую дату всемирной катастрофы. Ледники ползут. Комета приближается. Просыпаются вулканы. Накатывает цунами. Смещаются земные пласты. Потепление. Похолодание... Недавно Пулковская обсерватория объявила, что вскоре Земля покроется толстым ледяным панцирем и уже в 2014 году в Сахаре ляжет метровый слой снега... В

ожидании конца света, запутавшись в сроках и предзнаменованиях, закопавшись в газетных вырезках, популярных сайтах, телевизионных интервью – многие не доживают, пропуская очередную премьеру фильма-катастрофы, объявление по радио или метеорологическую сенсацию из-за банальной земной кончины... Как ни крути, а выходит, что «конец света» у каждого свой... У меня нет ни малейшего желания заглядывать за тот предначертанный неизбывный рубеж... Хочется лишь ненароком приоткрыть страницу, взглянуть одним глазком в завтрашний день, надеясь только на свои силы и опыт, хочется успеть осуществить свои сокровенные мечты... Как не хватает мне сейчас близких людей! Отца. Мамы. Бабушки Ани. Не хватает их мудрости и беззаветной любви. Гадая на картах на любовь, на работу, на мечту, бабушка лишь ненавязчиво утверждала меня в правильности выбранного пути, отметала сомнения, успокаивала житейские страсти. Бабушка ждала меня всегда. Утром. Днем. Ночью. Будь то мои многомесячные пребывания в детских оздоровительных лагерях и санаториях, годы срочной службы или долгие командировки в стройбате. В своих письмах ко мне она находила самые теплые и нужные слова, а в трогательно свернутом уголочке я неизменно находил аккуратно сложенную трешку. Она ждала меня, как ждут родную душу, пред которой нет тайн и недомолвок. Вечера-откровения, за чаем и непременными пирогами, затягивались за полночь. Бабушка рассказывала мне о том, как ее семью, родителей, трех сестер и маленького брата, сослали в Карелию, за то, что дедушка – зажиточный вологодский крестьянин – не сдал продналог. В местечке Орзега, где сейчас находится родительская дача, в 30-е годы 17-летняя девчушка Анечка Беляева валила лес на лесоповале. Во время войны семью эвакуировали на Урал. Там в 1944 году ее и нашел мой дедушка Михаил Мошников – инвалид войны, которому болезнь оставила еще 15 лет жизни. Было все: и нужда, и оговор, и потеря близких людей. Была и радость материнства, и любимая работа в театральном буфете. Жаль, что душевных откровений было так мало, ввиду извечной занятости нашей... В один из таких вечеров бабушка рассказала мне историю про сапоги, тронувшую меня своей простой житейской глубиной.

Бабушка, милая, полною меркою
Жизни отведала ты пироги...
Первой в деревне была пионеркою,
Дали на слёте тебе сапоги.

Долго потом любовалась обновою:
Ай да сапожки – изящны, легки!
Не по селу бы ходить за коровою...
Да записали отца в кулаки.

Версты – не обувь удобную мерили.
Мерзли в опорках с отцовской ноги.
Семьи крестами осели в Карелии,
А всё равно оставались – «враги».

Бабушка, милая, память неверная –
Все ли оплачены нами долги?..
Первой в деревне была пионеркою.
Дали на слёте тебе сапоги.

Люблю пересматривать бабушкин альбом. На оборотах старых пожелтевших фотографий еще можно различить драгоценный, канувший в небытие вместе с изображенным на снимке человеком – почерк. Неумелые, трогательные стихи: «Помни иногда, чем никогда»... И удивительно, как в одно мгновение эти наивные, искренние слова подсвечивают черно-белый фон, выразительные красивые лица молодых родителей, бабушек и дедушек. И моих горячих щек, увлажненных глаз и осторожных пальцев касается робкое дыхание их не ушедшей юности, непроходящее очарование родственных душ. И все мое взволнованное существо не оставляет чувство, что оно здесь, в комнате, в прочитанных книгах сына, в любимых игрушках внучки, на страницах семейного альбома, оно никуда не исчезало, это сильное, никогда не стареющее чувство – любви.

За уличным окном термометр закапал.
Не отрывая взгляда от окна,
Я видел – чистая – шкалу ломала капля:
Ну, наконец-то, Господи, – весна!

Не заведет постылую волынку
Метельный снег, стеная и моля...
Под стать весне – в дареную бутылку
Сливала рюмки бабушка моя.

И недопитых слез не оставалось,
И было что в шкафу на черный день.
Присев на лавочку, щеки моей касалась,
Рукой со лба отбрасывала тень,

Все говорила: «Редко навещаешь.
Вот-вот отмаюсь: вспомнишь ли когда?»
И сколь горючих слез ни утираешь –
Все горестней соленые года.

Отгостевало в доме утешенье:
Мгновенны лета, сумерки длинны...
Остывшие чаи прощанья и прощенья
До замиранья сердца холодны.

И разговор на кухне затихает.
И ничего не надо обещать...
И в вешнюю капель заболевать стихами,
И между строк прощаться и прощать.

...Предъявив свидетельство о смерти и домовую книжку, получил последнюю бабушкину пенсию, заработанную за долгий вдовий век, которой едва хватило на еловый венок и пару конвертов, всунутых, вместе с распиской, в узкое почтовое окошко. На сдачу... Вот и всё. Всё, что причиталось бабушке Ане за годы лишений, ссылки, войны, эвакуации. За все пережитое бабушкой, страной в годы, когда по злому оговору примерила она серые тюремные одежды. Потеряла мужа. Пережила детей...

Как прекрасно она знала людей! Сопоставляя разные судьбы, раскидывала карты и – легонько подталкивала мудрым ласковым словом друг к другу пылких молодух и завидных женихов.

Прошел первый сентябрьский дождь. Нагрудный карман рубашки оттопыривают свернутые в трубочку бабушкины конверты... Я напишу! Напишу тебе, бабушка, историю не узнан-

ной, не увиденной тобой жизни! Все сбудется. Уйдут худые карты. Червонная дама возьмет за руку бубнового короля... Проступят на опавших листьях строки этого долгого неровного письма.

На даче времени с избытком.
И дождь не кончился пока.
На полке найденной открыткой
Моя взволнована строка –

Чей это круглый ровный почерк?
И удивленно вижу – мой...
Свою открытку, не на почту,
Отнес я бабушке домой.

И положил ее с надеждой
На стол, где книга и очки:
Бабуля, – выведено нежно, –
Ты о любви моей прочти!

Словам любви в открытке тесно,
И многократно посему
В щеки морщинистое тесто
Уткнулся с носом поцелуй!

И снова маленький проказник
Читает, выпятив губу,
И веселит семейный праздник
Твою осеннюю судьбу...

Под дачным пледом не согреться.
Все небо в тучах. Дождь идет...
А может – это плачет сердце,
И кто-то эти строки ждет?

Как быстро схлынула весна, подкралась осень. Казалось, само время подгоняло ее на быстрине, выносило вместе с талой водой на солнечные берега пену беспечных дней, размокшие бумажные кораблики, сложенные из листов ученической тетради, щепки забытых болячек... Как скоро в зеленых, рассветных бе-

регах отгорело лето, откипела в полях, цехах, конторах горячая работная пора. Когда еще увидим плоды трудов своих, воплощенную в детях, домах, деревьях, собранных книгах вдохновенную, кропотливую работу ума и рук, души и сердца... Путь далек... Размытые дождем дороги осыпает пожухлая листва. И мои глаза замутила дождливая пелена. Пройденного не вернешь... Появилась первая седина. Зима наступает. Все короче день, дольше и темнее вечера. Но – это еще не конец света. Свет – исходит от сияния первого выпавшего снега, от благодарной памяти. Осенние дороги жизни укрывают мудрые снега... Бабушка и запыхавшийся малыш накатывают снежный ком для будущего снеговика, соединяют, прихлопывают рукавицами приставшие к липкому кому опавшие листья, зазимовавшие под снегом зеленые травинки – общие судьбы и святые надежды.

ОТЗ

Меня попросили написать что-нибудь жизнерадостное и оптимистичное об Онежском тракторном заводе. О его временах, цехах, людях. Дабы заводские династии не канули в Лету. Так как я сам работал на ОТЗ, и отец мой с 14 лет до своего самого последнего дня проходил в молчаливом и гордом потоке заводчан «ту заводскую проходную, что в люди вывела меня». Но у меня не нашлось веселых и бравурных слов по поводу нынешней судьбы Петровского завода. Наверное, я уже стал живым анахронизмом. Молчание журналиста, получившего по электронной почте мое эссе, говорит лишь о том, что я не прав. Мол, историю не остановить. Пережитки прошлого освобождают место передовому напору нанотехнологий. Но как мне тяжело...

Мои воспоминания, связанные с Онежским тракторным заводом, тесно переплелись с детскими впечатлениями – прихода отца с работы. Когда он степенно снимал рабочую куртку, садился к столу и брал меня, трехлетнего малыша, на колени. Меня занимали его натруженные крепкие руки. Выступающие вены, с тыльной стороны рук, как бы пружинили под моими пальцами и никак не хотели сделаться гладкими и ровными, как мягкие и теплые отцовские ладони... Потом были первомайские демонстрации, когда ребятишки вместе с отцами и

мамами втягивались в колонну Онежского тракторного завода. Разноцветные шары. Алые знамена. Песни и прибаутки заводчан во время частых остановок. Добрые улыбки товарищей по работе, которые подбадривали папиного сынулю, робеющего при виде такого скопления народа. Атмосфера праздника была тесно связана с картонным макетом трактора, закрепленным на грузовой машине, и изображениями эмблемы ОТЗ – лося в шестеренке порхающей над пестрой колонной... Потом, после окончания восьмого класса, на каникулах, отец устроил меня на свой участок – фрезеровщиком. В течение месяца я сверлил детали на фрезерном станке, зарабатывал денежку, чтобы поехать вместе с мамой и братом на юг. Я был ужасно горд, получив в свои неполные шестнадцать лет первые заработанные деньги в сумме 82 рублей! По тем временам – в конце семидесятых – это была щедрая получка. Хватило и на юг, и на новый велосипед.

Последнее лето детства у меня также тесно переплетено с родным заводом. После неудачного поступления на филфак Петрозаводского государственного университета, практически со школьной скамьи, я шагнул в рабочую жизнь и – снова прошел через проходную ОТЗ. В течение года до призыва в армию я трудился у отца на участке, под крышей четвертого механического цеха. Старшим мастером на участке был Иван Яковлевич Чередниченко. Иван Яковлевич и напутствовал меня, провожая на службу отечеству, чтобы я не посрамил наш рабочий коллектив, вернулся со знаками отличия и вовремя на родной завод. А чтобы я вернулся вовремя, от лица коллектива подарил мне именные часы «За отличную работу». Очень гордился моими успехами отец. В письмах солдату с родины передавал приветы товарищей по цеху. Заводчане тепло приветствовали мои армейские достижения, получение офицерского звания. Жаль, что подарок мастера запропал где-то в дальних гарнизонах. А на завод я уже не вернулся. Я стал кадровым военным, на втором году службы поступив в военное училище.

Мой отец – Мошников Эдуард Михайлович, 1944 года рождения – пришел на Онежский тракторный завод 14-летним пареньком, еще будучи на практике в Ремесленном училище №1, что располагалось на ул. Куйбышева (сейчас оно ликвидировано за ненадобностью в нынешней России рабочих специальностей). Работал он токарем, наладчиком, мастером в

третьем, а затем в четвертом механическом цехах. Имел несколько грамот за рацпредложения. На заводе вступил в комсомол и Коммунистическую партию СССР. Завод для него был второй семьей, вторым домом, как и для многих петрозаводчан, поколений рабочих, связавших с Петровским-Александровским-Онежским заводом свою жизнь. Мне бесконечно жаль потери этого градообразующего предприятия для Карелии, для российской истории. И, что бы мне ни говорили о пользе коттеджей, новых магазинов и развлекательных центров на месте передового орденоносного предприятия машиностроения, я с этим никогда не соглашусь. Нужда в машинах для лесной промышленности есть, да еще какая. Но проводить модернизацию предприятия некому. Проще разрушить до основания, до свержения крестов (что мы уже проходили в 30-х годах прошлого века), труд наших отцов и дедов, наших онежцев.

Отец умер внезапно в возрасте 55 лет, не успев пожить на заработанную пенсию. До последних своих дней, с мальчишеских восторженных лет, он был с заводом. Хоронили Эдуарда Мошникова всем цехом. Толпа на кладбище, теснящаяся на тропинках, в соседних оградках, была сопоставима с внезапными остановками первомайской демонстрации при повороте на площадь Ленина. Да повод был горький... Я не думаю, что на мои похороны – члена Союза писателей России, подполковника МЧС и т.д. и т.п. – придет больше народа, чем на прощание с моим отцом – рабочим Онежского тракторного завода. Завода, объединявшего многие поколения петрозаводчан, давшего имя городу и... закрытого новыми хозяевами жизни... Не придут по многим причинам: занятости, разобщенности, неприязни, равнодушия, наконец. По знаку изменившегося времени и изменившимся человеческим законам – не придут... Вот это и будет ответом на все задаваемые мне вопросы по поводу ОТЗ.

ПЕТРОВ ЗАВОД

Безглавый силуэт собора
В знобящей памяти живёт...
Прославленный заводом город
Готовит к сносу Царь-завод.

Уже за вывеской сиротской
Сторожевой в почёте труд.
И зябче мгла Петрозаводска
Без огоньков кирпичных труб.

Что было для России важно,
Бездумно рушится — меж тем,
Неоценима, непродажна
Былая слава отчих стен:

Их можно только раскурочить!
Как низко ставится сейчас
Честь — называть себя рабочим,
И вымирать как жалкий класс...

Разъяты ребра арматуры,
Раствора вырваны куски...
На стенобитные халтуры
Идут смурные мужики.

До глаз натянуты шапейки.
Клубится пыльной тучей хлам —
Богатство тех, на чьи копейки
Был заводской построен храм,

И выжил, выстояв музеем,
Гонимой верою спасён...
Плывёт по нынешней Россее,
По корпусам пустым трезвон.

«Иной резон, иная мода» —
Щепотью собраны персты...
С цехов Петровского завода
Сбивают тяжкие кресты!

Учитель

Огорчила, очень огорчила супругу, врача санатория «Марциальные воды», сердечная болезнь ее педагога, известного в Карелии руководителя туристического клуба. Сколько интересных походов, организованных студентами и преподавателями Петрозаводского государственного университета, горных троп и дорог в экзотических местах Советского Союза прошагали они вместе... Прибыв в санаторий морозной зимой, больной и погрустневший, учитель не мог подолгу сидеть на месте: нагрузил себя процедурами, старался больше двигаться, общаться с соседями. И однажды зашел в кабинет супруги: «Поедем на Спасскую гору! Я со всеми договорился. Песен попоем...». Песен туристских он знал предостаточно и гитарой владел виртуозно... Но высок и снежен был подъем на горнолыжную трассу, которую открыл еще один его ученик-медик, а здоровье старика внушало опасение... Да любые возражения устроителем похода не принимались всерьез... Утром в выходной на двух машинах доехали до Спасской. Затем пешком. По узким тропам, крутому склону... В домике, где гоняли чаи и вострили лыжи завсегдатаи накатанной трассы, суета и оживление: «Все на гору! Там сейчас такое будет!» На самой верхотуре выстроились, снаряженные по всем правилам лыжного спорта гости – спортсмены из Москвы. Ну наверняка чудеса синхронного скольжения увидим, подивимся... Вдруг откуда-то сверху на нас навалился ураганный звук: прямо на гору шел военный самолет! Пролетев над головами ликующих лыжников, сереброкрылый красавец прошел низко-низко над ледяным озером, подняв в воздух молочную снежную замять. Взвился ввысь, раскрутил гулкую «бочку», сделал две мертвые петли и исчез в ясном морозном небе... Что это? Откуда? А оттуда – из Бесовецкого гарнизона. Командир полка истребительной авиационной дивизии – давнишний приятель владельца горнолыжного комплекса. Вот и захотел бывший студент для тренера-педагога сюрприз сделать, чтобы «сушка» во время учебного полета класс свой лихой показала, аккурат над Спасской горой... Потом было чаепитие. Обещанный концерт. Звучали то разом, то сольно – три «боевые» гитары... И удивительным, удивительным был человек, сидевший с нами за одним столом, побледневшими губами негром-

ко, проникновенно исполнявший на походной гитаре любимые песни... Проделавший по глубоком снегу, в синих зимних сумерках путь на высокую гору, где светилось окно гостеприимного лесного домика... Попытавшийся еще раз прикоснуться золотым, мягким, разбитым сердцем к своим ученикам – дрожащим голосом, влажными глазами, лопнувшей струной...

КОГДА ДЕРЕВЬЯ СТАЛИ БОЛЬШИМИ

«Последний лист осени – дождался первого снега зимы...» Так запечатлел их на холсте художник, описал на тонкой рисовой бумаге поэт, подметил фотограф, наиграл саксофонист в задумчивом регтайме. Такими их создал Бог: чувственными, близкими, земными. От сопричастности всего живого и бывшего на земле, ранимых переживаний и нежных соприкосновений – возвышается человеческая душа. Явление Господа – отлетевший лист и опускающиеся на ладонь снежинки – будут жить в веках, повторяясь и одновременно оставаясь неповторимыми – в момент именно этого тихого угасающего кружения...

Осень. Зима. Удачно схваченные фотоаппаратом картины природы находят свое красное место среди других семейных снимков... С детства, особенно будучи в гостях у многочисленной родни, не найдя для себя привычных ребячьих занятий, укрывшись в тихом уголке, любил пересматривать старые фотоальбомы. Детское восприятие незнакомых и чем-то неуловимо похожих на папу и маму «дяденек» и «тетенек» никак не связывало меня, самого по себе существующего человека, с этими погнутыми, поблекшими, застывшими картинками. Мог ли я подумать, что с течением времени фотографии многих родных, живущих вместе со мной людей превратятся в «застывшие картинки»? Неизбывная горечь утраты приходит на смену бесконечным удивлениям детства...

В детстве все казалось огромным. Маленький дворик. Узкая улочка. Яблоня за забором детского сада. Крутой спуск к порожистой обмелевшей речке. А сама река казалась океаном, увлекающим к неоткрытым островам пущенные по воде бумажные корабли. Двадцатилетние папа и мама – представлялись боль-

шими. Многоопытными. Взрослыми людьми. Бабушки и дедушки – такими пожилыми, добрыми и мудрыми, что отказываешься верить сейчас сохранившимся семейным фотографиям, на которых им не было и пятидесяти... Наверняка такими же большими и недостижимо высокими, как пятиэтажный дом и старый тополь за окном, дымящийся июльским пухом, любимыми-прелюбимыми бабушками и дедушками видят нас подрастающие внуки. Не наглядеться в эти искрящиеся, смеющиеся, сияющие во все небо ребячьи глаза! В эту счастливую пору отраженная в них река кажется океаном, дом – горой, тополь – неохватным, папа – великаном, а жизнь – огромной!

Посещая городское кладбище, подходя к могилкам родных людей, бабушек и дедушек, мы невольно ощущаем себя малышами. И вновь, как в повторяющемся детском сне, робко озираясь, мы боимся заблудиться на незнакомых улицах, среди гигантских домов и скверов, проходя... мимо крестов и памятников, сквозь заросшие кладбищенские участки. Провинившимися, маленькими, любящими детьми мы подходим к их увитым искусственными цветами могилкам. И не кажется, а видится на самом деле, что за тихими могильными оградками деревья стали большими...

Печалится сердце о сердце, и – тут же! – всколыхнется радостью воспоминаний и застучит, застучит с прежней неуемной силой, вырывая из небытия глаза, улыбку, руку ведущего меня вдоль тихой тополиной улицы родного человека.

Сочится в щели дымный порох
И кружит голову елей:
Бледнеют тени в коридорах
Июльских теплых тополей.

Нет-нет да загляну на Старую Кукковку. Место, где раньше стоял бабушкин дом, застолбил сосед, живущий здесь с 50-х годов. Огородничает. На 20 сотках – смородиновый куст и две высокие березы – свидетели первых шести лет моей жизни. Разговорились. Стали вспоминать. Многое мне было в новинку. То, что казалось незыблемым, крепко-накрепко отложившимся в детском сознании, в представлениях о жизни взрослого мужчины – оказалось неточным, придуманным, закутанным в цветной туман. Ложная память... Таких домов здесь не стояло, такие люди здесь не жили, а детские ясли находились совсем на другой ули-

це... А я помню! Помню высокую голубятню посередине двора. Помню цветущий яблоневый сад за картофельным огородом. Образы, милые образы стоят перед глазами, как образ Господний на бабушкиной иконе, как фото мамы и папы на развороте семейного альбома. А бабушкины калитки? Их толокняный вкус не затмят самые изысканные блюда мира! А чернота осенних сумерек, скрывающая шумящие деревья, соседские домишки и дощатые сараи? А наш бревенчатый дом, по вечерам наполняющийся голосами, шорохами, скрипичной музыкой деревянных ступенек и щелястых половиц? А вкуснота компота из ягод черной смородины с прилипшим ко дну и краям кастрюли иззубренным листом, сорванных мамой на огороде, вкуснота, вскипевшая, настоянная на дымной дровяной печи? Это тоже ложная память? Память, опустившая мне на ладонь легкую тополиную пушинку...

В стране моего тополиного детства идет снег. Снег в моей стране – легче птичьего пуха. Он невесом, нежен, тепло его прикосновений чувствуешь сердцем... Этим пухом не набьют подушки олигархов. Его не пустят по ветру над мусорной свалкой, бывшей когда-то огромной страной, где хозяйничают, наводят порядок сытые чайки и вороватые вороны... Не купить, не загадить убеленных мягким небесным светом площадей и улиц. Снег в моей стране – это перья архангелов, а в сны озябших заснеженных аллей врывается заметь тополиного пуха... В стране моего детства стоят белые-белые дни. В стране моего детства гуляют люди, которые покинут ее с моим последним вздохом.

ШУРКА

Проезжая по городу и оглядывая корпуса утопающего в яркой летней зелени больничного квартала, вспоминаю, что в мои юные годы не было ни одной детской больницы, где бы я не пользовался благами советской медицины. Да, именно детской. До школы болел я регулярно и разнообразно. Не знаю, чем было вызвано мое нездоровье: плохим ли климатом, незатейливой пищей или пребыванием в деревянном бараке и круглосуточном детсаду... Но донимало меня больше всего не это, а то, что я, неразумная кроха, долгое

время был один, без мамы и папы, с незнакомыми детьми, воспитателями, нянечками, докторами...

В тот год, с подозрением на дизентерию, я в очередной раз переступил порог отделения детской инфекционной больницы. На дворе стояла поздняя дождливая осень. В теплой бело-кафельной приемной – сообразно моему пятилетнему возрасту – хлопотливая кастелянша выдала пижаму и тапочки, а не обмотала, как это было ранее, мое многострадальное тельце несуразными пеленочно-косыночными одеяниями. Зайдя в палату, оглядевшись, я присел на свободную койку у самых дверей и выложил на тумбочку несколько тонких детских книжек, которые сунула мне в руки, после безапелляционного вердикта дежурного врача, мама. Я тогда только смотрел красочные книжные иллюстрации, беззвучно шевеля губами, повторял уже знакомые, читаные-перечитаные родителями тексты. Разобравшись с книжками, я сел на кровать и обернулся к окну. Тут я увидел Шурку. Он сидел на корточках на широком подоконнике. Чуть задернутая легкая занавеска выделяла его стриженный под ноль, лопоухий абрис на фоне хмурого неба, оставляя неприкрытой правую ногу, выглядывающую из таких же пестрых пижамных штанишек, которые стягивали и мой болезненный живот тугой резинкой.

– Сашка, – обратился к пареньку сидящий за столом мальчик, – слезай с окна. Сейчас обед принесут, опять ругать будут.

– Не слезу, – настырно глядя в больничный сквер, ответил маленький упрямец. – Сейчас ко мне мама придет.

Мама придет... Эту фразу я слышал каждый день во время своего пребывания в инфекционном боксе. Слышал от того самого не слезающего с окна мальчугана – Шу-у-рки. Он так и представился мне, протяжно и нежно, растянув губы в добродушной улыбке: Шу-у-рка. Шуркина отзывчивость и наивность была по душе всем окружающим его людям. Ребятишки с удовольствием принимали его в свои игры. Саша никогда не дулся из-за «отставшей» фишки или проигранной игрушечной баталии. И в самый огорчительный момент мог развеселить ребят умильной рожицей. Взрослые, посещавшие палату, львиную долю своей айболитовой теплоты уделяли Шурке. Присаживались к нему поближе, гладили по голове, расспрашивали о житии-бытии. На что получали пространный и уморительный ответ о происшедших в палате событиях: прочитанных книжках, прокрученных диафильмах, увиденных за окном чудесах.

Саша и сам мог сотворить настоящее чудо! Время от времени

мы, обитатели больничной палаты, просили Сашку показать свои пальцы на ногах. Их у него было шесть! Вернее, двенадцать, если брать во внимание обе ноги. Саша тут же удовлетворял наше ребячье любопытство. Мальчик постарше, уже умевший читать до десяти, торжественно и важно пересчитывал Сашкины пальцы: один, два, три, четыре, пять, шесть! И после оглашения окончательного результата счастливый обладатель двенадцати пальцев прятал их в тряпичные тапочки. Но ненадолго. Вскоре он сбрасывал тапки на пол и забирался на облюбованный подоконник. Саша – добрый-предобрый, улыбчивый мальчик, с которым было весело проводить долгие оздоравливающие дни, услышав на улице женские голоса, принадлежащие мамам или бабушкам, пришедшим проведать своих любимых чад, сразу становился серьезным и приникал к высокому окну. Сашка высматривал среди людей свою маму. От нетерпения – скорей, скорей ее увидеть! – он принимался раскачиваться из стороны в сторону, как ванька-встанька, слегка ударяя ладошками об оконное стекло: «Мама, мама, мама!»...

Снимала его с наблюдательного пункта подоспевшая медицинская сестра, успокаивала, говорила, что мама занята на работе, что она скоро, очень скоро придет и заберет Сашу домой. Мой приятель, прижимаясь к тете-врачу, доверчиво улыбался и тут же находил глазами меня, призывая начать новую игру, раскрасить карандашами начатый рисунок или устроить войнушку, высыпав из картонной коробки пупсиков и пластмассовых буденновцев. А бывало, что после воскресных посещений, разрешенных родительских передач и переговоров через карантинную форточку инфекционного отделения, так и не дождавшись мамы, Сашка до ночи стоял на коленях перед черным окном, уткнувшись носом в холодное стекло, и его круглые оплывшие глазки наполнялись слезами...

Шурка был дауном. Это я потом узнал от своей мамы, лаборанта в городской поликлинике. Помимо своей шестипалости Сашка имел одну лишнюю хромосому... О том, что от Саши отказалась мать, я узнал случайно – из разговора медсестер в процедурном кабинете: написала заявление... до оформления документов останется в больнице... отвыкать от «материнской» любви...

Не понимая сути услышанных слов, а уже тем более мудреных медицинских объяснений о последствиях синдрома Дауна, я теребил маму за рукав: чем все-таки болен Саша? Он во всем, во всем такой же, как мы – выздоравливающие пацанята. Он

даже лучше! Шурка не способен на подлость и предательство, он не может позволить себе – как это было, было в других отделениях и палатах! – разодрать «за просто так» мои «Волшебные сказки» или сунуть под нос робкого дошколенка дурно пахнущий горшок. Почему к нему никогда не придет мама?..

После утренней выписки, держась за мамину руку и черпая новыми сапожками серые ноябрьские лужи, я оглянулся на освещенное, занавешенное мелкой моросью больничное окно: Шурка сидел на подоконнике в наглухо застегнутой пижаме, упершись ладонями в немое бесстрастное стекло.

P.S. По сути, этот рассказ предварило стихотворение 2004 года, посвященное Шуре...

Язык дождя. Листает Даун Дарвина.
В окно больницы Небо истекает.
На чадо благодать Господня явлена,
Бо – глубоко недуг не проникает:
Считать по пальцам хромосомы эти
У Бога нет ни цели, ни желания –
Сиречь души, души, а не сознания,
Коснулся Свет рождения и смерти!

Я – БУКВА «Ж»

По стечению обстоятельств меня, пятидесятилетнего отставника, призвали в «партизанскую» армию в те сентябрьские дни, когда я перечитывал «Избранное» Эрнеста Хемингуэя. По-видимому, неожиданность данного предложения и авантюрные военные перипетии американского писателя и подтолкнули меня поставить подпись в получении повестки военкомата, а затем и явиться на призывной пункт, едва успев положить в пакет зубную щетку, зарядку для сотового телефона и томик Эрнеста. Котелок, сапоги, «пятнашка» , бушлат, цигейковая шапка и нательное белье были выданы конвейерным способом солдатами-срочниками. Прикосновение к коже нового, жесткого, знобкого белья возвратило мне забытые

ощущения восьмидесятых – годы службы в Советской Армии. Арзамасскую учебку. Казахстанский спецназ...

По прибытии в Арзамас 21 апреля 1983 года петрозаводскую команду повели в нетопленую баню. Отобрав гражданское барахлишко, проведя дезинфекцию новобранцев холодной водой, выдали – на глаз и вырост – солдатское обмундирование. После распределения по ротам началось наше шестимесячное обучение на радиотелеграфистов. «Мочить СЭС!» – средства электронной связи – к концу учебки должен был каждый обучаемый военный связист. Обучение было по-военному жестким и по-человечески интересным. До сих пор без запинки могу отстучать «на ключе» цифровую и буквенную телеграмму. Точки и тире сами складываются в забавные и легко запоминающиеся приговорки, обозначающие цифры и буквы: Од-на бежа-ла, Дай-дай-за-ку-рить, Ай-да, Ба-ки тек-ли, Ви-да-ла, Гово-рит, Да-чни-ки и т.д. и т.п. Прошедший многочасовые тренировки радиотелеграфист без труда узнает в этой абракадабре, набитой «на ключе», цифру «7» или букву «А». Непросвещенному человеку тут делать нечего. Но была одна буква, состоящая из трех точек и одного тире, которая, без ложной скромности, воспевала самою себя: Я-бук-ва-Ж!

С этой буквой я был неразрывно связан всю свою дальнейшую службу в десантной бригаде, базировавшейся под Алма-Атой, в городе Капчагай. В Капчагае – одной из самых отдаленных спецназовских точек, куда поставляла радиотелеграфистов арзамасская учебка, – я просидел год в штабе бригады на боевом дежурстве. Принимал боевые сигналы на радиостанцию – из Алма-Аты, Душанбе, Фрунзе. А для настройки радиостанции и использовалась кричащая о своей значимости комбинация точек и тире: Я-бук-ва-Ж, Я-бук-ва-Ж, Я-бук-ва-Ж... Монотонность настройки и ночная штабная тишина не раз слипали мои бдительные веки, и голова водружалась на стол – до сотрясения оной папкой зашифрованных сигналов, которая неизменно была под рукой дежурившего по штабу офицера. А спать хотелось всегда. Дедушка-сменщик не спешил на дежурство ни днем, ни ночью. Изредка, после обеда и обеденного перекура, он добирался-таки до штаба, радуя офицеров своим подтянутым, бравым видом, и говорил, направляясь к пищащей радиостанции: «Иди, погрызи что-нибудь в столовой. Через час жду...»

А в столовой – хоть шаром покати. Лавки убраны. Столы вытерты. К повару – нельзя. Он из другого подразделения. Возь-

мешь из его рук пайку – зюфелем станешь. Что означает слово «зюфель», я не знаю до сих пор. Может быть, это выражение пришло в часть вместе с переселенными в степь немцами, которых призывали в ряды Вооруженных сил из казахстанских поселков. Не знаю. Но быть зюфелем – все равно что быть стукачом. Тут и перевод в другую часть не поможет – молва следом пойдет. Вообще, подобных табу и негласных традиций было в бригаде предостаточно. И первогодкам надо было крутиться, приноравливаться, «летать», как называли старослужащие подобные «закаляющие» меры, превращавшие «духа» в настоящего десантника. А на деле – настоящая «зековская» дедовщина... Поэтому чаще всего приходилось мне возвращаться в штаб и слушать букву «ж» – с пустым брюхом.

Однажды ветреной бесснежной зимой я спрятал под бетонным блоком – на месте строящейся за штабом казармы – купленный в солдатской чайной чебурек. И когда после двенадцатичасового прослушивания ж-ж-жужащей радиостанции я вырвался на волю – сочный чебурек превратился в окаменевшую на морозе хлебную глину, которую я рвал зубами, изредка утирая бессильные слезы и сплевывая под ноги кровь, сочащуюся из расцарапанных десен...

Закрытые столовые. Холодные бани. Прошедшие мимо меня праздничные клубные концерты и воскресные кинофильмы лишь укрепили мое желание не писать, не вспоминать долгие годы мое незавидное десантирование в степи Краснознаменного Среднеазиатского военного округа. Прописанные Уставом внутренней службы «тяготы и лишения» казахстанского спецназа начисто отбили у меня – нынешнего кадрового офицера – охоту в день ВДВ, лихо заломив голубой берет, налившись хмельной бравадой, погружаться в воду городского фонтана, живописуя картину Петрова-Водкина «Купание пьяного меня»...

По этой же причине я ни разу не написал об индийском кино, казахской кухне, узбекской песне. И вот накатило... Как ни старался, так и не смог оторвать от сердца армейские записные книжки, которые я обязан был носить с собой, как молитвенник, во внутреннем кармане хэбэшки и бубнить, бубнить про себя бесконечные колонки цифр: сколько осталось дней до приказа, сколько положено съесть «дедушке» до оного срока яиц, порционных котлет, сантиметров рыбы, использовать бритвенных лезвий, выкурить сигарет с фильтром и без фильтра, сколько фильмов посмотреть в солдатском клубе. Обновляемые ци-

фири должны быть отсчитаны точно и выдаваться индивидуально каждому подошедшему к салаге дембелю, без запинки, в любое время суток. И так же тщательно, со вкусом должны были отутюжены и ушиты парадки, разрисованы и покрыты шинельным «бархатом» дембельские альбомы. Иначе – зюфель, иначе – залет и – «фанеру к бою»... По ночам «духи» шили, клеили, утюжили, грели на кострах слямзенную со склада тушенку, недружно подхватывали выученные между профилактическим мордобоем азиатские песни, чтобы «дедушки», в ожидании примерки или живописания их подвигов на альбомных страницах, не скучали... Не раз меня разбирала мысль написать поперек цветастой, покрытой десантными парашютами кальки: «Сволочи!»... Но я аккуратно, отложив в сторону фломастеры и карандаши, иголку с ниткой или миску с приготовленным «солдатским» пловом, заполнял дальше разлинованную таблицу, занося в соответствующие графы яйца, бани, фильмы, в основном индийские, так как мои старшие товарищи-сослуживцы по казахстанскому спецназу – узбеки, киргизы, казахи – были без ума от неподражаемого Митхуна Чакраборти...

Слямзенная тушенка... Не будь Капчагайской бригады, равнодушно цокающей буквы «ж» и вынужденных поисков какого-нибудь пропитания – не познакомился бы я с начальником продовольственного склада части прапорщиком Анатолией Петровичем Киселевым. Случай свел меня с этим крепким коренастым человеком, фронтовиком, аккурат в дверях продсклада, куда я незаметно прошмыгнул вместе с кухонным нарядом и уже пытался покинуть заставленное разнообразной снедью складское помещение, прижимая к груди две банки тушенки. Прапорщик Киселев, не отпуская мое худенькое плечо из ласковых железных пальцев, потянул неумелого воришку в подсобное помещение, в свою чистенькую каморку. Посадив меня перед собой на табурет, спросил: «Есть хочешь?» Я, еле сдерживая слезы, кивнул головой. Тогда хозяин открыл взятые тут же из ящика под столом рыбные консервы, банку персикового компота, наломал хлеб и, отвернувшись к маленькому зарешеченному окну, добавил: «Ешь... А на склад больше не лезь. Залеты эти ни к чему. Лучше так заходи, по-простому. Подсобка моя теперь знаешь где. Что-нибудь придумаем...»

Думал я недолго и заглянул к Анатолию Петровичу на следующий день. И после бывал у него каждый свободный от смены час. Помогал таблицы отчетные чертить, графики рисовать. А

то и в чайную за папиросами сбегать. О книгах прочитанных рассказывал. Книги мне на дежурство замполит нашего батальона связи капитан Барт приносил: Пикуля, Ремарка, Хемингуэя. Как-то мы с Петровичем о Карелии заговорили. Оказывается, рядовой Киселев недалеко от моих родных мест воевал – на Кольском полуострове, под Норвегией рубежи Родины защищал. Призвался на фронт в 1942-м – восемнадцатилетним мальчишкой. «В твои лета хлебнул я лиха немеряно. Война. Да товарищество друзей-разведчиков не раз выручало, – напутствовал меня Анатолий Петрович. – Ты, я смотрю, все один ходишь. Узкий специалист... Связь не только в штабе налаживать надо, но и в казарме. Товарищами обзаводиться. Бьют? Когда «летать» перестанешь? Через полгода... Ты погоди, может, за это время в училище военное поступить задумаешь, все ж за жизнь зацепка. Я вот сорок лет форму не снимаю. После войны в своем подразделении на сверхсрочную остался. До старшины дослужился. Потом, как в армию звание «прапорщик» вернули – стал прапорщиком. Поколесил по ближним и дальним гарнизонам – от севера до юга – пока в Капчагае не оказался. Уж скоро шестьдесят годков стукнет, а все в строю, все при погонах. Прапорщики, как генералы, срока службы не имеют». Говорил со мной Петрович на полном серьезе, а глаза – улыбались.

Как-то рассказал мне Анатолий Петрович один фронтовой случай. А рассказчик он был, надо сказать, от Бога: сам говорит просто, ровно, словно без выражения, а у меня перед глазами короткометражный фильм крутится... Из края в край низкое серое небо. Порывистый с присвистом ветер, словно метла дворника, гонит алмазную крупитчатую поземку по-над чахлой оледенелой тундрой, со злостью отскребая следы взрывов и копоти, присыпая развороченную траками тонкую нежную кожицу заполярной почвы. После майской оттепели и вчерашнего первого ливня, когда морской десант в ходе внезапного наступления, пытавшегося упредить планы врага по перекрытию железной дороги на Мурманск, занял плацдарм на побережье губы Большая Западная Лица, вдруг подморозило, и со стороны гулко штормящего Баренцева моря гигантским растревоженным ульем налетела пурга. Бушевала пурга трое суток. Морские пехотинцы не были обеспечены теплой одеждой, о палатках и печках оставалось только мечтать, когда продрогшие, окоченевшие солдаты ждали своей очереди протянуть скрюченные пальцы к огню редких костров, так быстро пожиравших узловатые стволики карлико-

вых березок, ящики из-под снарядов, деревянные приклады и даже ручки излишних на каменистых сопках саперных лопат. Прятались от непогоды в ущельях, снежных норах. В большой пещере организовали госпиталь. Так было ночью. Днем же немцы беспрерывно и остервенело атаковали, автоматные и пулеметные очереди, орудийная канонада, разрывы снарядов и мин, рев пикирующих юнкерсов, за особую свою жуткую мелодичность прозванных шарманщиками или певунами, сливались в леденящую душу музыку боя, рев, скрежет, грохот которого делал неслышными крики и мат отчаянно цеплявшихся за жизнь вчерашних мальчишек. Наступление было парализовано, смято, как лист циркуляра, брошенного догорать в генеральскую пепельницу... Очнулся Киселев от резкой боли, пронзившей убаюкивающую сладость сонного забытья замерзающего тела. Яркие пятнышки рвущегося к свету сознания сливались в причудливые узоры, кружились, превращались в крылышки бабочки – «это бабочка Адмирал, это бабочка Адмирал!» – послышался Анатолию восторженный голосок младшей сестры, бегущей по яркозеленому солнечному лугу в розовом платьице. Платьице росло, темнело, наливалось кровью и вдруг вспыхнуло жарким огнем. Огонь был от взрыва разорвавшейся мины, осколком ударившей в плечо. Словно бумажный, горел маскхалат из искусственного шелка, его необходимо быстро скинуть, что и в учебке получалось совсем непросто. Но разведчиков учили мыслить нестандартно. Из последних сил, левой рукой он вытащил финку... «Миленький, не умирай, лапочка, не умирай!». Киселев открыл глаза – трясла его молоденькая медсестра, которой перед десантом он шутливо преподнес прозрачно-голубой колокольчик подснежника. Вечерело, звуки боя стихли, и тишина казалась давящей, неприятной. Сестричка суетилась, перевязав рану, она стала натирать колючим снегом окоченевшие, почти не чувствительные руки. Остатки бригады уже сняли транспорты, отступление прикрывал разведывательный отряд Северного флота, которому, исходя из оперативной обстановки и необходимости спасения бригады, приказано было стоять до последнего. «Чудом услышала я твой стон, кругом убитые, замерзшие, – плакала девушка, – мне говорят, чтоб не ходила от берега, если и был кто живой, так замерз наверняка, а ты жив, жив!» На воде стоял большой плавучий госпиталь, к которому и ковылял Киселев, стараясь не давить на казавшиеся хрупкими плечи медсестры, но ежеминутно спотыкался и терял равновесие, удивляясь, как

стойко девушка удерживает его тяжелое мускулистое тело. На берегу их ждало разочарование: шлюпку капитан не спустил, заявив, что нет у него ни времени, ни места. Сестричка умоляла, кричала, что тяжелораненому необходима срочная операция, что он не протянет долго – все было напрасным. Корабль, снявшись с якоря, уже медленно набирал скорость, вся его палуба была плотно забита перебинтованными солдатами, глядевшими на эту сцену устало и равнодушно. Там были врачи, теплый ужин, уход, здесь – ледяная пустыня, усеянная неубранными телами погибших. «Как тебя звать?», – спросил пехотинец пригорюнившую медсестру, проваливаясь в забытье, и услышал, или ему так показалось, что он услышал в ответ: «Настя»... Через несколько дней в мурманском госпитале доктор с чеховской бородкой и в пенсне сказал ему: «Ну-с, молодой человек, поделитесь, какой ангел вас бережет, ни ожога на вас, ни обморожения, ну а ключицу, разбитую осколком, мы вам собрали. И я почему-то уверен, что срастутся ваши косточки быстро и хорошо!». Позже от навестившей его Настеньки Киселев узнал, что подобрал их малый сторожевой катер. В море остервенелые немецкие бомбардировщики, вытягивая душу сиреной, пикируя, сбрасывали фугасы на корабль с красным крестом на белом полотнище, и плавучий госпиталь, расколовшись надвое, мгновенно пошел ко дну, унося с собой сотни искалеченных, израненных людей. Затем, развернувшись, один из юнкерсов спикировал на маленький катер. Он рос, казалось, долго и страшно, и гул его нарастал от тонкого свиста и рева до раскатистого грохота, и пронесся над катером так низко, как только мог опуститься немецкий летчик, наслаждаясь страхом беззащитных людей, бравируя перед другими асами люфтваффе. Он прошел на бреющем полете, на миг заслонив все небо, качнул крылами со свастикой и взмыл к облакам, не сделав ни выстрела...

Десант, хоть и не выполнил своей основной задачи, собрал на себя все силы врага, сорвав наступление на Мурманск. Далось это, как и почти всегда у нас, огромными жертвами, личным героизмом, никому не интересным в мирное время, так что и поведать о том многие старики стыдились, боясь, что сочтут их свистунами. Да и сейчас вот весь этот рассказ оказывался лишь необходимым коротким пояснением к той долгой мучительной боли, которая оставалась с Киселевым на всю его жизнь и которой он так хотел поделиться: Насти, своей медсестрички Насти, он больше никогда не увидел и отыскать, как ни старался, не смог...

От нахлынувших воспоминаний ветеран разволновался. И – в продолжение рассказанной истории – поделился со мной одной мыслью... Беспомощному маленькому человеку – в его естественном страстном желании жить, в полной безнадежности, беспросветности, гибельности окружающего его одиночества – помогает Его Величество Случай: маленького человека спасают подоспевшая санитарка и незаметный катерок, до которого нет никакого дела хищнику-юнкерсу. Маленький человек выживает, а большие корабли идут ко дну...

Помню прапорщика Киселева – с благодарностью сердца. Помог он мне тогда сильно... Через полгода в Отарской учебке под Фрунзе, куда прибыла выездная комиссия учебных вузов Министерства обороны, я сдал экзамены и поступил в Свердловское военное училище. Через четыре года прикрепил на погоны первые лейтенантские звездочки. Слова Анатолия Петровича вспоминались мне и во времена славного офицерства, когда я «воевал» с азиатским и освободившимся из мест не столь отдаленных контингентом военно-строительной роты, и когда, будучи сотрудником пожарной охраны, участвовал в тушении и расследовании пожаров, после ликвидации которых близко, чрезвычайно близко принимал к сердцу беды и отчаянье людей, потерявших жилье, имущество, родных и близких...

И вот теперь, когда я уже не первый год офицер запаса, ветеран противопожарной службы, российской армии понадобились мои знания, опыт и «закаленное» здоровье, чтобы принять мучительные роды «партизанского» полка... Хлопнувшая дверь армейского вещевого склада отсекла «Законом о мобилизации» последние вольные гражданские мысли... В туманной утренней дымке в шуйских полях под Петрозаводском, где и развернулся кадрированный мотострелковый полк, выросшие за неделю тридцатиместные палатки выстроились в ряды причудливых китайских пагод. Меня и еще полсотни «партизан», приехавших в тот день со сборных пунктов, ожидали ожидаемые сюрпризы беспрекословного военного «героизма», палаточной сырости, чадящей буржуйки, открытой дождям и ветру отхожей ямы, нарядов и полевых выходов – за сухим валежником и скупым северным солнцем... С каждым днем, прожитым на вытоптанном картофельном поле, все окружающее меня бытоустройство и бескомпромиссные повороты брызжущей осенней грязью «военной машины» все больше напоминали капчагайское вечное «ж» и павки-корчагинское – «Смены не будет»...

Бессилье что-либо изменить не доходило до крайности благодаря шутникам и балагурам, способным разрядить любую тягостную обстановку. Знатоки анекдотов – карельские Тёркины и прапорщики Шматко – были душой осенне-шуйской кампании и, как могли, скрашивали прелести уставного армейского быта. Наличие в палаточном городке штабной культуры, как само собой разумеющееся, предполагало отсутствие воды в помывочных баках, тепла и света в местах временной дислокации личного состава. По этой же причине «Избранное» Хемингуэя благополучно пролежало на дне выданного мне вещмешка.

Лишь однажды при проведении занятий в парке соседней воинской части перед моими глазами прогрохотали ожившие картины хемингуэевской «Фиесты». По деревянным платформам и подъемам проехали и водрузились на тягачах 42-тонные махины – танки Т-80, застоявшиеся на хранении в армейских боксах. Стадо боевых «быков», ревущих самолетными двигателями, отправлялось на вилговский танкодром, чтобы показать проверяющим из Минобороны мастерство водителей-механиков, призванных на военные сборы. Правда, в строю нашего танкового батальона – под сотню штыков! – набралось всего с десяток специалистов, имевших представление о танках... После посещения технического парка мне был понятен и близок восторг Эрнеста от шума, блеска и мощи испанской корриды! И так же мне были понятны истоки его безысходной окопной тоски, обреченности каждого следующего бездумного дня и усталости, отупелой усталости от войны, от которой не избавляет и вздох облегчения: «Прощай, оружие!». Пусть даже завершение серого промозглого дня приветствовалось нестройными возгласами «In vino veritas!», доносящимися после отбоя из соседней пехотной палатки... Ощущение реальности не воевавшего «танкиста» было и в бессмысленных построениях оцепленного Приказом военного городка, и в шуйской «резне» бензопилой сырых осиновых бревен, и в бесполезном тепле насквозь промокшего бушлата, и в колючих взглядах армейских чинов, и в приравненной к дезертирству жестокой простуде, и – в дрожкой отдаче автомата Калашникова, прижатого к небритой щеке, поражающего поставленные Родиной цели на старом войсковом стрельбище... И было стремление маленького человека, попавшего волей судьбы в случайное, подчас бестолковое скопление народа, затянутого обстоятельствами в горнило войны, метельную степь, махровую дедовщину и промокшую сквозную палатку – «не пойти ко дну».

«Родина нас не забудет...» – с этой мыслью и застаревшим бронхитом через две недели я вернулся в родную петрозаводскую квартиру. Призовет. Обует. Оденет. Научит артиллериста управлять танком. Танкиста – сбивать самолеты. Десантника – понимать словосочетание «летающие лопаты»... С этой мыслью я налил себе рюмку водки и поставил на привычное пустующее место на полке так и не открытую мною книгу о мужестве и любви. Горький осенний напиток обжег воспаленное горло. И мне вдруг показалось, что все это было не зря – и неожиданная повестка, и рев «быков», и сборы «партизан» – в компании новоиспеченных танкистов, простых веселых ребят. В компании с Хемингуэем. И в задумчивую однокомнатную тишину гражданского бытия ворвался звук отбиваемой мною ногтем о бутылочное стекло морзянки: Я-бук-ва-Ж, Я-бук-ва-Ж, Я-бук-ва-Жизнь!

ЭТО – ЖИЗНЬ

Я давно хотел написать про это. Открывая другие сокровенные лирические ладанки – придуманные мной житейские прозаические миниатюры, так или иначе, я нащупывал крупицы этой темы. Многие хотят знать и страшатся этого знания. Завершения пути. Конца света. Жизни и смерти. Вот и последнее в этом столетию сочетание календарного числа 12.12.12 осталось позади. Следующее совпадение чисел ожидается в двадцать втором веке. Эта дюжина тоже – веха, история, жизнь. Именно жизнь, бесконечность жизни. Итожить прошлое глупо и скучно. Вот будущее – интересно, ибо таинственно, неисчерпаемо, неизвестно. Лучшее, что может произойти – происходит неожиданно.

Многие ставят себе цели, добиваются достатка и положения. И вскоре разочаровываются в достигнутом, равнодушно перебирая нитку жемчуга или многочисленные журнальные публикации. Спрашивается: стоило ли желать необязательного успеха или вещи? Неожиданность – существует вне навязанной мысли. Не предугадаешь любви, нежности, сопричастности к твоей судьбе другого человека, внезапно охватившего все твое существо поэтического образа. Об этом не задумываешься, пропуская мимо себя выгодную должность, баснословный ба-

рыш, сочетание цифр в календаре и пророчество индейцев майя, потому что вокруг есть то, от чего ты никогда не откажешься: есть отчая земля, друзья, близкие, возможность трудиться, книги, музыка, зазывный лист белой бумаги...

Мне интересно жить! Интересно торить новые дороги, благодаря солнечным вспышкам детства, горнилу армии и всполохов пожарных будней, радости дружбы, материнской заботе, отцовской улыбке, пониманию и близости любимой, нахлынувшему волнению творчества и – глазам, глазам благодарных слушателей, глазам сына и внучек, которые неожиданно открывают в себе – меня...

И я снова сажусь за письменный стол, положив перед собой черновик будущего рассказа, стихотворения или эссе, которые долгое время существовали отдельно от меня в разговорах, историях, музыке, образах весеннего пробуждения земли, осеннем лесу, озерном плесе. И после того как эти ожившие звуки, мысли, запахи и круги пройдут через мое сердце – это останется жить на обратной стороне отрывного календаря, в изданной книге, аудиозаписи, пространствах Интернета, чтобы наполнить другое сердце добротой и участием, силой и мудростью, сопричастностью ко всему происходящему на этой земле.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕКАТЫ

КЕЛЬ КАРДЕШИМ 4
СЯВИНА МУЗЫКА 7
КОСМОНАВТ 9
НЕБЫЛИЦА 9
НЕЖИТЬ 11
ПЕРЕКАТЫ 17
АКУЛИНА 20
БРАНДМАЙОР 23
БАБА УЛЯ НА БОЛОТЕ 27
НА РЕКЕ 29
«КОЛХИДА» 31
СЕЛЬСКИЙ ЧАС 32
КОМАНДИРОВКА 34
НА ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИЧЬЕ 35
РАЦИОНАЛИЗАТОР 37
ФОТОРОБОТ 40
ДЕТАЛЬКА 40
«ЗИМА! КРЕСТЬЯНИН ТОРЖЕСТВУЯ...» 43
КОНЕК-ГОРБУНОК 45
МЕЧТА АРТИЛЛЕРИСТА 49
МОНЕТКА 54
ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ 56
ПРОБЛЕМА ДЕМОГРАФИИ 59
ОФИЦЕРЫ И ДЕЗЕРТИРЫ 59
ХВОСТЫ 79
НЕСУСВЕТ 80

ОГУРЕЧНОЕ МОРЕ 86
САНЫЧ 87
ТАНК 90
СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 91
ПАЦАНКА 92
БОМБА 93
КВН 95
ВЕРТИХВОСТКА 96
БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ 97
ВСТРЕЧА 100

НА ВСЯКИЙ ПОЖАРНЫЙ

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ИСТОРИЙ 102

ЖИВАЯ И РАЗНАЯ

ОБЫКНОВЕННОЕ ДЕЛО 122
В МАГАЗИНЕ 123
ШАРИК 123
В ПЯТИГОРСКЕ 126
ЧТО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА 126
ЧАСОВОЙ 127
КЛАВДИНО СЧАСТЬЕ 128
ЖИВАЯ И РАЗНАЯ 131
САВЕЛЬИЧ 137
МОЛОЧНЫЕ РЕКИ, КИСЕЛЬНЫЕ БЕРЕГА... 138
ОБ ОФИЦЕРСКОМ МУНДИРЕ И ДЕВИЧЬЕЙ ЧЕСТИ 141
ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ... 145
ЕЛКИ-СОСЁНКИ 145
АФРИКАНЕЦ 151
ОНЕЖСКИЙ ВЕТЕР 155
БУДНИ ЧЕРКЕССКОГО ОМОНА 159
ЖЕНИХ 160
БАНДЮГА 161
КОЛУМБА 165
ДЕРЕВЕНСКИЙ КОСТРОВОЙ 174
АРКАША, ЖЕКА И СЕРГЕЙ 177
ПЕСОК ИЕРУСАЛИМА 180
ГАРМОШКА 182

ЭССЕ

НИЖЕ ТРАВЫ, ВЫШЕ ДЕРЕВЬЕВ 186
В ЦЕРКВИ 191
БЕЛЫЕ СНЫ 192
ТЫ и Я 194
ДЕД 197
СТРАНА РОЖДЕНИЯ – СССР 202
МАРЦИАЛЬНЫЕ ВОДЫ 206
ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ НА УЛИЦЫ ДЕТСТВА 207
НЕ ПОТЕРЯТЬ НЕБА 222
НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО 223
ОТЗ 228
УЧИТЕЛЬ 232
КОГДА ДЕРЕВЬЯ СТАЛИ БОЛЬШИМИ 233
ШУРКА 235
Я – БУКВА «Ж» 238
ЭТО – ЖИЗНЬ 247

Литературно-художественное издание

Олег Мошников

Живая и разная

Редактор Д. Горох
Автор картины на обложке Н. Григорьева
Корректор А. Мокеева
Дизайн обложки и верстка Е. Кудрявцев

Сдано в печать10.10.2014 г. Формат 60x84 1/16.
Гарнитура NewtonC. Печать офсетная.
Уч.-изд. л. 13,5. Усл. печ. л. 14,65. Тираж 500 экз.